

**Воспоминания Анастасии Петровны Ульяновой
(записаны в Нижнем Новгороде, 1920-е – начало 1930-х годов)**



А.П. Ульянова

Содержание

Мои детские годы
В рядах «Черного передела»
От Петербурга до Томска
В Томске
Мое знакомство с В.Г. Короленко
В Самаре
Впечатления, полученные мною от поездки в Саровскую пустынь

Приложение

Нижний Новгород в преданиях
Биография В.Г. Короленко
Речь на утре памяти В.Г. Короленко

Мои детские годы

*Моим сынам и внукам
А. Ульянова*

*Господин мира в
переписи народов
напишет: и сей
родился в нем...
(86-й псалом Давида)*

Мне было семь лет, когда умерла моя воспитательница-матушка, как я ее называла (пишу только то, что переживала и что ярко запечатлелось в памяти, изменены только имена некоторых). Из Воспитательного дома меня привезла ее соседка, за которой я целый год и числилась официально, так как детей выдавали на воспитание тем крестьянкам, которые могли бы вскормить их грудью.*



Воспитательный дом (Николаевский сиротский институт), наб. р. Мойки

Моя же воспитательница была старушка лет шестидесяти, и вскормила меня коровьим молоком. Вообще питомцы нередко попадали в семьи, где не было «молочной» бабы. Да и трудно сказать, выигрывал ли питомец от того, что его мамка с «молоком», особенно если у нее жив и свой ребенок. Воспитательница моя вначале, было, и огорчилась, что привезли девчонку: «своих было семь девок, и со смертью старика одни бабы в доме». Но потом утешилась: «надо же кому-нибудь и невест растить».

Начала себя я помнить очень рано и впечатления детства сохранились настолько живо, что я совершенно ясно представляю лица, меня окружавшие, обстановку, каждый кустик в огороде, тропинку, точно со всем этим я рассталась только вчера.

Жили мы с матушкой и ее дочкой – девушкой лет двадцати пяти, тихой ласковой и всегда с работой в руках. Другие все уже замужем были. У этой маленькой смуглой девушки – моей няни – тоже немало женихов было, но она не пожелала оставить свою мать одинокой. Вот и взяли питомку.

Как сквозь сон помню рассказ няни о моем бытии, уже после смерти матушки. «В Питере на Миллионной есть дом важного барина. По зимам я всегда жила у одних хозяев и недалеко от того дома, вот и знаю. Когда его молодая жена рожала, он связался с молоденькой крепостной, помощницей старой няньки. А потом эту девчонку выгнали к деду-дворнику. Ну вот и крест этот у тебя от ней», – повествовала моя нянька.

* Санкт-Петербургский императорский воспитательный дом, благотворительное учреждение, был создан в 1770 г. для призревания незаконнорожденных детей, сирот и детей бедняков. Воспитанники находились здесь до 21 года и получали основное начальное образование. В 1834 г. воспитательный дом переехал в здание нач. 19 в. В 1918-м Воспитательный дом был закрыт, его здание ныне занимает Педагогический университет им. А.И. Герцена. – *Из Интернета*

Миниатюрный матушкин домик, построенный после пожара, вдавался несколько в огород, благодаря чему перед окнами образовалась лужайка, летом покрытая густой зеленой травой, а зимой сугробом снега до того высоким, что не видно было, что делается на улице. На зеленую лужайку приходили и приползали ребятки соседней играть, а по праздникам иногда и взрослые девушки устраивали хороводы. Эта лужайка и завалинка под окнами летом были моим постоянным местопребыванием. Тут я вынесла первую рану от бодливой коровы.

Мне было тогда два года, но этот ужас запечатлелся надолго: при встрече с коровами мне всегда вспоминался громадный глаз, рог и наклоненную надо мной темную массу, и я спешила посторониться.

«Хорошо, что Ропша (казенный лазарет) недалеко, а то бы умерла», – говорила матушка.*

Зимой, когда нянька уходила в Питер на заработки, мы с матушкой оставались вдвоем. Я была постоянной ее спутницей, чтобы она ни делала. Особенно любила я, когда она садилась за прялку: свернувшись клубочком тут же на лавке, слушала матушкину сказку или заунывную песню, наблюдала, как постепенно уменьшалась борода кудели, как округлялось веретено. Тут же вертелся и мурлыкал мой друг – кот Васька. Матушка иначе меня и не называла, как «мой хвостик».

Приглянулся мне у соседней раскрашенный ящик, и я решила его заработать. Матушка серьезно распрощалась, уходя, наказавши усердней работать. Но чрез несколько минут я уже просилась со слезами наведаться домой. «Работницы должны работать, а не бегать. Теперь ты уже наша, – говорила соседка, – качай люльку». Я со страхом юркнула во двор, а там чрез подворотню к матушке.

– Эге! мой хвостик уже сбежал от писаного ящика? а я думала, что тебе старая больше уж и не нужна, – встретила меня моя баловница.

– Мне скучно без тебя, а ящичка и не надо! – прыгала я с радостью около матушки.

"И не к делу ты балуешь «шпитомку», тетка Пелагея, – говорили соседки. – Ведь всю-то жизнь ей по чужим людям шататься. А балованной еще тяжелее будет. Поди, и своих так не жалела?"

– Своих-то у меня зараз было много. Да и они не могут пожаловаться: все, слава Господи, в хорошие люди вышли», – возражала она. – А как ее, сироту и не пожалеть? Кто у нее на свете кроме меня? Вон у нищего Федьки мамкина могилка хоть есть. Сиротливее их шпитомцев и нет никого. Теперь она уже мне помощница: пить подаст, когда занедужится, [нитку] в иглу вденет и избу подметет. Да, – говорила матушка поглаживая меня по голове.

И так мы жили с ней, что называется душа в душу.

Была у нас корова, курочки и пребольший кот Васька. Матушкин клочок земли пахал ее племянник, за что нянька в страду отработывала и приплачивала деньгами. На заработки в Питер она уходила только по зимам.

* Ропша отстоит от С. Петербурга в 36 верстах, по большой Рижской дороге, которая почти до самой Стрельны идет извилинами живописной речки Стрелки и безпрестанно возвышается. Мыза сия первоначально принадлежала известному шведскому генералу Гасферу. Когда вся страна покорила победоносному оружию Петра I-го, то великий монарх, любя награждать соподвижников своей славы, находя свою собственную славу в наделении их изобилием, раздавал им земли – купленные их мужеством и кровью, при чем пожаловал Ропшу с ея окрестностями князю Ромодановскому. Неизвестно, когда построен был здесь Петром I-м дворец в голландском вкусе, существовавший до [17]80-х годов: до пожалования ли им Ропши Ромодановскому, или в последствии, для наблюдения за производством работ во время провода воды из Кипени в Стрельну и Петергоф. – *Ропша. «Отечественные записки Павла Свиньина», №2, 1821*

В огороде летом шла главная работа, и овощи росли обильно. Были кусты крыжовника, смородины, вишни и прочего, к обиранию с этих кустов еще зеленых ягод я относилась с большим усердием, если не доглядят большие.

К нашему огороду прилегал большой сад дяди Романа. Ветвистые яблони из него заглядывали и в наш огород. Как-то после обеда матушка и нянька отдыхали в сараюшке, а мы с подружкой Лизуткой играли под этими ветками. «Садить сад» из прутьиков нам надоело и мы, лежа на спине высматривали яблочки на чужих яблонях.

«Настя, – шепнула Лизутка, – а ведь эти яблоки то ваши. Вишь, они в ваш огород лезут. Да и все спят, не увидят», – зашептала старшая из мародерок.

Ее слова показались мне вполне убедительными, убедительнее, чем матушкин строгий наказ «в чужой огород не заглядывать». Недолго думая, мы решили распорядиться своей собственностью: начали сбивать камушками, палочками и трясоти нижние ветки. Но вдруг мои волосы очутились в чьей-то руке. Лизутка убежала, а я от боли громко ревела.

«А, казенное отродье, в чужие яблоки залезать!», – и сын дяди Романа поднял меня за волосы высоко от земли. На крик выбежала из сарая матушка.

«И не стыдно тебе, Василий! Что она вас, яблоком объела? Ну, припугнул, а то накося, все волосы девчонке выдрал». И схвативши меня за руку, потащила домой.

«Я тебе говорила, мерзавка, что в чужие огороды не заглядывать! Теперь не прогневайся: как только приедет лекарь, отправлю в лазарет. Пусть чужие люди поучат!» – грозно стращала матушка шестилетнюю преступницу и, толкнувши меня в избу, заперла снаружи.

Вскоре после этого случая, я увидела, как Лизутку секла мать. Девочка опрокинула крынку с молоком, и мама сорвала с куста прутьев, среди которых вероятно попала и крапива, так как на теле девочки появились пузыри, и кричала она на всю деревню. Мое детское сердце страшно возмутилось и я, недолго думая, схватила засохший ком грязи и угодила прямо в голову разъяренной бабе. Баба опешила моей дерзостью, бросив свою жертву, пустилась за мной. По счастью мне удалось добежать до своих сеней и дверь закрыть на задвижку. Я была в безопасности и слушала, как она сыпала проклятия на голову «шпитомцев».

«Я те задам, подкидыш! – кричала баба, – такая же дрянь! Все одного поля ягоды... Ты думаешь, только над тобой одна твоя матка! Ужо приедет лекарь, он тебе задаст!».

«И где тебя носит нелегкая? – встретила меня нянька – чего там наделала? И вправду пожалиться лекарю, тогда будешь знать, как без пути бегать».

До этого времени я совершенно не обращала внимания на выражения «шпитомка», лекарь, лазарет, хотя и знала, что почему-то одних детей (в том числе меня) от времени до времени призывает приезжий барин, спросит как зовут, посмотрит на косточку, которая постоянно висит на шее питомца с обозначением года его рождения, и номер, под которым он числится в книгах Воспитательного дома, и отпустит*.

* В начале XX в. благотворительная деятельность Воспитательного дома осуществлялась следующим образом. Призрение вплоть до совершеннолетия предоставлялось преимущественно незаконнорожденным детям и подкидышам. Грудные дети, чьи матери умерли при родах или не могли кормить грудью, принимались только на временное вскармливание. Принятые в дом младенцы, помещались в Грудное отделение. Затем, «полностью здоровые и окрепшие», в возрасте до 10 месяцев, питомцы направлялись вместе с принимающими их на грудное вскармливание и дальнейшее воспитание крестьянками в деревни. С.-Петербургская, Новгородская и Псковская губернии, в которых расселяли питомцев С.-Петербургского Воспитательного дома, были разделены на 33 округа. Специальные окружные врачи следили за здоровьем питомцев. В крестьянских семьях воспитанники оставались до 21 года, за что принимавшие их семьи получали плату, которая прекращалась по достижении питомцем 16-летнего возраста. – *Из Интернета*

Но задумываться над этим до рассказанного случая не приходилось. Вероятно потому, что я была в семье одна маленькая, и мне жилось лучше очень многих «своих», так как приемная мать очень меня любила.

Матушка, узнавши о моем нападении на соседку, тоже посердилась. «Добиваешься и ты крапивной каши! Смотри, Дарья – злопамятная баба». Я с виноватым видом слушала ее, но как только заметила, что сердце утихло, приступила к ней с вопросами о лекаре, лазарете и о том, возила ли она няньку туда, когда она была маленькой и баловницей?

«Глупая ты, зачем мне ее возить туда? Ведь она у меня своя, рожденная, а тебя-то мне привезли из Питера. Оттуда и всех вас, казенных детей везут. Вы, значит, дети царевы, в деревню под начало лекаря отданы. Вот как узнает, что ты матушку не слушаешь, возьмет в лазарет и отдаст в люди, тогда и вспомнишь свою старушку. Так-то, мой хвостик», – заключила она.

Для меня все это было слишком чудно и непонятно. Но когда она сказала, что могут меня взять от нее и отдать в люди – этому я не поверила и энергично заявила, что никого не послушаю и никуда не пойду.

Но увы! скоро нам с ней пришлось расстаться. Не меня взял лекарь, как страшила матушка, а смерть отняла у меня мою дорогую воспитательницу.

В разгаре лета, во время жнива матушка заболела какой-то брюшной болезнью и прохворала только неделю. И на печке она живот прогревала, и «горшки» ей ставили – ничего не помогало. Добрые, ласковые глаза матушки были полузакрыты. Лицо строгое и вся она точно вытянулась. Только прерывистое дыхание показывало, что она еще жива.

Сидя на приступке или стоя у стенки, я со страхом посматривала на все происходящее. Нянька уткнувшись в передник плакала или, наклонившись над матушкой, прислушивалась к ее дыханию. Бабушка Марфа, матушкина родственница, приставивши к изголовью большой образок, молилась.

Но вот матушка знаком попросила икону. Нянька с горьким плачем припала к ней.

«Живи по божески, – шептала она, набирая сил для каждого слова, – не оставляй Катю, не сбывай в люди и тебя бог не оставит». Подвели и меня, но умирающая смогла только положить руку на мою голову. К вечеру ее не стало.

К похоронным приготовлениям я отнеслась довольно равнодушно, несмотря на плач и причитания всех собравшихся дочерей матушки. Очевидно, мне представлялось, что пока она дома, может быть, дело еще поправится. Но когда гроб снесли на кладбище, опустили в могилу, и священник бросил горсть земли, тут только поняла вполне, что все кончено, и с криком: «я к матушке хочу!» – чуть не упала в яму. Дьячок успел схватить меня за кацавейку, и я повисла на воздухе. А потом очутилась у кого-то на руках.

После мне нянька рассказывала, что я страшно скучала: «сидишь, бывало, на завалинке и, точно собачонка, завываешь, посматривая к селу», – говорила она. Тосковала и нянька, но ей нужно было спешить с уборкой и в поле и в огороде: я была еще плохой помощницей.

Покончивши со своими летними работами, нянька вначале не знала, как ей быть – идти по-прежнему в Питер, где ее всегда брали на зиму, или остаться дома. Без советов соседей, конечно, не обошлось. Одни советовали выходить замуж за вдовца в этой же деревне, схоронившего недавно жену и оставшегося с четырьмя ребятками, как говорят, мал-мала меньше. Другие уговаривали все движимое пораспродать, дом заколотить и жить в людях, пока есть силы, а меня отвезти в лазарет. «Какая в ей корысть? ни денег, ни работы», – говорили сердобольные соседки. О том, что мой возраст был тогда самый бесполезный для воспитателей, я поняла уже впоследствии. Действительно, питомца в возрасте от 5-ти до 12-ти лет, вышибленного из семьи, в которую он взят из Воспитательного Дома, трудно пристроить в другой семье. Но об этом после.

Нянька и слышать не хотела о том, чтобы меня отвезти в Ропшу (вблизи Нарвского тракта, где и помещалось окружное начальство для питомцев). «Если бы еще в своей деревне кто взял, все же тут на глазах, а в округ и матушка не приказывала». И в конце концов решила поступить так: всю живность, т.е. корову, кур и меня отправить к одной из замужних сестер, жившей в четырех верстах от нашей деревни. Все то, на что мог позариться дурной человек, поставить к дяде Роману, а самой идти на зиму на старое место.

В это время побывал в нашей деревне окружной врач, и нянька получила разрешение отправить меня в Голубицы, так как и они того же округа. «Там видно будет, как жить дальше, а теперь пусть так», – говорила она. Бабушка Марфа, мнением которой нянька дорожила, нашла, что так и следует поступить. Нянька, вперемежку с плачем, начала прибираться.

Муж ее сестры, к которой должна была отъехать живность, свез к себе уже сено и соломы, а не дальше, как через неделю, думала и нянька уехать в Питер. Но ведь известно, что «человек предполагает, а бог располагает». Это изречение оправдалось и над нами.

II

Статистика с точностью до одной сотой определяет урожай зерна, количество плодов с определенной площади. Определяет время и количество едоков, которых можно прокормить этим хлебом. Сколько из означенного зерна получится спирта, из винограда вин, из свеклы сахара и прочее. Но никакие счетчики в мире не смогут определить способностей человека к любви или ненависти и тем более, в какой форме эти способности проявятся по отношению окружающих.

Вспоминая матушку и ее младшую дочь – мою няню, а затем моего дорогого дедушку, о котором речь последует, я всегда благодарю судьбу, бросившую меня – никому не нужную – этим простым, добрым людям. Благодаря им и я имела радость детства, звездочкой сиявшей над моим долгим и богатым тяжелыми переживаниями путем.

В один из последних вечеров нашей жизни в матушкиной избе, в сумерки, когда нянька только что вздула лучину, к нам пришла бабушка Марфа с незнакомой бабой.

Одетая по-праздничному, баба помолилась на образа, поклонилась направо, налево и поздоровалась. Нянька, как мне показалось, особенно приветливо приняла гостью, усадивши ее на лавке около стола. Я почуяла что-то особенное и насторожилась. Мой любимец – кот, удивленный, должно быть, моим невниманием, поцарапал мою руку.

Чужая баба оказалась не то свахой, не то разведчицей из Приселья. Она зашла узнать, как нянька думает жить после смерти матери: будет ли она и теперь отказывать, если к ней зашлют сватов.

«А сваты-то, Матренушка, идут от хорошего дома, – прибавила бабушка Марфа, – от Бородина. Старик незряшный – чтобы не шуметь напрасно, хочет раньше узнать – засылать ли. А ты, девонька, подумай. Что же, ежели жених и не совсем исправный. Ведь и ты не молодка. А жить в эвтом дому можно припеваючи. Это честь, что от Бородиных к тебе пришли», – говорила старая.

Что сказала нянька, не помню, но надо полагать не отказала, а последовала совету бабы Марфы – подумала. Подумать же было над чем, как я узнала впоследствии. Дом, из которого засылали сватов, имел много соблазнительного для любой молоденькой невесты. Но было там и такое, что заставляло призадуматься. Особенности этой семьи впоследствии имели большое влияние и на мою жизнь.

Старик Федор Федорович Бородин, отец жениха, он же глава семьи – слыл человеком почтенным, строгим. Но все знали, что в нужде он и совет хороший даст и делом пособить не откажется, кого немощь одолела. «Бородин старик особенный», – говорили о нем.

Прочный, обширный дом Бородина со всевозможными постройками – сараями, амбарами, ригой и прочим содержался аккуратно, хозяйственно, служил украшением Приселья. Усадебная земля – пред домом, за дорогой почти вся занята садом. Дома Приселья тянулись в один ряд. «Твой сад, Федорович, хоть в столицу, и то любоваться станут», – говорил местный священник.

Скота у Бородиных полон двор. Огород со всякими овощами возбуждал зависть у многих хозяек, что не мешало им пользоваться прекрасной рассадой из Бородинского парника со всевозможными советами напридачу. Погреб с отделениями для разных запасов, с проведенной трубой для вентиляции, с кадками негашеной извести по углам для уничтожения сырости, одним словом, хозяйство велось здесь на славу.

Но и молодость Федора Бородина прошла не обычным для крестьянина порядком. Расскажу ее кратко.

Федор Бородин был сын дворового кучера и ребенком еще отличался сметливостью, серьезной вдумчивостью, чем и обратил на себя внимание барина. Его взяли в хоромы для игр с барчонком. По натуре барчук был не злой мальчик, и дети сблизилась, почти постоянно находясь вместе. Дружба с Федькой принесла только пользу: раньше никакие обещания не могли заставить избалованного ребенка взяться за науку, но как только разрешили Федьке заниматься вместе с ним – дело [пошло] совсем иначе. Мальчики росли, играли и учились вместе всем премудростям того времени. Росла и их дружба. Настало время, когда Федьку переименовали в Федора, а со временем и в Федора Федоровича. Вся челядь смотрела на него с завистью, хотя и не имела причин не любить его. Выражал иногда недовольство и отец Федора. «Не к добру ворона залетела в барские хоромы», – говорил он. Но что мог сделать крепостной, если этого хотел его властелин.

Но вот настало время друзьям расстаться: молодой барин отправился в столицу, оканчивать свое образование. Между тем Федор был еще раньше назначен помещицей блюсти оранжерею, наблюдать за садом, огородом, так как он особенно любил это дело, и оказался не только знающим, но и полезным для хозяйства, что очень ценила владелица. Барина не было уже в живых. Приезжая на каникулы, молодой господин привозил Федору новых книг, особенно по его специальности, которые прочитывались с жадностью, укрепляя его знания по садоводству и огородничеству.

Так шел год за годом. Благополучию жизни Федора, казалось, ничто не угрожало. Но вдруг налетело несчастье и, как волной, перемешало, перепутало, смыло и дружбу, и жизнь одного из них. Случилась в Петербурге какая-то история, в которую был замешан и молодой барин. Его посадили в тюрьму, где он вскоре заболел и умер. Мать не перенесла такого горя.

Наехали новые хозяева в осиротевшую усадьбу. Владельцем этого имения сделался двоюродный брат умершего. Человек недалекий, грубый и злопамятный, он не мог забыть, с каким презрительным снисхождением относился к нему покойный, никогда не желавший разделять его грубых забав.

Считая верхом глупости гуманное отношение покойного к дворне, а особенно дружбу с холопом, новый владделец творил все возможное, чтобы показать это окружающим.

Бородиных сына и отца барыня давно собиралась сделать вольными, но все откладывала, да так и не выполнила этого доброго дела.

Содрогнулась дворня от новых порядков. А про Бородиных, особенно сына, и говорить нечего. О выкупе на волю, о чем они усиленно просили, новый владделец и мечтать не велел. К счастью, он посадил их на землю: лучше нести всю тяготу барщины, чем быть под злобной рукой надутого самодура. Отвели Бородиным усадебную землю в конце Приселья, на пустыре.

«И вот понес наш Федор – друг барина – барщину, да такую барщину, что нам привычным в этом деле и то под нутро подкатывало», – говорил старый дед Матвей, рассказывавший мне впоследствии всю эту грустную историю старого, не доброго времени. «Но парень-то он был больно дельный, – продолжал дед, – всякая работа у него как по маслу идет, точно он при ней всю жизнь состоял. Только больно молчалив был, серьезный».

«Вначале-то тяжеленько было прилаживаться к новому положению, вить крестьянское гнездо при той лютой барщине. Вон, на месте теперешнего дома стояла их клетушка с хворостинными сенцами. А теперь глазом не схватишь все строения. Поселилась с ними сестра старика, так, кривая бабенка. Но им она была с руки: ни один не имел бабы-то».

«Тяжело было Федору, – продолжал дед, – но парень он был горазд на все штуки, всегда, как будто со всеми на видной работе, а у него кроме того и другие дела поспевают, огород устроен по-особому, овоща вышла не в пример лучше нашей. А там годика через два-три садиком обзавелся, и все свое пепелище [(жилице)] обсадил с холодной стороны кудрявыми березками. Много он трудов положил. Не вдруг выросло экое хозяйство. Ну, так вот, пришло время молодца жениться, он и так с этим делом запоздал. А тут кстате приглянулась ему девка в Лужках. Лужки тоже нашего барина были. У мужика Ефима кроме этой девки, что хотел взять за себя Федор, была еще другая, старшая, не то чтобы дурочка, а так, слабая умом: охотой никто бы на ней не женился».

«Так вот, когда Федор задумал обзавестись хозяйкой, отец его пошел к барину за разрешением, так как без его воли и это дело оборудовать нельзя было. Тут эта и началась лютая каторга для парня». И рассказал мне дед Матвей одну из тех раздирающих душу драм, которыми наши «потомственные крепостники» увековечили проклятиями свое имя.

В конце концов, барин приказал молодого Бородина женить на старшей, а младшую облюбвал для себя: взял в девичью. За упорство гуляли по Федору розги. Сидел он на привязи в холодном подвале, и закончилось какой-то лютой болезнью после того, как сняли его с петли. Но молодой, сильный организм все перенес. Придя в себя Федор к ужасу своему увидел, что уже женат на Дарье – старшей сестре: он не помнил, когда повенчали его.

«После болезни, – продолжал дед Матвей, – молодой совсем впал в думчивость. Полагали, так и пропадет парень. Чего ни делал старик-отец, а сын все мимо людей в лес глядел. На свою молодайку совсем рукой махнул».

«Недолго лютовал и барин: опился на охоте, издох. Умиряющего домой приволокли, – облегченно выговорил дед, – свои-то родные, чай, рады были».

«Спустя большое время начал Федор браться за работу – за огород, за сад и за все свое хозяйство. А спустя четыре-пять лет родила Дарья ему сына Митрия. Но мало радости принес он Федору: с годами обозначилось, что сын по матушке пошел – дураком зачесть негоже, да и за умного принять обидно, а так расхожая голова. Парень как будто и не лентяй, а за что ни возьмется – нет никакого спору: вот-вот дело из рук вывалится. Захочет поторопиться, ан и больше напортит, и начнет ругаться на все лады, коли поблизости нет отца. Боялся его до смерти: как лист дрожит, если тот только нахмурится. Не любил он Митрия, что и говорить, а тот и пуще от того – плоховал. Безчастный он какой-то», – заключил старик.

И действительно несчастный. Лет двадцати его женили. Пожил он года три с женой, бойкой красивой бабой, польстившейся на хозяйство, но Дмитрий ей опротивел, и она убежала с постояльцем-солдатом неизвестно куда. И вот, спустя семь лет после того, как без вести пропала первая жена Дмитрия, Бородин заслал сватов к моей няньке.

Чем руководствовалась нянька – не знаю. Вероятно и ее прельстило Бородинское богатство: все были уверены, что кроме хозяйственного благоустройства, у старика куча денег.

«Ведь бывают женихи и в бедных семьях не лучше Митрия, да идут за них, а он и не пьет и старика слушается. Тут и думать нечего, иди с богом», – говорила бабушка Марфа.

III

Начались в матушкиной избушке приготовления к свадьбе, вершение разных обрядов, которые в наше время отошли в область преданий: скобление избы вплоть до потолка, спешное шитье подружками приданого с пением свадебных песен, причитания невесты, с которыми она не раз обращалась и ко мне, как к «сестрице-сиротинушке». Подружки пели, невеста плакала. С пением и плачем ходили в баню. На матушкиной могилке нянька «голосила» до изнеможения.

Но вот настал последний вечер девичества – «вечерины». Одета в свой лучший наряд, с венком на голове она сидела среди подружек на подушке. На столе крытом скатертью стояла большая деревянная чашка, над которой висело разукрашенная елочка, прикрепленная к потолку. Рядом на другом столе стояло ведро пива, сваренное дядей Петром, и штоф с водкой. «Дружки» наливали в рюмки водку, ковшом черпали пиво и подавали тем из публики, кто подходил к столу дарить невесту. Подходивший выпивал водку или пиво и в ответ старался так брякнуть медяками, чтобы разбить чашку, что означало крепкое пожелание счастливой жизни в замужестве. Для таких случаев запасали несколько чашек. Подружки благодарили дарителя пением, а невеста поклоном.

В начале вечера сидела за столом и я, но шальной пятак угодил мне в лоб, и я с плачем удалилась на печку, откуда, успокоившись, наблюдала за всем происходившим. Изба, сени были полны народу. Выкрикивания и остроты «дружек», смех, пение, а в сенях под гармонику пляс.

– Смотри, Катька, вон нянькин жених! – говорит мне стоявшая у печи баба. Жених стоял, прислонившись к дверной липе. У него вечерин не было, так как он женился во второй раз.*

Новая поддевка синего сукна, красный шелковый платок на шее и такого же цвета кушак украшали внушительную фигуру по величине. Кудрявые, рыжеватые волосы густой шапкой покрывали голову Дмитрия. Круглое лицо почти исчезало в обширной растительности. На все происходившее кругом он смотрел как-то вяло, безучастно.

Конца вечера я не видала, тут же на печке уснула и проспала до позднего утра. Проснувшись, узнала, что няньку собирают к венцу и сейчас увезут.

Дядя Петр и бабушка Марфа благословили плачущую няньку, подружки в песнях прощались с «девической вольной волюшкой», предсказывая нерадостную жизнь в замужестве. Скоро приехал и жених на разукрашенных вышитыми полотенцами, колокольцами и бубенчиками лошадях. Откупали невесту, ее приданое, откупались от подруг. Все это с шутками, прибаутками, с песнями и причитаниями. Нянька на этот раз сидела за столом, покрытая муслиновой шалью.

Наконец настала полнейшая тишина – все уехали и ушли. Мы остались вдвоем с бабушкой Марфой, уехали и сестры-няньки.

Только спустя несколько дней приехала нянька с мужем домой на большой белой лошади. Попирававши у дяди и бабушки Марфы и наложивши целый воз всяких вещей, уехали опять в Приселье. На следующий день забрали все остальное движимое. Из избы вынесли все, осталась только закоптелая икона вместо божницы.

* В рукописи к автору воспоминаний Анастасии Петровне деревенские обращаются почему-то как к «Кате» (см. выше) и «Катке», а не как к «Насте» и «Настьке». Лишь один дед Федор Бородин называл ее Настюшкой и Настюшей (см. ниже).

Нянька, помня завещание матушки не оставлять меня, поставила еще при сватовстве условие взять с собой и «шпитомку».

Сошлись соседи проводить нас пред выходом из избы, все уселись на лавках. Нянька опять заплакала. При выходе меня пришлось силой тянуть: я плакала и просила няньку остаться.

IV

Приселье от нашей деревни лежит в трех-четыре верстах. Почти на полпути дорога идет в гору, с вершины которой открывается красивая холмистая местность с живописно расположенными небольшими рощами, разделенными пахотными полями, точно широкими коридорами. Вдали, за березовой рощей, обширные барские луга – «гладкие десятины», за ними начинается большой лес, «лес с медведем». В этом лесу каждый год охотились важные Питерские охотники.

Особенно красива правая сторона этой местности с барской усадьбой. Огромный сад Мызы как бы сбегает с горки, чтобы соединиться с рощей Заказником. Правее белая церковь в зелени, от нее тянется вдаль линия крестьянских дворов. По другую сторону Заказника – Приселье, Никольское тож, деревенька дворов пятнадцать. У самого подножия горы деревня Лужки.

Впоследствии я часто ходила по этой дороге и всегда отдыхала на камне под елкой, что высилась на вершине горы. Смотрела на рощи, поля, деревни и мне так хотелось вырасти большой-большой, чтобы прямо с горы шагнуть в наш Бородинский сад: он выделялся из всего Приселья несмотря на двухверстное расстояние.

Солнце было уже довольно низко, когда я приехала к новому пристанищу. На крыльце дома, к которому мы подъехали, стоял старик. Очевидно, он вышел встретить нас. Пока снимали вещи с воза, я стояла у стены и посматривала на окружающее, а главным образом на старика, который указывал, куда что поставить. Старик был высокого роста, немного сутулый, но крепкий как дуб. Черные с проседью волосы и длинная такого же цвета борода обрамляли продолговатое лицо. Его черные глаза внимательно следили за работой «молодых».

Управившись с вещами, все вошли в избу. Заходящее солнце освещало бревенчатые стены просторной чистой избы, стол, накрытый домашнего изделия скатертью, перегородку, широкие лавки и, должно быть, недавно выбеленную печь.

«Ну, Дарьюшка, принимай еще молодую! Видишь, как мы выгадали – не было ни одной, а стало две: только подавай работу», – говорил старик, указывая на меня своей старухе.

«Вот и слава богу, теперь отдохну, – шепелявила новая моя бабушка, – раздевайся, девонька, да садись на лавку, на сегодня гостьей будешь», – обратилась она ко мне.

Я смирилась и долго сидела, готовая каждый момент расплакаться от всего чужого и с горечью видела, что это чужое так затянуло мою няньку, что она ни разу не подошла ко мне.

Но вот скотина вернувшаяся прибрана, и все собрались ужинать.

Первый ужин в этой семье сохранился в моей памяти со всеми подробностями. Впрочем, все ужины и обеды проходили в том же порядке. В конце стола у божницы сел старик – дедушка, по правую руку его на другой лавке муж няньки – дядя, как я его называла, рядом с ним бабушка. Мы с нянькой на скамье. Я около дедушки. Эти места так и остались за нами навсегда.

Дядя нарезал хлеб и наложил на деревянный кружок целую кучу, чему я немало удивилась. Дедушка в это время в плоском деревянном блюде двумя ножами крошил баранину для щей, дымившихся в чашке посреди стола.

Все эти приготовления происходили при полной тишине. Это новое, молчаливое, мало меня занимало. Мне было скучно и так хотелось вернуться в матушкину избушку. Тем более тоскливо, что и нянька стала точно чужая. Я крепилась-крепилась и горько расплакалась, повторяя «хочу домой».

«Вот те и раз! одна работница уже заголосила... Брось, Настюшка», – обратился ко мне дедушка, – давай лучше ужинать. Ты, что больше любишь – мясо или косточки грызть?».

«Косточки... Их долго грызть можно», – говорила я всхлипывая.

«Вот и дело! значит зубастая девка будешь», – и он так ласково улыбнулся, глядя на меня, что сразу изменил мое настроение. А подложенные косточки и нянькина ласка скоро совсем успокоили.

Между тем зашевелились руки, ложкой дедушка первый почерпнул щей. За ним последовали прочие домочадцы.

«Ты, что же зеваешь! Смотри, всю баранину выловим», – поощрял меня дедушка. Я посматривала на всех с робостью и невольно следила за тем, как ел дядя, он сразу кусал много хлеба, причем старался, чтобы ни одна крошка не упала мимо рта. Ему очень видно не понравилось мое любопытство, что он и выразил далеко не дружелюбным взглядом.

За все время ужина было сказано две-три фразы. Дедушка своими черными глазами словно указывал каждому, что к пище следует относиться серьезно, не разговаривать. Моя нянька в этом доме казалась еще меньше, и я невольно вспоминала баловницу-матушку, ее избушку, готовая опять разреветься.

После ужина, как и пред ним, помолились на божницу со светлыми иконами и стали укладываться на ночь: я с бабушкой на кровати, дед на лежанке, а молодые в другой избе.

О бабушке вообще я помню мало. Хотя она жила при мне почти два года, но оставила по себе в моей памяти очень слабые следы. Ходила она совсем сгорбившись, говорила шепелявя, неясно. Но бабье дело по дому велось с помощью работницы, а потом няньки – исправно. Летом она заставляла меня рвать траву около березок, «где коса не ходит», и рубить ее сечкой, для поила коровам. Каждый раз при доении коров давала мне кружку парного молока, если я слушалась ее. Из-под повойника бабушки всегда вились белые, как снег, пушистые волосы. После ее смерти в сундуке осталась целая куча в порядке сложенных разноцветных лоскутков, к которым я относилась с большим интересом. Но я крепко почувствовала ее утрату, так как у няньки родилась дочка, которая требовала моего внимания больше, чем при бабушке.

V

При воспоминании о первых годах жизни в Приселье, невольно из всего меня, окружавшего тогда, фигура деда, с которым связаны самые светлые, неизгладимые, детские переживания, встает как живая. Первое время его всегда серьезное лицо меня пугало, и я невольно сторонилась.

Няньке, с переселением в новую семью, приходилось гораздо меньше обращать на меня внимания. Там дома при матушкином хозяйстве мы почти всегда были вместе. Здесь не то: если нянька и не уходила с мужем и работницей в поле, то и дома спешной работы было достаточно. Мне, набалованной матушкой, без ласки было тяжело. Я сделалась обидчивой, молчаливой и всякие пустяки вызывали поток слез.

Однажды нянька долго не возвращалась с поля, и я решила, что она совсем меня забыла из-за дяди, как я называла ее мужа. Солнце стремилось уже за рощу и кругом все погружалось в унылый мрак, принимая причудливые формы. Мне становилось жутко и холодно, но уйти с завалинки не хотелось, все надеялась увидеть няньку. Наконец терпение мое истощилось, я начала тихонько плакать и причитать. Самое горькое было то, что матушка не слышит меня. От тихого причитания я перешла к громкому рыданию и не заметила, как подошел дедушка.

«Полно, Настюша, плакать! Нянька твоя скоро придет. Пойдем лучше помогать бабушке, собирать ужин. Скоро придут наши молодые – голодные, усталые и ворчать начнут, что мы тут зря плачем, а о них и не заботимся», – говорил дедушка, поглаживая меня по голове. Я с ним вполне согласилась, и слезы мои высохли.

С этого вечера я перестала сторониться деда. Напротив, с радостью выполняла его поручения и скоро сделалась постоянной его помощницей и в огороде и в саду, если только не нужна была кому-нибудь дома. Дед ласково указывал, как делать и умел настоять на выполнении заданного. Скоро строгий, казалось, недоступный дед стал для меня простым хорошим другом. Серьезным отношением к моей работе он приучал меня к тщательному выполнению ее. Я поддерживала ветки, когда дед подвязывал ягодные кусты, таскала частокол для поправки изгороди, полола грядки, или копошилась с дедом около парника, погреба, который был устроен на славу.

Все работы сопровождалось разговорами. На все вопросы дед отвечал серьезно, внимательно. Говорил он негромко, понятно, говорил не переставая работать. Скоро я привыкла к деду, приросла к нему, как былинка к корню старого дуба. И жизнь моя, опять совершенно случайно, устроилась тепло и радостно.

Надо сказать, что у соседей не было ребятишек моего возраста, да и предыдущая моя жизнь с матушкой приучила меня к обществу взрослых.

Поселилась я в доме деда через год-два после освобождения крестьян от помещиков. Но крестьяне считались еще временно-обязанными, ходили на барские работы, два-три дня в неделю. Время было тревожное. Кругом шли разговоры, как бы лишний клочок земли не перепал от барина мужику, часто шли шумные разговоры и в нашей избе. Особенно горевали крестьяне, что на их долю отвели «как нищему гром», небольшую березовую молодую рощицу, годную только на дрова. Тогда как рощи хвойного, строевого леса красовались кругом среди крестьянских полей.

К деду иногда приходили не только соседи, но и из других деревень, потолковать об общих делах. У нас на стене висели планы земли, крестьянам отведенной и барской. Но в них я ничего не понимала. Видела только, что к деду относились с почтением, со вниманием слушали его. Послушать, потолковать с Федоровичем обыкновенно приходили в праздник после обедни, так как дед по праздникам ходил в церковь. Летом в праздничные дни после обеда он любил бродить по полю, в лесу, или холил свой сад, подрезая и подчищая с особенным старанием.

Очевидно, природу он любил, как нежный сын. Она не раз спасала от жестоких ударов судьбы, что я узнала впоследствии. Ни в одном уголку дедовой усадьбы не нашла бы себе места крапива и лопух, все занято каким-нибудь плодовым кусточком или овощами. Очевидно, благодаря любви к природе он сумел сохранить ровное, разумное отношение ко всему окружающему.

Зимой, когда не было неотложных спешных работ, дед научил меня читать. Но по какому способу обучал он – не помню. Помню только, что в виде поощрения обещал нарядить меня в голубой шелковый сарафан и украсить бусами.

В этот период я два раза так сильно болела, что меня под образа уже клали со свечкой. Вероятно, благодаря болезни изгладился из моей памяти такой важный факт, как обучение чтению.

VI

Питомцев в Приселье в то время было человека два-три. Деревня маленькая и не из числа бедных, берут же питомцев в большинстве случаев с целью хотя немного покрыть горькую нужду, для бедняка получить тридцать рублей в год – соблазн великий. Вот и берут «шпитомца», как подспорье в хозяйстве.

Бывает, хотя очень редко, когда берут за неимением своих детей. Такой питомец в конце концов усыновляется и остается на крестьянском пепелище.

Недружелюбно встречают нового жильца те члены семьи, для кого с его прибытием увеличиваются заботы и хлопоты. Вначале еще возбудит этот человечек любопытство: заглянут две-три соседки с вопросами, сколько на «ем» пеленок, смекнут, что из них можно сделать. Полюбопытствуют – нет ли в виду матери, т.е. не известна ли родная мать, и герой дня водворяется в зыбку знакомиться с царством насекомых своего нового прибежища. Первое время, когда ребенок больше спит и меньше требует пищи, у мамки зарождается к сироте чувство жалости, привязанность. Но вот у ребенка развивается аппетит, удовлетворить который кормилица не в состоянии. Корова увезена со двора за оброк, а соска из черного хлеба не действует в желательном смысле.

И кричит ребенок от голода, от насекомых, а у неряхи и от прелости, в которой летом в изобилии развиваются черви. Естественно, где тут ожидать любовного отношения к чужому ребенку, взятому в дом от горькой нужды, от женщины, которая легла последняя, ночью маялась с ребенком, а то и с двоими, и утром должна встать раньше всех для трудового дня. И вот раздражение, ругань, шлепки посыпались на маленькую, ни в чем не повинную голову питомца: его злосчастная голова как-то скорее подвертывается под сердитую руку.

Умрет свой – питомцу может быть и полегчает. Умрет питомец – дадут другого – их там так много: считать не будут, сколько умерло в той или иной избе. Перенесся голод, прелости и все детские болезни и ставши вопреки стихиям на ноги, питомец с детства начинает сознавать, что его место на жизненном пиру самое последнее.

Правда есть надзор за жизнью питомцев. В районе или «округе» имеется лазарет с врачом, с фельдшером, под наблюдением которых и находятся питомцы. Сам окружной врач – «лекарь» – бывал редко, а его помощник – «подлекарь» – каждый месяц.

В нашей деревне питомцев было мало и потому, когда приезжал сам окружной врач, особенно летом, нам приходилось для «смотра» собираться в Лужках, лежащих в версте от Приселья. Приезд врача всегда волнует «казенное отродье». Волнует и крестьянок, которым приходится показывать грудных: надо умыть ребенка, завернуть в чистые пеленки, прикопить в груди молоко и прочее.

Во избежание обмана, как дети, так и мамки с грудными, носили на шее косточки с обозначением года и номера, под которым питомец значится в книгах Воспитательного дома. Шнурок настолько короткий, что снять через голову нельзя, а концы шнура припечатаны свинцом. Но бабы умели обходить эту предосторожность: часто ребенок, питающийся чем бог послал, показывался врачу молодой здоровой бабой с обилием молока.

Однажды в воскресенье пришел приказ питомцам собраться в Лужках. Стояло теплое, ясное время. С села неслись звуки благовеста об отходе обедни. Солнце заливало яркими, теплыми лучами зеленую траву с разбросанными по ней цветами, заколосившуюся рожь, опушку березовой рощицы. Все цвело, радовалось и, казалось, вместе с нами прыгало. Мы забыли, что идем на смотр к строгому начальнику.

В Лужках врач останавливался у Мирона, деревенского кулака. Владелец лавки с разными товарами, Миронов, получал в Питере, в казначействе Воспитательного дома, плату за содержание питомцев и покрывал долги крестьян-воспитателей, забиравших товары в его лавке.

В двухэтажном доме Мирона была чистая половина, где хозяин принимал только именитых гостей – священников, станового и других. В этой же комнате окружной «смотрел» питомцев.

На крыльце и около дома собралась довольно большая компания, преобладал народ мелкий, нетерпеливый. А ждать пришлось долго. Наконец из-за горы донесся тихий перезвон колокольчиков. Публика встрепенулась. Малышей живо привели в порядок. Бабы приняли ласковый вид: то тут, то там мозолистая рука поглаживала белокурую или черную головку. При виде начальства маленькие сердца трепещут. Да и есть от чего: у врача лицо серьезное, строгое – не то защитник малышей, не то грозный судья. Публика робко входит и останавливается, в ожидании вызова, у порога.

Смотр начинается с грудных детей. Подходит баба лет сорока, тощая, с унылым выражением во всей фигуре: одолела бедность, непосильная работа и «частые дети». Нужда заставила и питомца взять. Баба показывает лицо спящего ребенка. Врач делает отметку в журнале пред именем, правильнее пред номером ребенка.

Потом велит кормилке показать количество молока. Молоко в избытке: в таких случаях кормилицы поступают, как продавцы коров – не расходуют пред смотром. Подходит другая, ребенок все время кричит – больной.

«В лазарет! – приказывает врач, – у него заразная болезнь. Завтра же утром».

«Что ты, барин! Страда начинается... Мне и дом не на кого оставить!..»

«Не рассуждать! – перебивает врач. – Сейчас собирайся. Деньги бы только вам получить, на это всегда время хватает... Пойми ты, и своих и чужих детей заразишь...»

«Ах ты господи, и попутало меня опять связаться с этим отродьем», – ворчит баба. Но врач занят уже другими, делает замечание насчет головы, носа и рук питомцев, робко произносивших свое имя, а грамотные – год своего рождения и номер.

Подходит сорванец Степка, мальчик лет десяти. За ним его воспитательница.

«Господин, – гнусавит она, – постражайте Степку, сладу нет... Совсем не слушает, озорник, все тащит, по крынкам лазают, намедни на мызу ягоды снес, так деньги скрал», – перечисляет баба Степкины грехи.

Мальчик посматривает плутоватыми глазами по сторонам, как пойманный звереныш.

«Уж если не усмирите, так берите, куда хотите, силушки моей нет». Начальство молчит. У Степки, вынесшего за час здоровую взбучку от «гнусавихи», зарождается надежда, что беда пройдет. Может быть, ему, Степке, даже следует пожаловаться на мамку и показать синяки, которыми она каждый день его награждает. Но надежда напрасная.

«Ты, что, каналья, не слушаешь воспитателей? – неожиданно обратился к нему врач, – если еще раз услышу жалобу – я велю выпороть тебя! Мало с вами хлопот, а тут еще жалобы». И он внушительно окинул взором все «казенное отродье».

Подобные сцены повторялись часто. Почти всегда питомцы оказывались виноваты и пред окружным начальством. На меня начальству не приходилось кричать, тем не менее я до того смущалась подходя к нему, что иногда все перепутывала, а то и свое имя забуду.

Разнообразные сцены творились около докторских смотров, всегда питомец играл роль пария, элемента виноватого в том, что он существует. Действительно, крестьянка берет его, как нечто подсобное к хозяйству – нужда заставляет.

С другой стороны доктор – прежде всего жаждет получить жалование и устроиться в округе «поудобнее». Только приказание свыше, из Питера, заставляет навещать и в мороз, и в летние жары «чужих» детей, разбросанных на большом расстоянии по бедным избам. Ни той, ни другой стороне эти бросовые дети не дают радости. И мрут они в первые годы своего существования, как мухи. Статистика Воспитательного дома отмечает смертность и до 80% и выше.

Надо прибавить, что с питомцами, которые наперекор голоду, холоду, колотушкам выросли до их совершеннолетия, распоряжаются, как пешками, не считаясь с их желанием, с возможностью устроить их жизни сообразно своему стремлению.

Нужно, например, известное количество служанок в Воспитательный дом или в учебные заведения того же ведомства, и посылается приказ окружному – «набрать столько-то». Он и набирает. При этом согласия питомцев не спрашивается, как и при рекрутском наборе. Я знала такой случай, когда взяли в набор просватанную за крестьянского парня питомку. «Не мое дело, – говорит врач жениху, – поезжай в Петербург, там и сватайся».

Только благодаря особой энергии парень месяца через два вывез свою молодайку из прачечной Воспитательного дома.

Хорошо помню один из таких наборов. Был Петров день, престольный праздник в Лужках. Зеленая лужайка по случаю праздника представляла самый пестрый букет благодаря нарядам собравшейся молодежи – двух-трех деревень. Красные, синие и прочих цветов сарафаны, белые пышные рукава рубашек, разноцветные ленты и венки на головах – все выглядело пестро, весело, молодо.

Вдруг среди этого веселья послышались переливчатые колокольчики. Все ближе – громче, и в деревню въехал тарантас, запряженный парой. Проехал мимо хоровода и подкатил к Миронову дому. Это приехал окружной. Смущенная было колокольцами молодежь, узнавши казенное начальство, успокоилось, продолжало свои праздничные разговоры, смехи, игры. Только окрики: «эй, казна, казенное отродье, к начальству!» – показывали, что не все могут спокойно праздновать. А «отродью» и было от чего беспокоиться: такой праздник и вдруг сам окружной! Кроме того был недавно, значит что-то особенное.

Скоро собрались все бывшие в деревне питомцы. Переключка маленьких спешная, небрежная. Очевидно не в них интерес.

«Все подростки тут?» – обращается доктор к остальным. Небольшое молчание, переглядывание и общее смущение.

«Наталья Ивановна и Марья Николаевна здесь?» – вызывает начальство.

Девушки лет шестнадцати-семнадцати подходят к столу. Молчаливое рассматривание.

«Сообщите своим воспитателям, чтобы чрез два дня они вас предоставили в округ. Оттуда вас отправят в Петербург, в Воспитательный дом», – продолжает он.

«Ты Наталья Ивановна?» – обращается к хорошенькой нарядно одетой девушке, которая своим праздничным передником утирает слезы.

«Я... Нельзя ли, господин доктор, меня оставить... Меня в свои возьмут», – говорила всхлипывая девушка.

«Оставить! Я за тебя пойду в служанки?» – возражает окружной. В это время подоспел и воспитатель Натальи. С тревогой в лице подошел мужик (лет 50-ти) к столу, за которым сидел доктор. С беспокойством взглянул на плачущую девушку, потом на начальство, хотел что-то сказать, но запнулся.

«Ты кто? Что тебе нужно?» – спрашивает окружной.

«Макар я, ейный значит воспитатель. Что ж и в правду хотите взять?» Он метнул глазами в сторону своей питомки: «она ведь у нас одна, заместо своей, за дочку значит... Все наше ей останется, если она при доме будет. Так уж лучше не беспокойте», – торопливо, захлебываясь говорил Макар, точно боясь, что не дадут высказать.

«Что тут рассуждать! Не твоя она и не тебе ею распорядиться. Если б было думно в свою – заботился бы раньше».

«Свой, батюшка, был... а вот помер», и его окладистая борода задрожала: «сделай божескую милость, не беспокой». Но это слово, очевидно, не понравилось начальству.

«Тебе сказано вести и вези! Понял? И убирайся!»

«Коли не понять – понял. Да страда началась, покос... А ты, Наташа, не плачь», – круто переменяв тон обратился он к девушке: «авось уладится по нашему».

В это время окружной с раздражением приказывал воспитателю Марьи Николаевны отправить ее в округ, так как подвыпивший мужик и слышать не хотел, чтобы отпустить теперь в летнюю пору.

«Нет ты, барин, постой: теперича моя баба, значит, болящая, а ребят пятеро, все махонькие. Машутка-то одна, выходит, работница по бабьему делу, так уж тут как ни кинь, а взять ее нельзя. Она-то лентяйка и рада на легкие хлеба...»

Однако «лентяйка» тоже плакала, как ни бедно, как ни тяжело жилось ей у воспитателей, но все ее привязанности только тут. Тут в этих Лужках, у этого теперь подвыпившего Михайлы она выросла, горевала, нередко голодала, но тут же ее и солнышко пригревало, и, хотя редко, ее по головке гладили, лаская...

Окружной между тем рассматривал списки питомцев, желая, должно быть, отметить еще подходящих в услуги.

«Ты что еще здесь бурлишь? – крикнул он, поднимая голову. – Через два дня Наталья Ивановна и Марья Николаевна должны быть в округе!»

На улице около огорченных собрались соседи и выражали свое сочувствие.

Михайло еще долго не мог успокоиться и повторял, что «так не полагается: ежели девка выросла, так шалишь – страду выполняй!.. А то выходит, что и наемница надежней. Вот тебе и вместо дочери»...

VII

К приездам помощника окружного – «подлекаря» относились равнодушнее, несмотря на то, что этот маленький начальник был еще крикливее и нередко пускал в ход руки. Для подлекаря нас не сгоняли в другую деревню – он приезжал в Приселье.

В один из таких приездов подлекарь велел оповестить на деревне, что в Воспитательном доме дают питомцев-подростков, которые могут де быть уже помощниками в семье. «Они отобраны от чухон и говорить по-русски не умеют, – сообщал подлекарь, – но это не беда, долго ли научить. Зато чухны научили их хорошо работать». На вопрос кузнеца – и почему же их отобрали, подлекарь долго объяснял, как начальство заботится о питомцах.*

«Надо же, чтобы они научились говорить по-русски, а потом и грамоте, которая под силу будет. Иначе куда они годятся прямо от чухон? Они только не понимают, сколько чрез них начальству беспокойства и хлопот. Вот трясись по таким дорогам, приискивай им места», – негодовал он.

Только два крестьянина в нашей деревне взялись «перевоспитывать» питомцев-подростков. Кузнец Петр заявил, что возьмет мальчика. «Покрепче бы мне – помогать в кузнице». Да наш сосед Василий пожелал девочку. Ему нужна была нянька: нанять – лишний расход, да и не всякий отпустит девочку к такой злой бабе, какова была Домна – жена Василия. Тут же не только даровая нянька, но еще приплата по рублю в месяц до 15-ти лет, глядишь на хлеб и хватит. Насчет же разговора по-русски... и точно пустяки: не поймет слов – руками можно показать.

Заявление кузнеца Петра и Василия записали, и не дольше как через две-три недели наша деревня обогатилась новыми обитателями. Василию привезли няньку – Польку, а кузнецу далеко не «крепкого» помощника Миколку.

Хотя дети были взяты из разных финских деревень, но здесь, среди чужих для них и по языку людей, крепко держались друг друга. Были счастливы, когда удавалось полопотать по-своему, что, впрочем, не обходилось даром, особенно няньке Польке.

* Чухонцы (чухны) или маймисты – народное название финских племен карельского происхождения, эйремейсет и савакот, живущих в окрестностях Петербурга, в уездах Петербургском, Шлиссельбургском, Петергофском и Царскосельском. Ч. насчитывается до 100000 человек; они почти все лютеране, говорят на своем особом финском наречии. – *Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона*

Первый раз я увидела Полю на крыльце ее новых воспитателей. Концом головного платка она вытирала слезы, обильно струившиеся по щекам, всхлипывала и произносила непонятные для меня слова. Должно быть, жаловалась своей первой приемной [эйди \[маме\]](#) на новую жизнь.

Увидевши меня, она перестала плакать, густые светлые волосы в беспорядке торчали из-под платка и прилипали к заплаканному личику. На мой вопрос – кто ее прибил, Поля только посматривала исподлобья и ежилась.

«Чего чухонская харя сидишь! или опять разнюнилась? – слышался из избы голос Домны, – иди, качай ребенка».

Девочка быстро юркнула в избу. Если она не понимала еще русских слов, то тон Домны достаточно был внушителен. Скоро Поля поняла, что от этих чужих людей нечего ждать жалости, значит чтобы избежать побоев – надо ухо держать остро.

Первое время Поля была исключительно нянькой. Как нянчила она ребенка Домны, не знаю. Но Домна энергично взялась обучать даровую няньку: дня не проходило без горького плача и криков бедной девочки. Впрочем Домна не щадила и своих ребятишек. Даже мужу от нее доставалось, особенно если тот выпьет.

Несмотря, однако, на всю энергию, с какой взялась тетка Домна перевоспитывать Полю, русский язык последней не давался: слова она так коверкала, что невозможно было не смеяться, слушая ее. Смеялась и Поля вместе с другими, если отсутствовали ее просветители.

Весной, в навозницу, пред покосами, вдруг явились Полины воспитатели – чухны: маленькие белобрысые старички. Детей своих у них не было, и Поля скрашивала бобыльскую трудовую старость. Но по воле начальства им пришлось расстаться.

С появлением их Поля просияла: радостно улыбалась, жадно слушала милых стариков, перебивала их вопросами, вперемежку со слезами, что-то им рассказывала.

«С ума сошла, ошалелая! Ишь, забалакала, сам леший не разберет. А эта и дела забыла», – сердилась Домна.

Чухны пробыли два дня, и, из боязни за Полю, вместе с ней в поле разбивали навозные глыбы на Васильевской полосе. Нас, соседей, очень удивляло, что Поля и после отъезда своих стариков продолжала быть веселой и при том равнодушнее относилась к пинкам перевоспитательницы. Но это скоро объяснилось: она по секрету передала нам, что ее свои «хлопочут» и она скоро «домой поехал».

В семье Василия Поля никого не любила, ни к кому не привязывалась, так как от одних слишком часто получала колотушки, другие, малыши – были причиной их. Впрочем, были у нее и друзья, но из царства четвероногих – лошадь Буланка и собачонка Моська. Когда выпадали у нее свободные минуты, она с радостью возилась на задворках с Моськой или лакомила потихоньку корочкой хлеба Буланку, мурлыкая одну и ту же песню.

Эти друзья над ней не смеялись и своей лаской согревали унылую жизнь девочки.

Все лето и осень Поля была в ожидании, что вот-вот ее дорогие старики-воспитатели кончат «хлопоты» и приедут за ней. Но бедная девочка не дождалась этой счастливой минуты – захворала «горлом» и как-то скорехонько ушла от всех земных невзгод.

Не сладко жилось и Николке у кузнеца. Не подходил он к этому месту, белокурый, тощий мальчик с темно-синими глазами и светлыми вьющимися волосами он скорее годился бы в подпаски и был бы хорошим дополнением к зеленому пейзажу с рожком пастуха. Его новый воспитатель – кузнец Петр был угрюм и неразговорчив. Не нравился ему этот тихий мальчик, не подававший и надежды, что в будущем из него выработается хороший помощник в кузнице.

«Это дрянь какая-то, девчонка! – говорил кузнец, досадуя на неудачную присылку, – годится только Аннушке на затычки».

Мальчик часто ходил с синяками. Однажды стоит у колодца и грязным кузнечным передником стирает с лица слезы и кровь, со страхом поглядывая по направлению к кузнице, там сердитый, жаждущий похмелья хозяин с особенной силой опускал молот на наковальню. Только в праздники, в веселом настроении кузнец был ласков с Николкой, привлекая его на свою сторону против «этой склуды бабы», своей жены.

«Она, вишь, баба молодая, ну и глядит в бок... Ты, Миколка, не смотри, что она торопная хозяйка, а черт в ней сидит, беспримерно сидит», – вразумлял кузнец под пьяную руку своего помощника.

Анна, здоровая миловидная баба, давно уже привыкла к выходкам своего ревнивого мужа. По опыту знала, что лучше всего молча выслушивать брехню его. Слушал и Николка, а то приходилось и поддакивать, чтобы скорей успокоился расхордившийся хозяин и не пустил в ход кулаки.

Говорить по-русски Николка научился скоро, но был застенчивым и робким мальчиком. Никогда он не жаловался на тяжелую руку кузнеца, который частенько вымещал на этом «козле отпущений» свои житейские невзгоды.

VIII

Странное явление с памятью человека: на протяжении большого времени вспоминаешь со всеми деталями пережитое, впитанное в далекие годы, тогда как часто факты недавние заплывают слоем забвения и ничем их не воскресить.

Рассказываемое мною было так давно, что часто кажется, что не я переживала все это, а кто-то другой, и было это в далекой-далекой стране. Мое появление на свет божий точно потонуло в тумане времени.

Если человек со смертью и теряет сознание, теряет свое я, то в жизни, на протяжении 70-80-ти лет, вбирает в себя такое количество впечатлений, переживает такие перекаты от горя к радости и обратно, от равнодушия пустоты к значительности, к любовному созерцанию природы и прочее, что вместе со слышанным, прочитанным, с предположениями о будущем – в его распоряжении, положительно, целая вечность.

Моя жизнь от 7-ми до 12-ти лет слилась с жизнью деда и с его домоводством. Все стороннее было только добавлением. Хозяйство деда велось образцово, все его внимание и его домочадцев поглощало целиком. Впоследствии только поняла я, что свои знания, развитие, полученные в молодые годы, благодаря прихоти владелицы, дед старался приложить на своем крестьянском наделе, на своей небольшой усадьбе. На «авось» и на «что бог даст» русского крестьянина, дед не полагался: он всегда был деятелен, всегда в работе. Только болезнь укладывала его на лежанку. «У Бородина круглый год страда», – посмеивались соседи, что не мешало им в минуты нужды обращаться к нему за всякими мелочами, знали, что если старик сможет – ни в чем не откажет.

Уход за огородом с овощами, тщательная полка гряд нередко приводила меня в уныние. Обыкновенно моя работа сопровождалась песнями, в чем я была большая мастерица. Песни распевала старинные, протяжные, перенятые у матушки и няньки. Случалось, если в огороде кроме меня никого не было, пою-пою да и усну, положивши голову на грядку.

Продолжая, однажды полоть нескончаемую, как мне казалось, грядку, я унеслась мысленно к покойной матушке, соединяя ее с неопределенным образом родной матери, и всей душой призывала ее к себе. Тогда я уже вполне понимала, что я сирота, но не такая, у которых умерли отец и мать, а особенная, «питомка», что мои родители наверное еще живы, но почему-то они меня бросили в чужие люди. Мысли густым роем носились в голове, стараясь разрешить этот вопрос, на печальный мотив песни.

Не по реченьке лебедушка плывет,
Не ко мне ли родна матушка идет.
Ты приди-приди, родимая моя,
Погляди-ка на несчастну на меня,
Как я маюсь, во чужих людях живу...

– звонко разносилось по огороду. Мотив и слова песни меня расчувствовали, и я грязными кулаками размазывала по лицу слезы.

«И какая же ты глупая девчонка! Ну кто гряды поливает слезами? Смотри, от такой песни заплачет и брюква. Пой лучше что-нибудь веселое», – говорит дед подходя. И ласковый ровный тон его рассеял мои печальные мысли. Хотя с этого времени они посещали меня довольно часто.

Причиной моих печальных настроений было отношение ко мне дяди – мужа няньки. Он положительно невзлюбил меня с первого моего появления в доме деда. Часто приходилось слышать обидные слова как «проклятая дармоедка», «чертова кукла» и прочие, хотя у деда не могло быть дармоедов: он сумел заставить работать и своего слабоумного сына, этого же Дмитрия. Он должно быть просто ревновал меня к деду, чужая девчонка завладела симпатией его неприступного отца. И нянька – его жена бережет эту девчонку.

Но надо сказать правду, что Дмитрий ни разу меня не бил. Замахнется с диким выражением в лице и почему-то отвернется. Однажды чем-то я помешала ему на крыльце.

«Ты что тут, чертова кукла, топчешься?» И он замахнулся уздой с удилами и колечками. В избе у окна стоял дед и видел эту сцену.

«Измочалю все ремни о твою глупую башку! Слышишь?» – закричал дед. Страх Дмитрия пред отцом очевидно спасал меня. Но такое его отношение заставляло меня быть всегда настороже, чтобы вовремя избежать пинков. А практика в будущем, на этот счет, предстояла для меня большая.

Но так как ничто в мире не пропадает, не пропали даром и дядины замахивания, а после смерти деда и пинки: на всю жизнь осталось у меня неприятное опасливое чувство к непредвиденным пинкам судьбы, благодаря чему в минуты опасности у меня является, как-то подсознательно, находчивость, помогающая если не совсем избежать, то смягчить беду. Особенно эта находчивость помогала во время жандармских обысков, когда приходилось трепетать всем существом, если в квартире заставали нелегальных или было, что не успела припрятать. Да, «ничто в мире не пропадает» даром, даже пинки, полученные в детстве.

Неприятнь дяди ко мне особенно увеличилась с того случая, когда он, нянька и дед, благодаря моему ротозейству, пережили большую тревогу за его и няни полторагодовалую дочку. Время было пред покосом. Дядя отбивал и точил косы. Нянька и дед тоже были заняты приготовлениями к страде. Я с девочкой сидела в саду. При входе в сад стояла громадная рябина.

Лена копошилась в траве, а я, положивши голову на корень рябины, выдававшийся из земли, любовалась узорами от ветвей рябины на фоне синего неба и о своих обязанностях няньки совершенно забыла. Сколько времени пролежала я в таком состоянии – не знаю. Но только привел меня в сознание очень чувствительный пинок в бок: надо мной стоял дядя со свирепым выражением.

«У, проклятая чертовка, ее ищут, а она дрыхнет! Где Ленка? Зенки протираешь...» – и посыпался целый град ругательств.

Я не сразу сообразила, в чем дело, и стала искать Лену около себя. Но она куда-то исчезла. Бросилась на поиски, но ее и след простыл. Недалеко за околицей начиналась роща, а с другой стороны, через соседний огород был пруд. Можно себе представить, сколько все пережили тревог, обыскавши огороды, деревню и не найдя нигде ребенка.

Дедушка уже ощупывал граблями пруд вдоль берега. Я жалась около плачущей няньки, боясь подвернуться под руку дяди. К искавшим присоединилось несколько соседок. Все разделяли тревогу нашей семьи, невольно вспоминая печальный случай, произошедший в одной из соседних деревень год тому назад. Там в Петров день целой гурьбой девушки шли в церковь и зашли в последнюю избу за подругой. Девушка оделась и присоединилась к компании. На грех за ней увязался маленький братишка и вышел за околицу, за которой сразу же начиналось ржаное поле.

Должно быть мальчика привлекли васильки. Он исчез, и поиски на протяжении нескольких дней были безрезультатны. Прошел покос. Начали жать рожь. Почти посредине длинных полос была небольшая низина, поросшая кустами ивы. И в этой низине, недалеко от околицы, мать увидела уже разложившийся труп своего мальчика. Случай этот на всех тогда произвел тяжелое впечатление, и при поисках Лены невольно его вспоминали.

Дрожа от страха, я который-то раз побежала к сенному сараю и, совершенно неожиданно, наткнулась на спящую в высокой траве Лену. Она, обнявши ручонками пук травы с цветами, спала крепким сном. Скоро около нас собрались все, искавшие девочку. Мы обе ревели: Лену я испугала, и мое напряженное состояние за все время искания разрешилось громким плачем.

«Слава тебе господи, что так кончилось», – сказал, подойдя к нам, дед. «А ты, смотри, в другой раз не спать, если тебе дело дано!» – сказал он строго, обратясь ко мне, – а плакать нечего».

Этот случай очень подтянул меня.

Мне всегда приятно было помогать деду во всех его работах, но особенно я любила бродить с ним по грибы, бывало это изредка, по праздникам. За ягодами мы ходили с нянькой. Чаще всего с дедом отправлялись в Заказник – самую большую рощу. Эта роща одним углом прилегала к барскому саду и в былое время пользовалась особенным вниманием господ. В возвышенном углу Заказника, в беседке сохранились следы от столов, полукружных дерновых скамеек, клумб и прочего. Одна сторона Заказника оканчивалась темной аллеей, или, как ее называли, Черной дорожкой. В одном месте, около этой аллеи били ключи прозрачной холодной воды. Тут лес был смешанный, и могучие березы вперемежку с елками высились, казалось, до неба.

Заказник я любила и нередко ходила одна собирать чернику и гонобобель. Однажды я там заблудилась и осталось было на ночь, но нянька нашла сидящей под деревом и плачущей.

«Опять верно песни жалобные пела? Ах ты, рева», – сердилась она.

Помню, в Ильин день пошли мы с дедом в Заказник, а потом собирались пройти в Марьину рощу. Мне всегда было хорошо в лесу. Кругом полная тишина. Точно кругом все заснуло под горячими лучами июльского солнца. Воздух, после грозы и проливного дождя, напоен ароматом смолы и грибов. Дорогой дед говорил о разных зверях, шутиливо пугал волками и медведями, хотя я хорошо знала, что в наши рощи летом они не заходят, а там далеко, в Варине живут*. Я скоро напала на целую семью боровиков, и один был, как я потом рассказывала, с меня ростом. В восторге кричала я деда, но он смеялся, уходил дальше искать свое счастье.

Боровиков мы больше не нашли, и корзинки наполнили разным сбродом. Даже две красные шапки мухомора были взяты. «Надо попотчевать мух, больно уж они озоруют», – сказал дед, завертывая их в травяные листочки.

* Возможно, речь идет о деревеньке Вареве Ямбургского уезда. Что касается упомянутых ранее Лужков, то в этом же уезде были деревни Верхние и Нижние Лужицы и мыза Лужицы.

Нашатавшись по Заказнику, мы решили отдохнуть на Черной дорожке, около родника. Дед сел, прислонившись к стволу березы, а я собирала лесную землянику и наслаждалась ключевой водой.

«Экая чистая водица! Не отдает и слезами», – говорит по себя дед, принимая от меня жестянку с водой.

«А разве она была грязная?» – спрашиваю с удивлением.

«Да, такой чистой не была. Вот погнули люди спины – она и очистилась на потеху барам, а пьют-то ее только те, кто забредет сюда, вот как мы с тобой, господа теперь пьют воды заморские. Здесь все их затеи разрушаются. Натешились! Будет!» – вдруг громко закончил дед.

Слушая деда, ничего не понимая, я улеглась на лужайке и следила за движением белых перистых облаков. Вот-вот, казалось, которое-нибудь из них заденет за вершину дерева и обдаст своим пухом.

Вдруг удары церковного колокола возвестили, что в селе или в ближайшем поселке неблагополучно. Дед быстро поднялся и вышел на опушку леса. Увидав, где горит, он крикнул, чтобы я сейчас же шла домой. Но с перепугу я утратила направление, в каком следовало идти: бросалась то в ту, то в другую сторону и, подойдя опять к Черной дорожке, решила пойти по следам деда. Совершенно незнакомая картина открылась предо мной. Но догадавшись, где я – направились к мызе. Обойдя барский скотский двор, увидела громадные клубы дыма, по которым то тут, то там появлялись огненные языки, точно подлизывавшие темную массу.

Горел сарай, наполненный свежим сеном. Кругом шум, гам, крики. Поливали все и чем попало. К счастью было тихо, безветренно, и страшный столб дыма с огненными просветами поднимался прямо к небу. Поливали главным образом близстоящие строения. С бани почти рядом, уже сняли крышу. Сарай, горящий, как безнадежно больной, как зараженный проказой, был предоставлен естественному концу: только опасались, как бы не заразились окружающие его здания.

Дед с багром в руках стоял на бане, готовый в случае надобности разбирать бревна. Другим, там стоящим, подавали ведра с водой. Страшно было смотреть на огненную стихию. Но вот пламя обширного костра стало понижаться, стихать. И от громадного семейственного сарая, набитого свежепросушенным сеном, осталась огромная куча пепла с перебегающими по ней живыми огоньками. Опасность для других строений миновала, и люди уже с шутками, сарай был сельского богатея, расходились по домам. Остались только караульные, поливавшие кучу пепла водой.

«Не посоветуй Бородин стянуть с Андрюхиной бани крышу – не миновать бы беды, прополыхало бы дальше», – слышу я в толпе. Значит, командовал при пожаре дедушка.

Но это командование, а главное его, как всегда, энергичное действие, не прошло на этот раз, ему даром: с этого дня он стал жаловаться на боль в спине, в пояснице. Чаще укладывался на лежанке, медленнее бродил около дома, больше стал походить на других стариков.

IX

Осенью с первого октября я начала ходить в школу. Для питомцев школьное обучение в то время было обязательное. Наша школа находилась в селе, как раз против главных ворот в аллею барской усадьбы. Пятистенная изба для одной семьи была бы просторной, но для трех-четырёх десятков ребятишек, оказалась тесноватой.

Внешним видом от прочих изб отличалась только тем, что над окнами ее висела доска, по синему белым гласившая – «Школа Воспитательного дома». Два больших стола – аршина четыре длиной каждый, занимали почти все помещение. У дверей посудные полки, где хранилась школьная библиотека и школьные пособия. Около русской печки на треножнике классная доска – вот и все убранство нашей школы.

Раздевались мы – ученики всегда в сенях, тепло ли, холодно ли – все равно.

Учитель наш Иван Иванович Левитов, белобрысый юноша, с учениками жил любовно. На колени и в угол, положим, ставил, но и только: других наказаний не было. Он всегда сердечно относился к радостям и к горестям своих учеников. В школу приходили из четырех или пяти деревень.

Путь до села и обратно я проходила почти всегда с Николаем Кузнецовым. За год Николка научился свободно говорить по-русски, и осенью, к огорчению кузнеца, ему велено ходить в школу.

Хотя он был старше меня года на три, но мы были с ним большими друзьями. Он только часто манкировал, его задерживала домашняя работа. Дорогой из школы у нас с ним обыкновенно продолжалось учение, причем я играла роль учительницы, что мне было очень лестно. Иногда Коля высказывал, как умел, всю накипевшую злобу к кузнецу за несправедливые побои. Иногда вместе и плакали: я, должно быть, вспоминала проклятия дяди.

Когда питомцам наступало время ходить в школу, почти все воспитатели были недовольны, так как от семьи отвлекался помощник в домашних работах, о будущем которого не интересовались. Мой дед напротив – поощрял меня учиться, всегда с удовольствием выслушивал мои рассказы о том, что делалось в классе. Только дядя все более недружелюбно поглядывал на «дармоедку», хотя нянька, защищая, говорила, что я девчонка не ленивая, помогаю ей по уборке в избе и со скотом. К моему счастью, как только ложился санный путь, дядя забирал овса, сена, все необходимое и уезжал в Питер извозить. Мы уже втроем справляли всю домашнюю работу.

От меня впрочем, плохая была помощь: почти все зимние – короткие дни уходили на школу. По вечерам, приготовивши уроки, и я садилась за прялку, хотя тянула самые грубые нитки – «на портянки». Вечерами на воскресенье и на пятницу прясть не полагалось – «лен уродится не волокнистым». Дедушка по вечерам драл лучину из длинных сосновых поленьев, починал сбрую, обувь, одежду верхнюю. А то и новую сооружал. Любил он чтение. У него было много книг, больше из священной истории. Привез он однажды из Питера большую книгу – старый и новый завет, все события в картинах и текст к ним не такой короткий и сухой, как в книжках, по которым мы зубрили в школе. Дед, бывало, что-нибудь работает, а я читаю ему. С особенной любовью и волнением читала о страданиях Христа, перечитывала со слезами.

Впоследствии у меня слились с образом Христа все погибшие за искание правды, все положившие жизнь свою «за други своя».

Время пред пасхой было для меня самым приятным: я воображала, что понемногу, каждый день по одному шагу поднимаюсь на зеленую, освещенную светом лучезарным гору, и чем ближе была вершина этой горы, тем сильнее овладевало мной ожидание чего-то невообразимо радостного. После пасхи это настроение постепенно падало. В слабой степени оно не покидало меня всю жизнь.

Мое хождение в школу, мои успехи там радовали и деда. Он мне помогал, объяснял, что было непонятно, объяснял терпеливо, требовательно и я не могла не понять, не запомнить. В школу я поступила уже грамотной, и пока «звуквики» проходили самый тяжелый школьный искус – обучение чтению – я писала, читала, помогала другим. Иногда читала вслух рассказ в три-четыре строчки для всего класса.

Кроме меня в школу поступил еще такой же грамотей – озорной мальчишка Митька. Не «свой» он и не «казенный», а так – из бросовых. Прижила его с кем-то беспутная работница на мызе и подбросила бобылке Архиповне, а сама удрала в Питер, да там и утонула. А он и вырос. Грамоте Митьку научил дьячок.

Когда открыли на селе школу Воспитательного дома, Митька попросил учителя взять и его. Немало волнений он доставил Иван Ивановичу, хотя и старался слушаться. Летом от него порядком страдали сады и огороды. Но и поплатился он за свое удалство.

«Эй, ребята! – кричит однажды Митька своей боевой команде, – айда в барский сад! Дотемна успеем. Я усмотрел хорошую лазейку. А яблоков страсть сколько! И все большущие, красные. Только отодвинуть доску. Айда!» – убеждал товарищей Митька.

«Сунь-ка нос. А садовник? Он ведь и собак напустит», – возражает более разумный.

«Ну ты трус, всего боишься. Мы с Петькой пойдем».

«Не, я не пойду. Да и ты небось болтаешь, и сам, не пойдешь».

«А вот пойду, пойду! Я те покажу, что Митька не трус!» И он быстро убежал в бабушкину келейку, по каким-то соображениям подпоясался веревкой ниже пупа, перевязал около колен портки, и был таков: задами, кустиками и к саду, к намеченной лазейке. Товарищам любопытно, что будет.

Отодвинул Митька доску, просунул голову, с трудом протиснул плечи. Но предательская доска скрипнула. Митька замер. Ему казалось, что стук его сердца привлечет внимание «садовника – стоглазого волка», как называли его на деревне. Митька, сдерживая дыхание, посматривает на такое обилие спелых, крупных яблок, что мало кто и во сне видел. Но вдруг он слышит лай страшного Неро. Этого лютого пса дальше сада не выпускали. И то – с уверенностью, что там нет чужих.

Забыв про яблоки, быстро юркнул Митька в лазейку и стрелой помчался. Но увы! Чрез эту же лазейку, хотя с трудом, протискался и Неро и по следам нагонял «врага».

«Неро, Неро!» – кричит садовник, но пес почти нагоняет свою жертву. Вдруг в этот момент раздался выстрел, Митька падает, съездившись в комочек, и думает, что он уже умер. Только странно – не он, а кто-то позади него стонет. А вот и шаги. О! Это еще страшнее – это стоглазый. Но к Митьке подошел высокий человек в сером. В руке еще дымилось ружье.

«Ты, что лежишь? Где болит?» – испуганно спрашивал он мальчика.

Митька онемел, точно язык от страха проглотил и ждал, что с ним будут делать: стрелять, кулаками тузить или сечь.

«Беги домой, ты чей?» Но Митька не стал ждать следующих вопросов, и почти бессознательно очутился на крылечки Архиповны, где разразился истерически-беспомощным плачем.

«Да что ты болезный? Кто тебя?» – спрашивала вышедшая из избы Архиповна, – вишь, изверги, как бьют чужого. Ну скажи мне – я сама бы пострадала. Бедные мы с тобой сироты». И к слезам Митьки присоединились слезы и Архиповны.

Долго не мог придти в себя мальчик. На печке, под шубой его трясла лихорадка. «Только диво-дивное: ни одного на ем синяка, ни одной шишки на голове, а вот поди – болеет», – говорила Архиповна.

После болезни, от путешествия в барский сад, этот кудрявый озорник с большущими черными глазами притих, а потом куда-то делся, исчез с поля моего зрения.

Весной, если экзаменаторы не являлись в школу вовремя – в половине мая, ученики еще чаще пропускали учебные дни. Учитель же, к своему огорчению, яснее усматривал недочеты в выполнении программы курса и накидывал часик-другой занятий, чтобы сгладить эти недостатки. В результате выходило одно горе для учеников, так как и крестьянину в это время нужны, хотя еще и слабые, но все же рабочие руки ребят.

Весной, после второго учебного года экзаменовывать нас приехал известный в то время педагог В.А. Золотов, по звуковой методике которого обучали чтению в школах Воспитательного дома – «серебряный дедушка», как мы, ученики сразу же его окрестили за его седину.* Учитель был рад, что экзаменовывать будет Золотов, человек ласковый, терпеливо выслушивающий и поощрявший робких. В предыдущие приезды экзаменаторы были не то суровые, не то чем-то недовольные. Озорник Митька сказал бы, что они не выпались, но на экзамене должны быть налицо только питомцы.

Окружной врач, при питерском начальстве, которое он всегда сопровождал, приподнимал свои хмурые брови и слащаво улыбался. На этом экзамене ученики чувствовали себя совсем свободно. Я, крайне застенчивая с чужими, на этом экзамене пустилась в рассуждение с В.А. Золотовым о том, что учиться все веселей.

До обеда нас экзаменовали по Закону Божию и русскому языку. Первый мы особенно блистательно выдержали, так как отец Матвей был интересней всех «божиих» учебников. Ну, а насчет русского не помню. У меня, должно быть, хорошо, так как я имела незаменимого помощника деда.

В перерыве устроили общий обед. Учитель хотел, чтобы мы свои кусочки съели в сенях или на крыльце, так как и экзаменаторы разложили на столе свои дорожки, и им был подан самовар. Но В.А. Золотов сказал, что места всем хватит и вместе веселей.

Помню, меня очень заинтересовало, как это приезжие господа едят желтое мыло? О сыре я еще не имела понятия. Моя удивленная физиономия, должно быть, обратила внимание В.А. Золотова и он, точно догадавшись в чем дело, предложил мне ломтик этого «мыла». «Я мыла не ем, – ответила я на его предложение, – а вот вы не хотите ли пареной брюквы? Она сладкая...» Мои слова вызвали дружный смех у экзаменаторов. Смеялись и товарищи, не понимая, наверное, причины смеха начальства. Я недоумевала, над чем все смеются, и готова была уже заплакать.

За это мое выступление с брюквой после экзамена я получила грозный выговор от учителя: «вишь кого вздумала угощать пареной брюквой! Смотри, не все смехом ответят на такие глупости». Но наши экзаменаторы были в веселом настроении и, очевидно, довольны результатом проверки наших знаний. Прощаясь Золотов обратился ко мне: «так ты, беловолосая, находишь, что учиться весело? Так и помнить будем», – говорил он, записывая что-то в книжечку. Я смутилась и ничего не ответила.

Х

Весело, вприпрыжку бежала я домой, чтобы скорей поделиться с дедом впечатлениями от экзамена. Радовался и Николка: он на этот раз тоже не сплоховал, хотя «серебряный дедушка» и погрозил мне пальцем за подсказывание. Подпрыгивала и не думала, что это было последнее радостное возвращение домой из школы. События над нашим краем надвигались тяжелые, особенно над домом моего дорогого деда.

Весна прошла без дождей, сухая. Влага от растаявшего снега давно использована землей. Лето не предвещало ничего хорошего, ни тучки, ни облачка. Долго люди ждали, напрасно служили молебны, обходили поля и деревни с иконами – небо молчало и, казалось, тоже высохло.

* Василий Андреевич Золотов (1804-1882) – педагог, деятель народного образования. С 1856 г. в С.-Петербурге. Организовал обучение по звуковому методу в начальных школах и издал свои пособия («Русская азбука с наставлением, как должно учить»). Значительную роль в перестройке преподавания в начальной школе сыграли его «Русская стихотворная хрестоматия», книги для народного чтения и учебник арифметики и др. Положил начало подготовке сельских учителей из крестьян, воспитанников удельного земледельческого училища (1857), участвовал в создании учительской семинарии при Воспитательном доме (1864-70). – *Из Интернета*

Трава и вся зелень на деревьях пожелтела, высохла. Посохли ручейки. В пруду вода опустилась, отошла от берегов, точно и подземные источники иссякли. Земля потрескалась.

Ко всем бедам начались лесные пожары. Загорелось в большом лесу. Всю деревню согнали окапывать пожарище, проводить канавы. Вдруг вспыхнуло недалеко от нашей деревни в роще, называемой «Мох». Прибежали из Приселья и Лужков мужики и бабы, все действовали кто чем мог. С трудом пожар ликвидировали. Но кругом дым, гарь, мелкая пыль, точно вся земля запылала. На небе, вместо ясного солнышка, какое-то мутное пятно каждый день ползало с востока на запад.

Страдали от засухи, страдал и скот и болел. Все приуныли. Не слышно песен, ни смеха, громкого разговора, словно боялись разбудить, что-то страшное. Это страшное не замедлило подползти: начался падеж скота.

Еще весной дедушка решил поубавить число скота. Был у нас трехлетний жеребец, красивой светло-серой масти. В соху его еще не впрягали и продолжали холить. С него и решено сокращение. За этого красавца раньше предлагали большие деньги – 120 рублей, но дед задумал вывести его на ярмарку в день Фрола и Лавра – конский праздник. Но тревоги от событий в природе перевернули все хозяйственные соображения.

Однажды во время обеда дед с тревогой говорит: «с Серым творится что-то неладное, нет-нет да и приляжет, а это не к добру». Лошадь действительно заболела и, несмотря на все старания, на уход – перестала есть, начала пухнуть и дня через два-три пала. Все в доме были страшно опечалены, особенно дедушка.

С этого дня над нашим домом нависла злая туча, и несчастья, точно из рога изобилия, посыпались одно за другим. Какая-то скотская болезнь с нашего двора беспощадно уносила жертвы. Сравнительно с односельчанами у деда особенно много было овец, водились и романовские, овчины с которых выгодно продавались. И вот теперь одну за другой увозили в «лог» и зарывали в яму. Тяжелые картины происходили во дворе: через балку перекинута веревка, которыми подхвачена лежащая тут же на соломе корова. Несколько человек поднимают ее, кто за хвост, кто за рога, стараясь поставить на ноги. Корова стонет, как будто просит оставить ее в покое, и тут же на глазах пухнет, увеличивается в объеме.

Люди совсем растерялись. Про няньку и говорить нечего: она совершенно пришиблена. Не отходит от коровы, уговаривает – «ну-ну матушка, буренушка, встань», а у самой слезы по щекам бегут. Да и было от чего горевать: из четырех две коровы уже стащены в овраг, третья висит на веревках, не миновать и ей... Затем пала вторая лошадь. Даже куры паршивели и умирали.

И тянулась эта грозная темная туча, казалось, без конца. А когда она рассеялась, то оказалось, что наш, обширный для крестьянина, двор был почти пустой...

Но самое главное, ничем непоправимое горе, заключалось в том, что мы осиротели: в доме не стало того, чьим старанием, чьим упорным и разумным трудом было создано все, теперь исчезнувшее, благополучие – не стало дедушки...

С того дня, когда издох Серый, дед стал сильно жаловаться на поясницу и на боль в груди. Частенько в продолжение дня приваливался на кровать, чего с ним раньше не бывало. И за короткое время дед страшно изменился: волосы совсем побелели, сам согнулся и как-то сразу одряхлел. А что особенно удивляло окружающих – что он гораздо мягче, ласковее обращался с сыном. Манера властного, безапелляционного приказания у него пропала, он скорее советовал, просил, точно предчувствовал, что скоро все, чем он жил, во что положил свои силы – должно перейти в ненадежные руки сына. Его могло только утешить, что жена Дмитрия, хотя и слабая физически, но работающая и умная.

Помню, в дождливый день глубокой осени дедушка согнувшись сидел и починял свой армяк с капюшоном, в котором он обыкновенно веял зерно. Я читала ему какую-то священную книгу, но видела, что работа его утомляла: он часто опускал руки и печально посматривал на окно.

«Что, деда, тебе крепко нездоровится? Попил бы мятки – авось и полегчало бы», – говорю я.

«Нет уж... чую, не помогут мне травки. Болезнь и старость в землю тянут» (деду было около 70-ти лет). «Вот и наряд мой готов», – продолжал дед, стараясь быть шутливым, – послужил старый старому, пора обоим на покой. А ты будь умница, учись», – сказал дед с лаской.

Покончивши с починкой, он с трудом улегся на кровать, и в этот день не вставал.

Ночью, со вторыми петухами наши ушли на гумно молотить «лебеду», как они говорили, а я осталась с больным. Раза два подавала ему пить и со страхом прислушивалась к его тяжелому дыханию и стонам. Помимо воли мое воображение рисовало ужасный призрак смерти с косой, направленной в сторону деда.

Сон, очевидно, несколько не подкрепил больного: он с большим трудом сел, когда дядя с нянькой вернулись утром из гумна.

«Полегчало ли, батюшка?» – спросила нянька.

«Ослаб страшно... Да и в глазах что-то темно... На гумно видно мне уж не пойти...» – говорил с трудом больной.

При помощи няньки дед встал пред иконами, придерживаясь за подоконник, а после молитвы улегся на лежанки: «надо погреться, холодно что-то. Ну вот и спасибо, Матренушка... Хорошо уложили, и тебе моя Петровна, за свежи стельки» (я всегда меняла в его туфлях солому). Это были последние слова дедушки.

Прошел час, дед по-видимому был спокоен. Нянька осторожно вынимала из печи хлебы. Вдруг среди тишины стали раздаваться хрипы, вначале тихие, потом все сильнее и сильнее. Мы с нянькой испуганные вопросительно смотрели друг на друга.

«Умирает...», – шепнула нянька и поспешила к божнице. Слово «умирает» меня поразило, как громом.

«Дедушка, милый дед! Что ты? Перестань», – говорила я.

Нянька подошла с зажженной свечей и отстранила меня. Дедушка усиливался что-то сказать, но издавал только хриплые звуки. Из глаз его капали крупные слезы. Грудь продолжала усиленно работать. Нянька послала меня за дядей.

Когда я вернулась, дед лежал неподвижный с покойным выражением на восковом лице. Нянька уже закрыла ему глаза и положила на них медяки. Дядя стоял у печки и хныкал. Я с горьким плачем прикоснулась к руке деда и быстро отшатнулась, испуганная холодом смерти. «Теперь уж все кончено... Ничто его не пробудит». Мне хотелось кричать, плакать, но спокойное лицо деда останавливало. Я точно окаменела и долго потом не могла облегчить слезами своего горя.

Смерть дедушки опечалила всех соседей ближних и дальних: для всех он был интересным и разумным собеседником. Никогда он не отказывал, в чем мог, нуждающимся, и вообще пользовался уважением окружающих.

Много собралось народу проводить деда. Пришли и из соседних деревень. Мне казалось, и стены плакали, когда его выносили из избы. Гроб остановили с пением «со святыми упокой» около дома под березками, с которых падали уже последние золотистые листочки. Остановились и по выносе из деревни, недалеко от дорожки чрез Заказник, по которой мы с дедом так много ходили. «Ни по ком попы так жалостно не пели, как по Бородине», – говорили потом соседи. Похоронили деда рядом с его родными под высокой стройной елкой, должно быть, им же самим посаженной.

Много раз потом сживала я на холмике, под которым крепко спал дедушка, не слыша жалоб своей Петровны. Только грустный шепот елочки и могильных берез выражал мне сочувствие.

XI

Если и в истории человечества отдельная личность играет роль, указывает пути к дальнейшему, то в малой ячейке – в семье все домостроительство, все благополучие, безусловно, зависит от разумного руководителя.

Наша потеря руководителя – дорогого деда совпала еще со стихийными бедствиями, было от чего потерять голову и вполне разумному человеку. Неудивительно, что Дмитрий утратил даже членораздельную речь. Только проклятия слышались отчетливо.

Внешний вид нашего хозяйства не изменился: большой, прочно устроенный дом, сарай, амбар, баня и прочее все цело, но все выглядело сиротливо, точно застыло вместе с хозяином. Казалось, и березки печально леденели...

Первое время тщательно искали дедушкины деньги. Перебрали все имущество, все потайные места. Большой сундук в амбаре был разобран по досочкам, но, увы! никаких признаков скрытого богатства. Решили, что деньги закопаны где-нибудь около дома.

Спрашивали и меня – не видала ли, куда он их положил, так были уверены в существовании капиталов. «Вот взять да хорошенько эту чертовку ремнем исполосовать, так вспомнит, где рылись», – приступил было с угрозами ко мне дядя, но нянька устыдила.

Дед не растерялся бы, нашел выход, а Дмитрий хныкал. Нянька слабенькая, да еще беременная, возбуждала только жалость. И скоро наша семья, не знавшая материальной нужды, жизни впроголодь, сравнялась с бедняками.

Но удивительное упрямство выказывал дядя в ответ на требования нужды и советы няньки: богатый мужик – кулак из села очень соблазнял Дмитрия продать большой сенной сарай на снос, на что можно было бы купить и хлеба и лошадь, годную для извоза в Питере, так как оставшаяся годилась только по домашности. Но он упрямо твердил: «не хочу. Кости его перевероятся». Спустя двенадцать лет мне пришлось побывать в Приселье и убедиться, что хоромы, построенные отцом, Дмитрий, несмотря на бедное житье, сохранил в целости.

Унылая жизнь после дедушки настала для меня. Проклятия, свирепые замахивания сыпались на мою голову каждый день. Я служила козлом отпущения во всех бедах. С особенным страхом относилась я к этим замахиваниям: положительно сжималась, деревенела и чувствовала к нему невероятную злобу. В те моменты я хотела, чтобы он ударил меня, и я вцепилась бы в него, как звереныш, стала бы кусать, царапать, не рассуждая о последствиях.

Несмотря на то, что я была очень плаксивая девочка, проливала слезы от печальных молитв, при виде чужих похорон и горестей – пред дядей никогда ни слезинки не проронила, только за спиной его выплакивая все обиды. Да, печальные дни настали для меня. Не думала я, что без деда настанет такая злая жизнь.

Правда люди мало о злых днях в будущем думают, не ждут, дни печали сами приходят и окутывают человека пронизывающим туманом для того, вероятно, чтобы более яркими красками запечатлеть в нашей памяти былые дни благополучия.

Мое злое чувство иногда переходило и на няньку, хотя чаще было жаль ее, жаль, что она дядина жена, что такая маленькая и не может его бить.

Нянька, должно быть, свыше сил хлопотала около больной скотины и вызвала преждевременные роды. Впрочем, дети ее рождались слабенькими и скоро умирали. «Уж очень ты, Матренушка, жадная на работу, вот и дети плохи», – говорила повитуха.

Настал октябрь. Начались школьные занятия. Пока рубили капусту, справляли кое-что около дома, я была необходима. Но когда все закончилось, я рвалась в школу, со слезами просила няньку. Она и соглашалась: «пускай последнюю зиму хоть через день ходит», – говорила она. Но дядя и слышать не хотел. «Жрать нечего, а она, дармоедка, по школам шляться будет...» Точно от моего пребывания дома придёт хлеб.

К моему несчастью, в эту осень долго не устанавливался санный путь, и дядя дольше, чем когда-либо, был дома. Плохая лошаденка осталась у нас, но все-таки было решено извозить, чтобы прокормиться, ночным извозом, самому с лошадью.

И с отъездом дяди, в школу я ходила неисправно: все работы по домашности, кроме печки, лежали на мне. Нянька была очень слаба после неблагополучных родов. Любовь к чтению, вложенная покойным дедом, не удовлетворялась за недостатком времени и книг, так как все купленные дедом для меня книги дядя запер в ларь и сказал, что «обломает руки, если я посмею трогать их». Ему не книг было жаль, а не мог он переварить моего «лодырничанья».

Кроме всех этих бед, нянька решила после родов не запускать молоко, а взять питомца: «надо же как-нибудь прокормиться, нужда не свой брат». Я все надеялась, что поговорят о маленьком питомце, да и забудут. Но вот нянька получила от окружного билет и так как сама пойти за ним по нездоровью не могла, отправилась другая женщина, чтобы заработать за поездку и за то время, которое она пробудет кормилицей в Воспитательном доме. К моей радости, пока мы дома были только с нянькой, я могла чаще ходить в школу.

Вдруг, пред самым рождеством вернулся из Питера Дмитрий: лошадь попортила ногу. Хмурый, как туча, с пустыми руками. Даже муки не купил, что так ждала нянька.

Ясно представляется мне вечер этого печального сочельника. Чистоту мы с нянькой навели накануне, и в ожидании дяди, чтобы не жечь даром лучины, прилегли сумерничать. Дядя еще засветло к Мирону в Лужки ушел попросить хлеб на мой билет.

Прислушиваясь к бушевавшей непогоде, я невольно вспоминаю о нищенке Архиповне. Незадолго до рождества она шла домой с побиранья. Шла в сумерки, глаза плохие, а на ее беду запорошил снег, она и сбилась с дороги. Через сутки мужик на рассвете нечаянно наехал на окоченевшую старушку. Бабы потом сказывали, что снег вокруг замерзшей был укатан, как пол, какими-то страшными лапами. И мне представляется картина борьбы Архиповны с чудовищем. При дедушке ее нередко у нас подкармливали и с собой давали, на что она неизменно, прощаясь, говорила: «дай вам бог, дай... Хоть до неба и семь верст и все лесом, но он, батюшка, услышит».

А серая мгла в избе и потрескивание бревен в стене от мороза помогают моему воображению, рисуя мрачные картины. «И дядя, точно страшилище, – думаю я, – за последнее время как лесовик какой, так и смотрит, чтобы боднуть». Хорошо без него. «Вот только есть хочется. Сегодня до звезды не едят, но она давно зажглась».

Тяжело ступая, в избу вошел дядя и грузно спустил ношу. Я вскочила с лежанки, вздула огонь и разбудила няньку. Приготовили ужин из пареной брюквы и тертой редьки с квасом. Уселись за стол. «Миронов дал муки-то?» – спрашивает нянька, хотя и знала, что больше неоткуда взяться. «Дал два пуда, больше, говорит, не дам, пока не представите свежий билет».

Миронов брал билеты питомцев, по которым в правлении Воспитательного дома получал плату за воспитываемых, крестьяне, вынужденные держать питомцев, в его – Мироновой лавке забирали авансом товар. Поневоле если питомец умрет или «устареет» – войдет в возраст (15 лет), приходилось брать нового.

«Много, слышь, задолжали... Знамо один руп, чего тут, обуви больше сдерет», – метнувши глазами в мою сторону, говорит дядя. Томительное молчание.

Я ем и чувствую себя виноватой за каждый глоток, а не есть не могу. «Одна и перебилась бы, пока привезут маленького, а тут эту корми, да шляться пускай. Она и рада лодорить, дармоедка», – продолжал дядя.

«Ну, вспомни, какой сегодня день-то! Бога побойся... На ее же билет и муки Миронов дал», – остановила его нянька.

Дядя как будто спохватился, торопливо доел свой озубок, всыпал в рот подобранные пред собой на столе крошки и шумно вышел из-за стола.

Подметая после ужина пол, я заливалась неслышными, но горькими слезами, переживая обиду от слов дяди. И долго не спала, стараясь заглушить подушкой рыдания, придумывая куда бы мне деться. Но слышу – подошла тихонько нянька. «Спи, не плачь. Он скоро уедет», – сказала она и поплотнее одела. Эта забота, нянькина ласка меня успокоила: я согрелась, мысли мои перешли на любимую тему – школу. И уносит меня в другое пространство, рождает другие впечатления.

Удивительно ласковый бурый волк вихрем нес меня к светлой звездочке, вдали сияющей, на детский праздник и уговаривал не бояться, а только крепче держаться за его уши. Но, приближаясь к звездочке, зрение мое было поражено таким сильным светом, что я вздрогнула и ... проснулась. Полная луна сквозь оттаявшее стекло смотрела прямо мне в лицо. И совсем близко, казалось, под окном, раздавалось тоскливое завывание голодного волка (этот сон в виде святочного рассказа был помещен в «[Нижегородской](#) Земской газете» №50, 1914 год).*

Вскоре после нового года привезли из Воспитательного дома нам нового жильца – мальчика Мишу.

«Вишь, рука-то у меня легкая: меченый, значит мать есть», – говорила самодовольно кормилка, указывая на пятнышко за ухом. «Два раза приходила в шпитательный, молоденькая такая. И провожать прибежала. Нас усадили уж в фуры, а она тут и есть. Уж я тебя ей хвалила, страсть. Говорит, что не мать, а только кушерка. Куды там кушерка: так и целует, да все слезы платком утирает. Знамо, жалко родное дите в чужие руки справлять. На, принимай малыша», – закончила баба, передавая плачущего мальчика с черненькими волосиками на голове.

«Ишь, ты, сердечный, как жалобно плачет», – говорила нянька, сунув ему свою тощую грудь.

«Да ты его поцыцкай. Он сыт, всю дорогу тянул, аж тошнить стало. Обещала, слышь – мать-то, навестить. Не грех будет и меня вспомнить», – наставительным тоном закончила исполнившая так удачно миссию баба.

Особенно был доволен дядя: свежий билет дает возможность извернуться в нужде и покрыть долг Миронову, Дмитрий особенно боялся долгов.

Теперь мое хождение в школу еще больше осложнилось. Хотя без дяди, через день могла уходить, уладивши утром все необходимое, а то что без меня проходило в школе – вечерами готовила дома.

Впрочем, мальчик жил не долго. Вначале он страдал желудком, вероятно от нянькиного плохого молока, а потом заболел оспой, что очень редко бывало с питомцами, так как отправляют их в деревню, когда предохранительная оспа вполне привьется. В это время «оспа по деревням ходила» и много жертв уносила: к прививкам в то время относились еще с недоверием.

Смерть Миши памятна мне особенно потому, что умер он у меня на руках: нянька ушла на денек к сестре, получивши известие, что она умирает. Дяди тоже не было дома – уехал песок возить на завод.

* По-видимому, «ошибка памяти» в дате публикации: в указанном номере был напечатан лишь святочный рассказ священника П. Шумилина «Иванов приемыш».

Пред уходом нянька попросила кузнечиху приглянуть и помочь мне, если что понадобится. Мальчик уже «горел» дня два, но этому особенного значения не придавали, так как и во всю-то бытность у нас он не был вполне здоровым. Отвезти в лазарет – не всегда есть на чем, да и «дело божье: кому умереть, так умрет и в лазарете».

Вечером, сделавши все необходимое по дому, я заперлась кругом, и, привязавши к ноге веревочку от люльки, тихонько покачивала стонавшего ребенка. Свет от соседского окошка подбодрял меня. Но все-таки я уснула: ребенок плакать громко уже не мог, только часто-часто дышал. Рано утром пришла проведать меня и помочь убраться тетка Анна – кузнечиха. «Не жилец, что и говорить. Вишь как мается, ангельская душонка, – говорила она, – а ты не робь, если что – крикни меня».

Под вечер мальчик «прибрался». Похоронили и скорехонько забыли о нем. Только Миронов был крепко недоволен: на билет Миши успели уже забрать и хлебом, и солью.

XII

По смерти мальчика и за отсутствием дяди, я с месяц школу посещала исправно и все недочеты подогнала вполне. По развитию, благодаря жизни с дедом, я, вероятно, отличалась от своих школьных товарищей и экзаменов не боялась. Надо сказать, что в школах Воспитательного дома в те времена проверочные экзамены бывали пред рождеством и весной. Этого зимнего экзамена я побаивалась, особенно боялся учитель, так как его известили, что на этот экзамен едет «большой» начальник, значит, следует хорошенько подготовиться. Недели за две до экзамена приходит к нам – Бородиным – учитель и просит не задерживать меня, хотя временно. Но это мало помогло.

Дней за десять до рождества был назначен экзамен. Мы все в праздничных одеждах, приглашенные, умытые сидели за столами, тоже начисто выскобленными. Все подчищено словно к светлому празднику. Учитель волнуется. Он спешит напомнить недочеты каждого, а главное, отвечая, не трусить. «Как войдет начальник, все разом приветствуйте: здравствуйте ваше превосходительство», – торопливо добавляет он, заслышав колокольчики и бледнея, дрожа, как в лихорадке, выбегает на крыльцо, забыв, что сейчас только советовал нам не трусить. Подкатила тройка с крытыми санями и остановилась.

«Батюшки, – шепчет Сеня, сидевший у окна, – из саней-то вылезает медведь бо-ольшущий!..» Мы все присмирели. Дверь отворилась, прежде юркнул учитель, а за ним вошла громадная фигура в дохе, и окружной со слащавой улыбкой.

«Здравствуйте, ваше прев...ство!» – крикнули на разные голоса ребяташки.

«Здравствуйте, дети, здравствуйте», – говорил, раздеваясь, действительно большой и притом сурового вида начальник.

«Поют они?» – обратился он к учителю.

«Поют, ваше...ство». Дан тон, и мы пропели молитву пред учением и царю небес.

«Хорошо поете. Ну, а теперь займемся». К экзамену подошел и священник. За отдельным столом уселись экзаменаторы.

После писания диктовки, стали вызывать к столу по три человека. В первой тройке была и я. Подходя к столу мне всего страшнее было то, что «большой» начальник – Василий Михайлович Безобразов* – невнятно говорил: «в толстых губах слова теряет», соображала я. Но выручал батюшка, повторивши вопрос. Следующие становились яснее.

* <...>Есть еще род Безобразовых, получивший дворянство по ордену Владимира. Получил этим путем дворянские права Михаил Иванович Безобразов (род. 1769 г.), бывший прокурор вятской межевой конторы, во время ходатайства о дворянстве (1833 г.) титулярный советник. Сын его Василий Михайлович Безобразов (род. в Уфе 18 марта 1823 г., [скончался] 7 февраля 1882 г.), кандидат философии, действительный статский советник, инспектор округов С.-петербургского воспитательного дома. Род их внесен в 3-ю часть родословной книги по Пензенской губ. (дело архива департамента герольдии по Пензенской губернии 1845 года, № 47). – *Из Интернета*

Я должна была сказать басню, объяснить ее значение и разобрать одно предложение на классной доске. По арифметике Василий Михайлович экзаменовал меня дольше, чем других, задавал несколько устных задач, что я очень любила и быстро проделывала. Задав довольно запутанную задачу, на отыскание неизвестного числа, и получивши ответ, он, должно быть, решил проверить ход моего мышления.

«Поторопилась», – говорит Василий Михайлович, – ошиблась немного... Расскажи, как ты решаешь».

Это мне было гораздо труднее. Волнуясь и повторяясь, я все-таки подошла к своему ответу, и, торжествуя, поглядывала на начальство.

«А вот вы ошиблись», – говорю... Но видя, что учитель побледнел, я опустила голову.

«Верно... Я ошибся... Иди на место», – сказал, улыбаясь, Безобразов.

Это было пред рождеством. Но вот подходил и весенний, последний экзамен. Пришел конец и этой томительно длинной, голодной зиме. Хотя весна не принесла хлеба наголодавшейся деревне, напротив, явился мучительный вопрос – где взять семян для засева, картошки для посадки и прочее, но все же вместе с ясным солнышком, теплом явилась энергия для борьбы с нуждой, явилась надежда на лучшее будущее, сквозившая в «авось», «только бы дотянуть».

Оставлены причитания насчет «конца мира», «гнева господня» и прочие. Опять захотелось жить и старикам. Появились подсобные работы. Понадобились поденщики для очистки барского сада, на огороды. Корка дубовая кое-что давала. Значит можно как-нибудь домаяться до ... новой маяты.

Весной, с возвращением дяди, в школу пришлось уходить часто обманчивым путем, в чем принимала участия и нянька. Экзамен этой весной прошел рано, в начале мая. Экзаменовал опять В.А. Золотов. Меня он спрашивал по всем предметам довольно долго, чему я не придавала никакого значения. Все кончившие школу, прощаясь с учителем, плакали, и учитель, уговаривал приходить к нему по воскресеньям, утирал глаза. Возвращаясь домой, я горько плакала: точно у меня отняли последнюю радость.

Впрочем, я по-прежнему любила петь одна в лесу и с подружками, всегда запевавшей была. Любила помогать во всем няньке, которую я все же крепко любила. Теперь вся моя привязанность клонилась к ней. Но школы мне очень доставало.

С прекращением школьных занятий исчезла главная причина, благодаря которой так часто проклинал и замахивался дядя. С наступлением лета, дядя реже укорял в дармоедстве, реже терзал нервы замахиваниями. Этому помогли отчасти полевые работы, отвлекавшие его, и я стала «настоящей помощницей» для няньки. В это лето не упоминалось уже о найме работницы, как было раньше. Нянька то и дело похваливала меня, прибавляя, что пожалуй и работы не хватит для таких работниц, как мы с ней.

Дядя все больше и больше взваливал на меня. Решил даже посылать в ночное с лошадкой, тогда как раньше Тройку водил чужой мальчик. Поездке в ночное я сама была рада, только к моему огорчению нянька скоро убедила его, что я буду плохой помощницей после бессонных ночей. Мне же очень нравилось среди природы и ночью.

Старик, нанятый всей деревней, обходит бывало кругом табун, а ребятки – провожатые своих коняг – натаскают из леса хворосту, разведут костер и усядутся вокруг потрескивающего огня. Лица радостные, глаза поблескивают: забыли все шероховатости дня. Без печеня картошки, конечно, не обходится. А пока она доходит в золе, происходит живой обмен того, кто что видел, слышал. А там, смотришь, зашла речь и о великанах величиной с сосну, о ведьмах, леших и другой чертовщине.

В светлые короткие ночи, если и зайдет речь о нечисти, то злой элемент почти отсутствует. Зато в темные ночи в рассказах преобладает страшное. Жмутся друг к другу, иной глаза зажмурит, а с наслаждением слушает, пока не заворчит дед, что спать пора.

И завернувшись в заплатанные зипунишки, спят ребята под чарующие песни рядом стоящего леса. Жутко и невыразимо приятно от разнообразных звуков, особенно при ветерке: то отдаленный хор слышится, то чудится горькая жалоба, угрозы великана. Лежишь под старой, одним бором живущей, березой, которая тоже присоединяется к общей жизни леса своим скрип-скрип, скрип-скрип. Слушаешь, слушаешь и сладко засыпаешь.

Этим летом дядя положительно размяк. Правда, он никогда не бил ни меня, ни няньку, как бьют мужики в деревне, да еще под пьяную руку, бьют с остервенением, и часами слышатся от этого битья вопли. Он делал это как-то неожиданно, наскоком, отчего всегда чувствовалась опасность.

Однажды, во время покоса я его очень рассердила: на скошенном лугу, между копнами привязала лошадь, не приняв во внимание длину веревки, и лошадь растрепала копну на чужом пайке. Хозяин копны отменно выругал дядю за такие поручения девчонке. «Ну, теперь не избежать отплаты», – думала я. И не ошиблась: на долгое время от деревянного ковшика на затылке оставалась шишка. Но в общем летом жилось привольнее.

Но вот опять осень. Опять мысль в его голове, что придется всю зиму кормить «дармоедку» – не давала ему покоя. Хотя на прокормление «дармоедки» получался от казны рубль в месяц. Но, что рубль? Только на хлеб.

Пришлось осенью прирабатывать на поденной работе – собирать плоды в барском саду, копать картошку. Помню, как я горевала, потеряв свой дневной заработок. Маленькая серебряная монета незаметно выскользнула из рук в кухне же священника, когда пила квас. Надо уходить, а тут беда. Все поиски были напрасны. В заключение, я села на порог и горько заплакала, несмотря на то, что счастливые обладатели гривенников всячески смеялись надо мной.

«Ну, разорила ты своо дядю, он, смотри, жеребца высмотрел, а ты вона что!..», – хохочет один.

«Ха-ха-ха! И набедокурила же ты! – подхватывает другой, – да не выпила ли ты его с квасом? Общупай-ко себя хорошенько».

Но поповна сунула мне два пятака: «твой гривенник, наверное, найдется, когда все уйдут», – прибавила она. И я, успокоенная, смеюсь уже сквозь слезы остроум товарищей. А через минуту, направляясь домой, звонко запеваю «вдоль да по улице по широкой». «Ай да люли, люли, по широкой», – подхватывает вся мелюзга.

Вообще переходы от уныния к веселью у меня были скорые.

В эту зиму дядя не рассчитывал извозить – лошаденка плохая, и саней извозных уже не было. К тому же и живя дома можно было заработать: барин продал на сруб одну рощу – «Мох», попорченную лесным пожаром. Дядя уже взялся поставить сколько-то кубов дров, думая, вероятно, и меня приспособить к этому делу.

Но мне не суждено было участвовать в гибели леса, в котором я провела столько счастливых часов, собирая грибы. «Серебряный старичок» вспомнил, должно быть, как я угощала его пареной брюквой, и потребовал меня в Питер. Говорят, все краски прошлого смягчаются. Но мне всегда грустно вспоминать последний день, прожитый у дяди.

Утром, после уборки я, с согласия няньки, пошла к соседке писать письмо ее сыну-солдату. Не успела еще все поклоны написать, как меня окликнули.

«Иди скорей домой, дядя сердает».

«В сумерках приду, тетка, и допишу», – говорю я убегая.

«Беги, беги, касатка, не к сроку, век успеем».

«Что за шмыганье, чертова кукла, – приветствует меня дядя, – аль у тебя праздник? Жрать только домой... Вишь, нашлась писариха!» И он пустил в меня **ролжкой**, которую починал.*

Я быстро одела только что снятую кацавейку и, машинально захватив в сенях мякинную корзину, пошла в сарай. От дядиных обид я редко плакала. Только ненавидела его все больше, сильнее и мысленно отыскивала выход из обидного положения.

«Почему я такая ненужная, чужая? – с горечью думала я, подходя к сараю, – как бы хорошо уйти от всех и лечь рядом с дедом... Уйду от этой брани, уйду!» «Испугается небось, – говорю уже вслух, решаясь на что-то не ясное еще. – Пускай держит ответ пред окружающим. Няньку только жаль, она такая хворая». И чувство жалости к няньке и больше того к себе сжимало мое сердце.

«Катька, Катька! Что ты оглохла? – кричала девочка Петрушиных, – иди скорей, полулекарь приехал, беспременно тебя найти велел. Вишь растрепанная, он испугается».

«Ты, что заставляешь ждать себя?» – сердится Петр Иванович.

Я подошла к столу и хотела сказать свой год и номер.

«Не в этом дело, – остановил он, – а ты скажи своему воспитателю, чтобы тебя завтра к обеду представили в лазарет, слышишь? Завтра к обеду».

«Больше ничего?» – спрашиваю машинально.

«А тебе этого мало? Вишь, прыткая какая. Ну, прихвати пучок березовой каши, мы тебя и попотчует», – смеется подлекарь, утирая толстую шею после обильно выпитого чая.

Известие это несколько меня не тронуло: я была полна предыдущим переживанием. Придя домой и не видя дяди, я уткнулась на кровать и долго плакала, а потом уснула. Проснувшись, я не сразу поняла, почему сплю не раздевшись, и еще больше удивилась, когда услышала разговор сумерничавших: с нянькой сидела тетка Степанида и говорила обо мне.

«Ишь ты, сердечная, не смогла даже и сказать. А Петр Иванович велел беспримерно везти. Будто завтра же ее и в Питер отправят. Поди зря только, что-нибудь иное», – прибавляет она с сомнением в голосе.

Я сразу сообразила все и села.

«Да, няня, мне Петр Иванович велел быть к обеду в лазарете зачем-то».

«Вишь грех какой, а я ничего и не знаю. Слышу, что приехал, а что еще и не знаю, – говорила встревоженным голосом нянька. – Ведь таких еще в набор не берут?» И после разных предположений решили, что верно так, зачем-нибудь, и завтра же я вернусь обратно.

Последнюю ночь в дедушкином доме я спала на лежанке, так как с вечера меня трепала лихорадка. Во сне все собирала березовые ветки, которые дед срезал с верхушек, успевшие «выйти из нормы». Утром, еще не рассвело, мы с дядей усаживались в дорогу. С нянькой расцеловались без слез, так как были обе уверены, что я вернусь. В лазарете, в прихожей доктора, я увидела плачущую девочку, но значительно больше меня. Скоро нас с ней вызвали в кабинет, к столу, за которым сидел окружной и господин в очках.

«А эту пигалицу куда?» – спросил он.

«Как, куда? В училище, где по идее Ольденбургского из питомок выделяют барышень ... ха-ха-ха!» – смеялся доктор, с презрением осматривая мою фигуру.

Дяде сказано, что он может возвращаться. Ему вернули мою верхнюю одежду и дали какую-то плату за привоз. «А когда она?» – спрашивал он растерянно. Но ему не ответили.

Я юркнула за дверь и шепнула: «скажи няньке, что я приду». Сердце било тревогу от неизвестности, но я утешала себя, что дорогу до дому хорошо знаю.

* Ролжка – по-видимому, местный диалектизм, расшифровка которого в Интернете отсутствует. От этого названия пошла фамилия Ролжков.

Под вечер приехал из [почтовой] станции Витино (по Нарвскому тракту) возчик, чтобы утром следующего дня нас доставить в Питер*.

Закутанная в большой тулуп, я переживала впечатления дня.

«Какое это училище построила Идея?» – думала я, полагая, что доктор говорил о дочери Ольденбургского**. И мне в дреме представлялась красивая девушка в белом кисейном платье с голубыми лентами, похожая на дочь помещика в селе. И, конечно, я не думала о том, что с мечтой о красавице Идее заканчивается первая страница моей жизни.

Письма прошедшего, письма былого...
Сколько в вас жизни ушедшей сокрыто!
Сколько мучений, сколько родного,
Все, что ушло... Но не все позабыто.
Вас разбираючи, горько так станет...
Все пред глазами прошедшее встанет.



Институт принцессы Терезии Ольденбургской, 1913 г., фотоателье К.К. Буллы

* В Петергофском уезде находилась довольно крупная деревня (57 дворов) Большое Витино, а при ней была и почтовая станция.

** Первоначальным фондом для устройства женского училища были «туалетные деньги» принцессы Терезии Ольденбургской (дочери герцога Вильгельма, жены принца Петра Георгиевича Ольденбургского), на сбережения из которых было приобретено здание на углу Каменноостровского и Большого проспекта (училище открылось в 1841 г.). Задача училища – «образование девиц недостаточного состояния, которых будущность должна быть обеспечена трудом честным и благородным». Средствами, на которые содержалось заведение, служили почти исключительно плата за обучение и воспитание, вносимая воспитанницами. Казеннокоштных воспитанниц не было, только стипендиатки принцессы Терезии, одно время было до 30-ти стипендиаток принца П.Г. Ольденбургского. В 1855 г. последовало Высочайшее повеление «оканчивающим с успехом воспитание в Училище Принцессы Терезии Ольденбургской выдавать средства на право быть домашними учительницами наравне с окончившими курс в казенных училищах II разряда». С кончиной в 1871 г. основательницы заведения училище получило ее имя, а заботы о нем принял на себя принц П.Г. Ольденбургский, ему помогала старшая дочь, Великая княгиня Александра Петровна. – *Из Интернета*

В рядах «Черного передела»

Знакомому с революционным движением в России известно, что пятьдесят лет тому назад (в 1879 г.) революционная партия «Земля и Воля» разделилась на Воронежском съезде на две организации: «Народную Волю», в программу которой был внесен пункт о терроре, и «Черный передел» с народнической программой.

Организация «Черный передел» полагала путем пропаганды социалистических идей устным и печатным словом поднять сознание народа, который сам свергнет царизм и деспотизм всякого вида. «Все для народа и посредством народа», таков был девиз организации.

Во главе этой партии стояли Г.В. Плеханов, В.И. Засулич, П.Б. Аксельрод, Е.Н. Ковальская, Стефанович и другие. Но в этот период партией «Народная Воля» было совершено несколько террористических покушений, и охранка усиленно хватала направо и налево, не разбираясь в программах обеих партий, и в каждом захваченном видеела террориста. Благодаря этому товарищи посоветовали Плеханову, Стефановичу, Дейчу, Засулич, как видным революционерам, улавливаемым охранкой, ехать за границу, откуда участвовать теоретически в работах партии.

В это время я была совсем новичком. Надо сказать, что с революционной литературой впервые познакомилась в деревне, куда отправилась учительствовать со школьной скамьи закрытого учебного заведения. В семидесятых годах [19-го века], когда идейная молодежь стремилась в деревню в виде учительского или медицинского персонала, писарями в волостные правления, офенями [(бродячими торговцами, коробейниками)] и прочими, легко можно было встретиться с революционными элементами.

В большом селении Войносолово Ямбургского уезда Петербургской губернии, к которому примыкали две большие деревни, было три школы: две от Петербургского Воспитательного дома, так как в этих деревнях много воспитывалось питомцев, и одна школа детей крестьян, построенная местным магнатом графом Сиверсом*. На второй год в мою бытность там в эту школу приехала учительствовать Е.Я. Анненкова. Она была старше меня, с большим развитием, знаниями, встречавшаяся с людьми передовых идей.

Первое время я побаивалась ее. Но скоро мы подружились, и почти все вечера проводили вместе. Школа Сиверса находилась саженьях в 60-ти от деревни, на пустыре. Кругом никаких построек. Только дорога из соседней деревни мимо пролегала. Сидим, бывало, в темный осенний или зимний бурный вечер у топящейся железной печки, ждем, когда испечется картошка, и толкуем на разные темы. Или читаем под звуки бушующей на просторе непогоды. Иногда под звуки дикого хора голодных волков.

* По-видимому, речь идет о Николае Егоровиче Сиверсе (1826-1910) и его предках:

В Ямбургском уезде Сиверсам принадлежало несколько деревень – Пиллово, Войносолово, Большая Руддилова, а также мызы Георгиевской. Со свойственной всем Сиверсам хозяйственностью Егор Карлович начал было обустривать свои владения, однако успел далеко не все. Неподалеку от дороги на Сойкино Е.К. Сиверс поставил небольшую усадьбу, площадью 3 десятины. Егор Карлович назвал усадьбу Петровской, а наследники в его память переименовали в Георгиевскую. С момента смерти Е.К. Сиверса в 1827-м и до 1852 г. имение находилось в совместном владении его вдовы, дочери и сына Николая, к которому после раздела имения отошла мыза Георгиевская. В отличие от своего беспокойного отца, участника Отечественной войны, воевавшего в корпусе Витгенштейна, и не менее беспокойного дяди, участника Отечественной войны и героя Бородинской битвы Карла Карловича, Николай Егорович почти постоянно жил в имении, куда к нему нередко наведывались соседи. Школа в Войносолове была открыта Н.Е. Сиверсом в 1875 году (в школьной библиотеке имелось книг духовного содержания – 50, исторического – 20, по с/хоз. – 12, повестей и рассказов – 60, сказочного содержания – 18). – *Из Интернета*

Жутко и так интересно слушать ее: для меня открывался новый смысл жизни. Иную окраску принимали окружающие картины. Соответствующая литература, как «Что делать?» Чернышевского, «Один в поле не воин» Шпильгагена* и много других, давала материалы для нескончаемых бесед. Раньше, до знакомства с Анненковой, многое в жизни деревни меня возмущало, но мысль дальше беды на месте не шла. Корень зла для меня был сокрыт.

В первый год моего учительства мне пришлось быть свидетельницей начальственной расправы с крестьянином за невзнос податей. Недалеко от школы происходила такая картина: оповещенное сельское общество собралось на сход и ждет начальство – становой пристава. Старики подтянули кушаки и степенно поглаживают бороды. Молодые мужики свою тревогу прикрывают шумными шутками, чем вызывают неудовольствие старенького деда Оськи.

«Наслать бы на вас немца графского, не стали бы зубоскалить», – ворчал дед, не раз испытавший при помещике Сиверсе горячую экзекуцию с поселением.

«Ой, старина, становой и седни везет пуд соли, березовая каша заказана в графской роще. Пра!» – смеется молодой зубоскал. Кто-то подпевает: «Ой, горюшко горе, становой едет в поле...», стихи, проникшие уже из школы. По всему видно, что публика волнуется: все знают, что кроме нажима рублем, живет еще и розга.

Но вот колокольцы в деревне, и к сходу подъезжает парой здоровенный молодой детина с кокардой, в форменной шинели. День был ясный, теплый, и начальство расселось за столом на улице. Прежде всего, мужикам дана словесная встряска за неисправности дороги. Потом приступлено к опросу недоимщиков по оплате казенных податей. Успевшие сколотить деньжонок, тут же покрывают долги, другие просят подождать с неделю-две, и смотря по тому если проситель раньше исправно вносил налоги – давалась отсрочка. На других сыпались крик, брань и требование немедленно достать!

Но вот дошла очередь до «злостного» неплательщика. Маленький, жалкий мужичонко. На нем рваная кацавейка и до того заплатанные штаны, что трудно отыскать их первоначальный цвет. Недоимок за ним накопилось свыше 20-ти рублей (!), и взять нечего: в избе, кроме кучи полуголодных ребят и истомленной жены – на вид старухи, – ничего нет и на дворе пусто...

* Фридрих Шпильгаген (1829-1911), известный немецкий писатель. В России наиболее известен его роман «In Reih und Glied» (1866; «Один в поле не воин»).

При изображении главного героя «In Reih und Glied», Лео, Шпильгаген отчасти вдохновлялся образом Лассалья. И по уму, и по нравственной силе, и по энергии Лео на целую голову выше всех окружающих, так что даже враги принуждены преклоняться перед ним – но для осуществления своих высоких общественных стремлений он сближается с королем и придворной камарильей и запутывается в собственных сетях; все его планы рушатся, и он гибнет на нелепой дуэли. Перед смертью он встречается со старым своим учителем Туски, идеалистом 1848 г., отказавшимся от Лео во время его успехов, но пошедшим ему навстречу, когда от него все отвернулись, и приглашающим его вместе уехать в Америку: «Неужели ты еще надеешься, – говорит Туски, – с этими преторианскими когортами завоевать свободу?» Главная ошибка Лео состоит в том, что, желая облагодетельствовать народную массу, он в то же время презирает эту массу и считает ее неспособной к созданию чего-нибудь лучшего без помощи великого человека. «Масса и теперь еще такова, – говорит он, – какой она всегда была и всегда будет. Она хочет и должна быть руководима, она не рождает сама руководящей ею идеи»; создание идеи есть дело великого человека, вождя, каким хочет быть Лео. Его политическим противником и истинным героем романа (не в смысле завязки и интриги, а в смысле выразителя сокровенных идей автора) является товарищ и друг его детства Вальтер, человек честный, благородный и умный, но средний в сравнении с титаном Лео; зато он прекрасно понимает то, чего не хочет понять Лео – что «один в поле не воин»; он прежде всего и больше всего демократ не только по идеям, как Лео, но и по чувствам. В романе верно схвачены некоторые черты личного характера Лассалья, но последний на самом деле прекрасно понимал, что именно масса является и творцом, и носительницей известного социального идеала («идея четвертого сословия»). – Из Викитеки

Стоит виновник, склонивши голову, моргает глазами и, казалось, безучастно прислушивается к тому, как другие соображают, что можно из его хозяйства продать, останавливаются на сарае. Тут же нашелся и покупатель. Но беда в том, что восьми рублей все же не хватает... И для поощрения, чтобы мужик поскорее погасил долг и напередки бы не ленился, начальство приказывает его выпороть. Еще ниже склонилась голова бедняка. Принесли пук розог. Какой-то здоровяк снял поддевку и приготовился к исполнению обязанностей.

«Ну, Левонтий, сам штоль... аль?» Я все время стояла у окна и с напряженным вниманием следила за происходившим. Но когда Леонтия поощряли лечь самому, со мной произошло неожиданное: я, не отдавая себе отчета, ринулась в мужицкую гущу и, обращаясь к становому приставу, закричала: «Оставьте, оставьте его! Я заплачу восемь рублей, только не бейте его!» Но у меня было только три, и я так же быстро очутилась на крыльце лавочника Ивана Ореха и чуть ли не поклонилась ему в ноги, прося скорее одолжить мне пять рублей. Тот тронулся моими слезами, и Леонтия не секли. Вероятно, благодаря моей юности это вмешательство прошло мне даром.

Но вот под влиянием новой литературы, по поводу которой велись горячие беседы с Анненковой, новых знакомств, мое мировоззрение расширилось, выходило за пределы узенькой перегородки, искусственно созданной в казенных стенах школы. Старые идолы падали один за другим. С приездом Анненковой произошло знакомство с учителями Удосоловской школы М.И. Рыловым и Н.Е. Ясновицким*.

Живой энергичный Ясновицкий тогда уже имел связи с революционным миром. Он участвовал в рассылке запрещенной литературы. Скоро к этому делу привлек и меня, и мне приходилось прятать временами тюки литературы в моей школе.

Понемногу и у меня завязались конспиративные связи с некоторыми крестьянами. Постоянным чтецом и надежным передатчиком «книжек» был молодой сельский староста Егор Васильев и его брат питерский рабочий, еще раньше слышавший о революционном течении.

У меня был школьный хор, чем я и мои ученики очень увлекались. Летом я была обязана (за исключением двух месяцев) по воскресеньям устраивать со старшим отделением и с окончившими раньше школу питомцами чтение и легкое повторение пройденного. Заканчивалось обыкновенно пением. Школа помещалась посреди деревни, и звуки различных мотивов разносились, привлекая взрослых слушателей. Бывало, в школе читают, что-либо из «Записок охотника» Тургенева или рассказы Григоровича, а за окном на завалинке сидят бородатые слушатели, ждут пения. Некоторые песни привились деревенской молодежи. Пение песен связывало школу с деревней.

С разными типами крестьян приходилось встречаться. Ярko вспоминаются два брата Петрушины, соседи со школой, по очереди занимавшиеся зимой извозом в столице, шумливые, горластые, смело толковавшие о начальстве, вперемешку с крепкими словцами. Церковь называли царевой подпоркой, помещиков – пауками. Но все это как-то по-озорному, с шуточками. Давать им что-либо нелегальное считала опасным. Побеседовать на тему какой-либо брошюры даже полезно: с содержанием беседы они непременно с другими поделаются, как своим собственным измышлением. А брошюры «Хитрая механика», «Сказка о копейке» были очень полезны в этом отношении**.

* Здесь и ниже имеется в виду школа в селе Удосоло (при речке Удосолка), в том же Ямбургском уезде.

** «Сказка о копейке. Сочинение Ф. ***», СПб., 1870 [(Женева, 1874)]. Автор – С.М. Кравчинский; «Хитрая механика. Правдивый рассказ откуда и куда идут деньги. Сочинение Андрея Ивановича», М. [Цюрих], 1874. Автор В.Е. Варзар. Брошюра неоднократно переиздавалась. – *Из Интернета*

В противоположность Петрушиным был сосед с другой стороны, Иван по прозвищу Волк. Я раньше считала, что этот Иван свою кличку получил потому, что после сидения в тюрьме смотрит на весь мир сельским волком. По молодому легкомыслию я и не поинтересовалась, почему он сидел в тюрьме.

Однажды столкнувшись по соседству на огороде, разговорились. Мне Волк очень понравился, и я решила познакомиться с ним обстоятельнее, чтобы вести с ним речи на излюбленную мне тему. Не помню по какому поводу вдруг он заявляет мне: «Все это верно, все понимаю. Кой-что и на своей шкуре вынес. Но вы с ними (и он пальцем указал на дом Петрушиных) не так уж просто. Случись беда, они на вас еще наклепают».

И рассказал Иван печальную историю про свою жизнь, и почему он стал таким одиноким среди людей. Оказывается, когда помещик всемогущий граф Сиверс наделял крестьян Войносолова и других двух деревень песками да болотами вместо земли при освобождении их от крепостной зависимости, Иван Иванович был одним из первых, энергичных протестантов. Конечно все вынесли жестокую экзекуцию, а он Иван Волк сверх того много лет тюрьмы. Мир же во время его сидения не только не поддержал его семью с малышами, но и от него самого отвернулся, когда тот возвратился в деревню.

Я очень призадумалась над своей «конспиративностью», но запретная литература потихоньку расползлась, читалась, правда, избранными, которые и не подозревали, кроме двоих, откуда эти книжечки.

Однажды приезжает в мою школу ближайшее начальство – окружной доктор для ревизии питомцев. Он же был ответственным пред высшей инстанцией в Петербурге за порядок в школах Воспитательного дома. В старшем отделении школы были довольно взрослые ученики – лет 14-15-ти, а двое по 16-ти лет. Один из них был посвящен в тайну распространения революционных брошюр, и являлся надежным помощником в смысле хранения их.

Губанов, фамилия доктора, рассевшись поудобнее за столом, подает мне с таинственным видом бумагу и просит расписаться в получении. Расписавшись, я взглянула на содержание и чуть не вскрикнула: в ней отечески трогательными словами советовалось «не только не читать нижепоименованных брошюр и книг, но немедленно доставить соответствующему начальству, с указанием от кого они получены». В моей комнатке тут же при школе, за занавеской на кровати, в это время лежала целая куча только что оставленных «офеней» брошюр и книжек, указанных в бумаге названий. К счастью, Губанов занялся опросом о здоровье младших учеников и не заметил моего волнения.

«Что с вами случилось? – спрашивают старшие [ученики] по отъезде доктора, – вы были белее своего воротничка».

Вскоре это обращение попечительского совета к учителям школ Воспитательного дома было напечатано в одном из номеров «Земли и Воли».

В конце 1877 года в нашем районе, Войносолово, Котлы, Удосолово, с увеличением числа школ и с отъездом некоторых прежних учителей, появились новые. Между ними были с определенным намерением вести в деревне пропаганду, как например В.В. Девель, А.Н. Ульянов* и другие.

* Алексей Николаевич Ульянов (1854-1932) станет мужем Анастасии Петровны, в девичестве Венчиковой. По нему, к сожалению, отсутствует отдельная статья в справочнике «Деятели революционного движения».

Виктор Владимирович Девель (1856-1899) – педагог; окончил курс в СПб. учительском институте и с любовью отдался преподаванию в начальных школах. Он примкнул в 1880-х гг. к молодежи, сгруппировавшейся в обновленном СПб. комитете грамотности и в подвижном Музее учебных пособий Императорского русского технического общества. В комитете грамотности, где он был одно время секретарем, Девель много сделал для снабжения сельских школ книгами, а в Подвижном музее много работал над удешевлением световых картин. Помещал педагогические статьи в «Русской Школе», в газете «Русская Жизнь», в «Педагогическом Календаре» и в «Сельском Вестнике». – *из Интернета*

Жизнь нашего мира осложнилась, интересы повысились. Из Питера чаще получали сведения о событиях революционного характера, печатные материалы: речь Софьи Бардиной, Петра Алексеева, отчет «большого процесса» и прочее, все прочнее убеждало, что старые идолы, устроившие золотой трон на плечах темных масс, рано или поздно падут.* Быстро, как все радостное, хорошее, летело время. В 1879 году часть публики перебралась в Петербург. Оставила и я Войносолово и, чтобы пополнить свое педагогическое образование, поступила в Петербургскую учительскую семинарию.



Виктор Владимирович Девель

* Речь Софьи Бардиной на «Процессе 50-ти» – первая программная речь революционеров на суде, наряду с выступлением рабочего Петра Алексеева. Вернувшись в 1874 г. в Россию, С.И. Бардина стала активнейшей участницей «Всероссийской социально-революционной организации». Простой работницей она поступила на фабрику, где начала вести пропаганду среди рабочих. Как лидер, она имела все основания выступить на суде Особого присутствия правительствующего Сената. В речи 9 марта 1877 г., отвергая пункт за пунктом возводимые на нее обвинения, Бардина изложила «свой взгляд на революцию и пропаганду»: «Преследуйте нас, как хотите, но я глубоко убеждена, что такое широкое движение, продолжающееся уже несколько лет сряду и вызванное, очевидно, самим духом времени, не может быть остановлено никакими репрессивными мерами...». Ее заключительные слова стали крылатыми: «Преследуйте нас, за вами пока материальная сила, господа, но за нами сила нравственная, сила исторического прогресса, сила идеи, а идеи – увы! – на штыки не улавливаются!».

Речи на суде Софьи Бардиной и Петра Алексеева пересказывались и переписывались по всей стране. Хотя процесс был объявлен открытым, в зал суда допускались только родственники подсудимых, не более 50-ти человек одновременно. Л.А. Тихомиров свидетельствовал, что «речь С. Бардиной на суде в обществе произвела истинный фурор. Знаменитый Тургенев «с благоговением» целовал карточку «мученицы». Впервые текст выступления С.И. Бардиной был напечатан (не полностью, без начала) нелегально в типографии Кузнецова и Аверкиева в России и послан в Лондон для перепечатки в журнал «Вперед». Начало текста речи было дослано тогда, когда весь материал по процессу «50-ти» был уже набран. Особое присутствие правительствующего Сената приговорило С.И. Бардину к девяти годам каторги, замененной ссылкой в Сибирь. В 1880 г. ей удалось бежать оттуда и скрыться за границей, однако там, в состоянии психического заболевания, она кончила жизнь самоубийством. – *Из Интернета*

По своей программе и по укладу всей жизни эта школа была в то время одним из либеральнейших учебных заведений Петербурга. Она выпустила много талантливых, прогрессивных учителей и учительниц.* Немало из этих стен (Васильевский остров, Волховской переулочек) вышло и революционно настроенных: Девель, сестры Пешехоновы, Храмов, Н.П. Щедрин и много других были слушателями этой семинарии. Инспектор И.Ф. Рашевский, высокоталантливый человек, смотрел на эту школу, как на свое дорогое детище. Привлек лучших преподавателей: Сиповский, Вулих, Бетхер и другие были украшением не одной только учительской семинарии, но считались интересными преподавателями и в высших учебных заведениях. Особенно хорош был Рашевский, как словесник.**

Жизнь моя в Петербурге пошла по-иному, усиленным темпом. Встреча с друзьями по деревне, новые знакомства среди учащихся, собрания, беседы.

Благодаря Храмову, Ульянову*** завязывались и другие знакомства, связи уже с партийными людьми, с последователями организации «Черный передел». Правда организаторы и старые члены «Черного передела» в это время почти все разъехались. Одни, как сказано выше, должны были скрыться за границу. Другие, большинство, выданы рабочим-наборщиком Жарковым. Арестована в январе 1880 года типография с первым номером газеты «Черный передел», еще в наборе с руководящими статьями. Арестованы Аптекман, Переплетчиков, Пьянков, Крылова М.К. и другие. Казалось, наступил полный крах и организация «Черный передел» совсем закончила свои дела.

Но дело повернулось иначе, и быстро создалась организация, так сказать, второго призыва. Во главе возобновленной организации стоял П.Б. Аксельрод, вернувшийся из-за границы. На призыв Аксельрода горячо откликнулась молодежь. Им же совместно с ближайшими товарищами вновь пересмотрена программа «Черного передела», составлена к ней объединительная записка. То и другое было отправлено с Е.Я. Рубанчик-Козловой на утверждение заграничным товарищам, Плеханову и другим.

* Учительская семинария в 1794 г. арендовала дом Г.Х. Паульсена (6-я линия, д. 15, левая часть), который в 1797-м перешел уже в ее собственность. В 1803 г. семинария была преобразована в Учительскую гимназию, а в 1804-м – в Педагогический институт. В 1819 г. в здании на Васильевском острове, 6-я линия, д. 15 (левая часть) появился уже Императорский Петербургский университет. В 1834 г. это здание перешло к Ларинской гимназии. А в Волховском пер., в домах 1-3, сейчас находится факультет менеджмента СПб университета.

** Рашевский Иван Федорович (1831-97) – педагог; окончил курс в Харьковском университете, был руководителем по русскому языку на существовавших в [18]60-х годах при 2-й военной гимназии педагогических курсах для приготовления учителей в военно-учебные заведения. Принимал деятельное участие в учреждении Андреевских курсов для приготовления народных учителей; эти курсы, перейдя в ведение Спб. губернского земства, были преобразованы в земскую учительскую школу, во главе которой Р. стоял в течение 8-ми лет. Р. был одним из учредителей первых женских курсов в Петербурге (так назыв. бесплатных частных курсов у Аларчина моста). Впоследствии он состоял инспектором педагогических женских курсов и директором Петровского коммерческого училища (с 1881 г.). Много раз руководил, по приглашению земств, съездами учителей. Преподавал русский язык и словесность ныне благополучно царствующему государю императору [Николаю II] и его августейшим братьям и сестрам. – **Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1890-1907**

*** Несмотря на отсутствие по А.Н. Ульянову отдельной статьи в справочнике «**Деятели революционного движения**» из него становится известно о его аресте в С.-Петербурге:

Блуштейн, Илья Яковлевич, еврей, кишиневск. мещанин. Род. ок. 1861 г. Окончил реальн. уч-ще. Арестован 31 мая 1881 г. в Петербурге одновременно с Алексеем Ульяновым на основании агент. сведений, указывавших на него, как на соучастника Ульянова по агитации среди рабочих. Привлечен к дознанию при Петербургск. ж. у. в числе 85-ти лиц, обвинявшихся в пропаганде среди петерб. рабочих (дело П. Подбельского, Н. Коновкина и др.). <...>

Деятельными членами молодой организации были Козловы, А.П. Буланов, Решко, Трубниковы сестры, много других последователей имела эта программа среди студентов-технологов, слушателей медицинских, Бестужевских курсов и других учебных заведений. Удивительный подъем переживала молодежь! С каким вниманием слушались диспуты, которые велись между народовольцами и чернопередельцами, особенно кому удавалось слышать со стороны народовольцев Желябова, от чернопередельцев – Буланова. Потом по вышкам и комнатухам, где ютилась молодежь, продолжались горячие споры на тему – каким путем пробивать крепость самодержавия: направить ли силы для пробуждения масс или городской пролетариат свернет ему шею, следует ли пускать в ход динамит, и многие другие вопросы волновали молодежь.

В это время наша квартира на Средней Мещанской, 6, куда я только что вошла членом семьи, усердно служила организации «Черный передел». В ней встречались для обсуждения дел и недоразумений оставшиеся члены прежней организации и вновь примкнувшие. В ней скрывались и нелегальные. Хоризоминов, например, сидел больше месяца*. Реброва, Н.П. Щедрин** и другие.

За Щедрина особенно приходилось переживать: живой, буйный, как его огненная шевелюра, он не мог спокойно выждать необходимое время, чтобы замести, так сказать, следы от усердного розыска, и почти каждый день выходил из квартиры, небрежно выкрасивши свою голову черной краской.

* Харизоменов, Сергей Андреевич Кличка «Сергей Андреев». (1854-1917). Студ. Моск. ун-та. В конце 1876 г. примкнул к кружку Натансона, составил первую программу об - ва "Земля и Воля"; участник Казанской демонстрации. В 1877 г. жил на астраханск. рыбных промыслах, с весны 1878 г. участвовал в тамбовск. поселении. В окт.- ноябре 1879 г. спасся от провала. Работал и писал по земской статистике. – <http://narodnaya-volya.ru>

** Щедрин, Николай Павлович — род. в 1854 г. в Петропавл., Акмолинской обл. Двор. Уч. в Омской воен. гимн., а затем в Петерб. универс. — не кончил. Учитель. Член «Земли и воли», затем «Черного передела», один из организаторов Южно-Русского рабочего союза в Киеве. В 1876 г. примкнул к землевольцам, ездил в Саратов. губ. для устройства местных рев. поселений. После раскола «Земли и Воли» в 1879 г. вступил в «Черный Передел». В конце 1880 г. основал вместе с Ковальской «Южнорусский рабочий союз» в Киеве. Арест. в 1880 г. Судился Киевским военным судом 26-29 мая 1881 г. Пригов. к смертной казни, замен. бесср. кат. По пути на Кару, в Иркут. тюрьме дал пощечину адъют. ген.-губ. Соловьеву за грубое обращ. с полит. заключ. женщинами С.Н. Богомолец и Е.Н. Ковальской. Судился военным судом. Пригов. к смертной казни, замен. прикованием к тачке без срока. Прибыл на Кару в апреле 1882 г. 15 июля 1882 г. увезен в Алексеевский рavelин, а в 1884 г. в Шлисс., где в 1895 г. сошел с ума. Переведен в 1896 г. в Казанскую психиатр. леч. где и умер в 1920 г.(1919). – <http://narodnaya-volya.ru>

Однажды спрашивает меня прислуга: «почему этот господин бывает то рыжий, то черный?» К счастью, женщина была подслеповатая и весьма доверчивая, что и помогло убедить ее, что это два разных человека, родственника. Мы с мужем бесконечно были рады, когда Щедрин и Е.Н. Ковальская благополучно перебрались в Киев, где они впоследствии организовали «Южнорусский рабочий союз».*



Елизавета Николаевна Ковальская

* Ковальская – Солнцева, Елизавета Николаевна (1851-1943), по втор. мужу – Маньковская; мещ. Внебрачная дочь крепостной крестьянки и полковника Солнцева (носила фамилию отца). Род. в 1849 г. в д. Солнцевка, Харьк. губ.; оконч. гимн. В 1872-73 гг. в Харькове и Петербурге, будучи на курсах и народн. учитель, вела пропаганду среди раб. и крестьян и учащейся молодежи. Была арест. и освобождена. После разделения «Земли и Воли» в 1879 г. была в числе основоположников орг. «Черный передел». В 1880 г. основала вместе с Щедриным (тоже чернопередельцем) «Южно-русский рабочий союз» в Киеве. Арестована в том же году. Осуждена Киевск. воен. судом по делу «Южно-русс. раб. Союза» на бессрочную каторгу (судились Щедрин, Преображенский Алексей, Богомолец, Павел Иванов, Кашинцев Иван, Доллер, Кизер, Присецкая и Кузнецова). В февр. 82 г. за побег из Иркут. тюрьмы вместе с Богомолец прибавлено 10 лет испытываемых. На Кару привезена в 1882 году. За бунты на Каре увезена в Иркутскую тюрьму (вместе с Богомолец, Роскиковой и Ковалевской) в 1884 г. В том же году осенью бежала из тюрьмы. Вскоре арестована, приговорена к 90 плетям, приговор не был выполнен, срок увеличен. Приб. вновь на К. в 85 г. В 1888 г. за столкновение с ген.-губ. Корфом переведена в Верхнеудинскую тюрьму. За новую попытку к побегу в 1890 г. отправлена в Горно-Зерентуйскую тюрьму. Сделала неудачное покушение на жизнь Бобровского. По манифесту бессрочн. кат. заменена 20-летней. Выйдя замуж за австрийского подданного Мечислава Маньковского, была вместе с ним (как иностранная подданная) выслана из России в Австрию в 1903 г. Вошла в партию с.-р. в 1904 г. и в том же году вышла из партии, разойдясь на программе *maximim*. Отошла от партии вместе с небольшой группой, явившейся впоследствии одной из первых ячеек максимализма, зародившаяся в Женеве после конференции с.-р. 1904 г. В 1907 г. арестована в Париже в связи с убийством Леонтьевой франц. гражданина, на которого ей указали, как на министра Дурново. По окончании процесса Леонтьевой – освобождена. В 1909 г. издавала с группой максималистов в Париже журнал «Трудовая Республика». В конце 17 г. возвратилась в Россию, служила в револ. архиве в Ленинграде научным сотрудником. Работала в редакц. колл. «Каторги и Ссылки». – <http://narodnaya-volya.ru>

После разгрома организации «Черный передел» приходилось переживать особенно острое безденежье. Себя и своих знакомых давно обобрали. Прибегли к крайнему, к устройству лотереи. Пустили в ход серебро в виде чайных и столовых ложек, платки, шарфы, даже белье. Обобрали молодоженов вплоть до обручальных колец. При продаже вещей весь разыгрываемый материал распределили так, что в рабочую среду пошли вещи, ценные в житейском смысле, а среди учащейся молодежи научные и общеобразовательные книги. Результат от лотереи был очень удачный, но конспиративные нужды: поддержка нелегальных, поездки по делам и прочее требовали очень много.

После ареста типографии (Васильевский остров, в январе 1880 года) организации приходилось свои спешные работы: воззвания, прокламации печатать на гектографе. Довольно обширная объяснительная записка к программе «Черного передела», составленная П.Б. Аксельродом, размножена тоже на гектографе, который всюю действовал в нашей квартире. Сколько приходилось набирать по аптекам глицерину! А обманывать-то своих стариков! Однажды, провозившись почти всю ночь за спешной работой, я отмывала руки от химических чернил под краном в кухне. В это время входит отец мужа: «Что вы всю ночь беспокоились?» – спрашивает он, подозрительно поглядывая на мои руки.

«Да у меня сегодня экзамен по физике и понадобилось повторить некоторые опыты» – скрепя сердце подвирая я и стараюсь склониться так, чтобы он не видел моего лица. И часто приходилось увертываться от непосвященных в дело стариков, что достигалось благодаря обширной квартире.

Бывали в связи с конспирацией и смехотворные сцены. Приходит, однажды, молодой человек с паролем от Аксельрода, помогать мне. Держится так конспиративно, что жутко становится. А через 2-3 часа уходит, оставив на столе портсигар, на котором начертано «Константин Решко».*

Дня через три с ним же спешно заканчиваем работу. Порядочно устали, и «конспиратор» решил открыть окно, забыв спустить штору. Торопимся себе и не догадываемся взглянуть на противоположную сторону улицы. Вдруг громкий смех почти над головой: в окне против нас, через улицу, сидят два человека, смотрят в нашу сторону и заразительно хохочут. «Будем спокойно продолжать и громко говорить о лекциях», – советую я. Хотя руки дрожали, но окно закрыли не сразу. А затем быстро прибрали, сложили в портфель и К. Решко черным ходом благополучно унес.

К счастью, в комнате кроме гектографа ничего не было. В другое время она бывала так богата запретным материалом, что ставилась бутылка с керосином, чтобы в случае обыска учинить пожар. Я быстро уничтожила [студенистую] массу гектографа, «противень» повесила в кухне. Ждем событий. Но тревога была напрасная, ничего дурного не последовало. Может быть, и там [(в доме напротив)] стряпали прокламации, только от иной организации.

После инцидента с окном немного воздерживались от работы, были осторожны, но только временно. А там опять рассылка в деревню мелкой книжки разных названий, прокламаций, которые иногда тут же и размножались.

* Решко Константин Клавдиевич. Окончил военное училище. В 1880 г. член «Черного Передела». Умер в 1922 г. – <http://narodnaya-volya.ru>

Помню, как мы с М.И. Покровской разбрасывали с великой опаской по переулкам и захудалым улицам, где побольше рабочего люда, прокламации, извещавшие о взрыве в Зимнем дворце в феврале 1880 года*.

Вложенные в конверты с адресами волостных правлений совали в ящики для писем, и в то же время спешили на молебен в семинарию возблагодарить бога за спасение царя: строго наказано явиться всем. У меня осталось еще 2-3 экземпляра, которые тут же по рукам пошли, как поднятые на улице.

Организация «Черный передел» особенно деятельную пропаганду вела среди рабочих Петербурга, охватывая многие заводы. Прочная связь имелась на заводе Сан-Гали, на Васильевском патронном, на заводе около Нарвской заставы. Более развитые, сознательные рабочие имели более близкие связи с пропагандистами, вместе совещались насчет и дальнейших планов. И такие хорошие товарищеские отношения создавались между рабочими и той молодежью, которая шла к ним, чтобы указать на неправду жизни. Когда был арестован мой муж, рабочие от Сан-Галя заботливо хлопотали, чтобы передать ему табачку и сообщить, что работа его, сидящего, не пропала даром, что число сознательных рабочих увеличивается. Не раз спрашивали и меня, не голодаю ли я без мужа.

* Мария Ивановна Покровская – одна из ярчайших фигур российского феминизма. Биографические сведения о ней крайне скудны. Родилась Покровская предположительно в дворянской семье в 1852 г. в Нижнем Ломове Пензенской губ. Получила домашнее образование. В 1870 г. выдержала экзамен на звание домашней учительницы и какое-то время работала в начальной школе в г. Темникове Тамбовской губернии (1873-1876 гг.). В 1876 г. Мария Ивановна поступила на Женские врачебные курсы в Петербурге и в 1881 г. закончила их. По окончании курсов Покровская получила место земского врача в Опочском уезде Псковской губернии. <...>Врачебная практика привела ее к разочарованию в медицине, скептицизму в отношении ее возможностей. Разочаровывал цинизм коллег, соблюдавших свои корпоративные интересы. Врачи играют с заразой в жмурки – считала она – лечат вслепую, берут гонорары, понимая тщету своих усилий, по сути дела обманывают пациентов. <...>Покровская стала специализироваться как санитарный врач. Первые ее научные статьи написаны на материалах практикующего земского врача: «Влияние курных изб на заболеваемость глаз и дыхательных органов», «Исследования нескольких деревень Глубоководской волости», «Опыт статистического исследования заболеваемости и смертности населения в связи с качеством воды» и др. <...>Она подала в отставку и в 1888 г. вернулась в Петербург уже опытным практическим врачом, ориентированным не только на профессиональную деятельность, но и общественную работу. Работать она устроилась в гигиеническую лабораторию профессора Доброславина в Военно-медицинской академии. – *Из книги Ирины Юкиной «Русский феминизм как вызов современности».*

Прокламация Исполнительного комитета «Народной воли» по поводу взрыва в Зимнем дворце

По постановлению Исполнительного комитета 5 февраля в 6 час. 22 мин. вечера совершено новое покушение на жизнь Александра Вешателя посредством взрыва в Зимнем дворце. Заряд был рассчитан верно, но царь опоздал на этот раз к обеду на полчаса, и взрыв застал его на пути в столовую. Таким образом, к несчастью родины, царь уцелел. С глубоким прискорбием смотрим мы на погибель несчастных солдат царского караула, этих подневольных хранителей венчанного злодея. Но... пока армия будет оплотом царского произвола, пока она не поймет, что в интересах родины ее священный долг стать за народ против царя, такие трагические столкновения неизбежны. Еще раз напоминаем всей России, что мы начали вооруженную борьбу, будучи вынуждены к этому самим правительством, его тираническим и насильственным подавлением всякой деятельности, направленной к народному благу. Правительство само становится преградой на пути свободного развития народной жизни. Оно само становится каждого честного человека в необходимость или отказаться от всякой мысли служить народу, или вступить в борьбу на смерть с представителями современного государства. Объявляем еще раз Александру II, что эту борьбу мы будем вести до тех пор, пока он не откажется от своей власти в пользу народа, пока он не предоставит общественное переустройство всенародному Учредительному собранию, составленному свободно, снабженному инструкциями от избирателей. А пока первый шаг в деле освобождения родины по-прежнему стоит задачей перед нами, и мы разрешим ее во что бы то ни стало.

Призываем всех русских граждан помочь нам в этой борьбе против бессмысленного и бесчеловечного произвола, под давлением которого погибают все лучшие силы отечества.



Столовая Зимнего дворца после взрыва в его подвале 5 (17) февраля 1880 года

Связи с рабочими тоже отразились на нашей квартире, она сделалась очень популярной. Узнавши о чрезмерной толчее, Аксельрод и М. Кл. Решко советовали в спешном порядке очистить квартиру. На мой испуг, сохранится ли незаконченная работа, они искренне рассмеялись; не в материале дело: в такие минуты лишь бы люди сохранились, прибавил Аксельрод. Впоследствии я убедилась, что чем преданнее к делу относился член организации, тем он серьезнее, бережнее соблюдал конспирацию в своих отношениях к людям, хотя бы только помогающим делу революции.

Много подсказывает память из того далекого времени, но всего не охватишь несколькими страницами. С глубоким чувством и удивлением вспоминаются люди великого самоотвержения: Козловы, Храмов, Крылова, Решко брат и сестра (Мария Клавдиевна) и много других. Живая, изящная Мария Клавдиевна всем существом жила делами революции, энергично привлекая окружающих.*

Однажды бежим мы с ней по набережной Невы на собрание Красного Креста, где должен обсуждаться вопрос об отыскании денежных средств для отправляемых в ссылку товарищей. Дело животрепещущее. Но у меня сердце неспокойно, дома ждет маленькое существо**. Беспокойство мое выразилось вслух. И вдруг Мария Клавдиевна, несвойственным ей серьезным голосом говорит: каждый живой, сообразительный человек сейчас так дорог для дела, а тут думать о малютке. Отдайте его в Воспитательный дом!

* Решко, Мария Клавдиевна. Слушательница фельдшерских курсов. В 1879 г. занималась организацией помощи заключенным. В 1880 г. член центральной группы «Черного Передела». Арест. в 1881 г., в том же году заболела скоротечной чахоткой и накануне смерти отдана на поруки матери. Умерла в 1881 г. – <http://narodnaya-volya.ru>

** 3 января 1881 г. в семье Ульяновых родился старший сын Николай, будущий левый эсер и исследователь геологии Альп.

Я так была поражена ее словами, что в первый момент не нашлась, что возразить. Она была крестной этого малютки и нередко возилась с ним. Во мне волной пронеслось возмущение и ответы – один злее другого. Скорее бы в эти темные волны ахнула, чем туда. «Вы знаете условия жизни питомцев? Знаете, что в иные годы смертность среди них выше 80%?» – говорю я. Видя мое волнение, Мария Клавдиевна стала шутливо успокаивать. Я конечно понимала, что сказано то с маху. Хотя она бы ни пред чем не остановилась для дела.

Собрание Красного Креста было общее с народовольцами: в помощи сидящим и высылаемым не делились. Да и вообще в этот период обе организации и работу пропаганды вели без всяких между собой трений, иногда передавая и связи с рабочими. Пользовались общими квартирами. Квартира М. Кл. Решко, Петербургская сторона, Белоозерская 3, наверное знакома многим народовольцам. Пользовались и нашей квартирой.

Но после того как была замечена слежка, чернопредельцы собирались большей частью на Б. Морской, в мастерской нарядов M-me Theodor, сестры М. Кл. Решко (Юлии Клавдиевны Котоминой). Пользовались Юлией Клавдиевной и для сношений с границей: мастерской требовался последний крик парижской моды, а чернопредельцам – обмен мнений с зарубежными товарищами. Отзывчиво относилась Юлия Клавдиевна и к другим нуждам организации. Но вот нагрянула полиция и в этот храм искусства, и мадам Theodor арестована. К счастью, в это время в мастерской готовилась роскошная мантилья жене градоначальника. Без самой хозяйки, пожалуй, и не наложились бы все штрихи на этот видный и дорогой наряд, и «преступницу» через десять дней выпустили.*

Вскоре была арестована Мария Клавдиевна и ее брат [Константин]. Надорванное здоровье Марии Клавдиевны не выдержало тюрьмы. Подоспело еще личное горе, и она получила скоротечную чахотку. После усиленных хлопот выпустили ее с условием, чтобы через три дня убиралась за границу.

Будучи уже в Томске, я получила письмо от ее матери с цветком из венка, возложенного на гроб Марии Клавдиевны эмигрантами. До последних дней она мечтала о России, чтобы работать с товарищами, писала она. Я уверена, что у всех встречавшихся с Марией Клавдиевной осталось самое светлое воспоминание.**

* Решко (по мужу Котомина), Юлия Клавдиевна, дочь дворянина, колл. советника, оренбургск. землевладельца, сестра Мар. Кл. Решко. Род. ок. 1858 г. в Оренбургск. губ. В 1873 г., проживая в Оренбурге, принимала участие в местн. революц. кружке, организован. С. Голоушевым. Арестована в дек. 1874 г. и привлечена к дознанию по делу о пропаганде в империи («Дело 193-х»), вследствие близких сношений с С. Голоушевым и П. Орловым и передачи им «программы революц. журнала». По выс. пов. 19 февр. 1876 г. дело о ней разрешено в администр. порядке с учреждением за ней гласн. надзора полиции по месту жительства в Петербурге и с воспрещением всяких отлучек. С разрешения III Отделения выехала 27 янв. 1877 г. за границу. Свидетельница по процессу 193-х. По возвращении из-за границы жила в Петербурге; имела школу кройки под фирмой M-me Theodor. – **«Деятели революционного движения»**

Справочник «Весь Петербург» за 1910 г. указывает на «Профессиональные курсы кройки и шитья Теодор», расположенные на Литейном, 58 (учредитель Котомина Ю.К.). Выходит, свой бизнес Юлии Клавдиевне удалось сохранить, несмотря на кратковременный арест...

** В Женеве сохранилась могила с надписью на плите: «Мария Клавдиевна Решко, русская революционерка». К сожалению, М.К. Решко по каким-то причинам не удостоилась «circulum vitae» в справочнике **«Деятели революционного движения»**, в отличие от своей сестры.

Еще значительно раньше «провалилась» наша квартира благодаря неопытности Е.П. Дурново, внучки Московского генерал-губернатора Долгорукова. Будучи под гласным надзором в Москве, хотя и во дворце сильных мира сего, Дурново тайком приехала в Петербург и чтобы не забыть адреса нашей квартиры, чрез которую могла найти нужных людей, в сумке сохранила конспиративное письмо, где между прочим говорилось о печатном станке, о шрифте.*

* Дурново (по мужу Эфрон), Елизавета Петровна, дворянка, дочь богатого отст. гвардейск. ротмистра. Род. в 1854 в Петербурге (в Москве?). Окончила институт; при Харьковском учебн. округе сдала экзамен на звание домашн. учительницы; посещала Лубянск. общеобразовательн. курсы в Москве, потом окончила Высшие курсы Герье в Москве. Рано сблизилась с революционерами; одним из обративших ее на путь революц. агитации был Александр Ив. Маков; была близка с Армфельдами. Ее квартира в доме дяди, московск. губ-ра, была местом собраний для пропагандистов. С 1876 по март 1887 была гувернанткой в Бессарабии; потом жила за границей, слушала лекции в Цюрихе. После раздела «Земли и Воли» примкнула к московск. организации «Черн. Передела», которому оказывала содействие своими средствами. Из 20000 р., выделенных ей в февр. 1880 отцом, у нее к середине 1880 осталось менее 4000 р., остальные пошли, очевидно, главным образом на революц. цели. С конца 1879 до весны 1880 вместе с домашн. учительницей Над. А. Александровой содержала в Москве на собственные средства бесплатную школу, в которой обучалась только одна девочка и которая, будучи в действительности квартирой для Александровой, служила сборным пунктом для агитаторов. Вместе с учительницей Е. Липовецкой 5 июля 1880 приехала из Москвы в Петербург, привезя с собою типографск. станок; 6 июля задержана на квартире арестованных перед тем Евг. Рубанчик и Евг. Козлова. При ней оказались черновик устава общ-ва «Земля и Воля» с объяснительной запиской, документы арестованного ранее Г. Преображенского (невестой которого себя называла), ряд писем с адресами, устанавливавших ее обширные связи в революц. среде. Привлечена к дознанию при Петербургск. ж.у.; содержалась сначала в Доме предв. заключения, а 17 июля 1880 переведена в Петропавловскую крепость. Освобождена из крепости 8 ноября 1880 и отдана на поруки отца с внесением залога в 10000 руб. Выехала в Москву, откуда 7 дек. 1880 скрылась за границу. Разыскивалась по циркуляру деп. полиции от 24 дек. 1880. По соглашению м-ров вн. дел и юстиции (до 12 июня 1881) дело о ней приостановлено впредь до явки или задержания.

Проживая сначала в Женеве, потом в Марселе, вращалась в революц. кругах (кличка «Большая Лиза») и в 1883 в Марселе вышла замуж за эмигранта Як. Конст. Эфрона. Чтобы лишить ее возможности тратить средства на революц. цели, по выс. пов. от 21 окт. 1881 над имуществом ее родителей была учреждена опека. В марте 1883 обратилась в мин-во вн. дел с прошением о разрешении возвратиться в Россию. По выс. пов. от 7 июля 1883 разрешено вернуться в Россию с прекращением возбужденного в 1880 о ней дела, с подчинением гласн. надзору полиции на 3 года по месту жительства родителей. По болезни не могла воспользоваться этим разрешением сейчас же, провела осень и зиму 1883-1884 гг. в Ницце. Возвратилась в Россию только в 1886; поселилась сначала в Орле, потом получила разрешение жить в Москве. По выс. пов. от 19 авг. 1888 освобождена от всякой ответственности с прекращением гласн. надзора. По циркуляру деп. полиции от 23 ноября 1895 освобождена от негласн. надзора. По данным наблюдения в эти года ни в чем предосудительном не была замечена. В последующие годы вела активную работу в политическ. «Красн. Кресте». В 1904-1905 гг. входила в партию с.-рев.; участвовала в организации побега из тюрем. Ее дом в Москве и дача на ст. Быково (Москов.-Казанск. жел. дор.) служили для партийных явок, для укрывательства нелегальных, для хранения нелегалн. литературы и оружия. При расколе московск. организации с.-рев. примкнула к «оппозиции», а после экспроприации 7 марта 1906 в общ-ве взаимного кредита стала определенной максималисткой. Работала в «крестьянской организации», где состояла членом агитационно-пропаг. отдела, работала и в «бюро по внешним сношениям» и была избрана в Исполн. комитет московск. организации. Арестована 26 июля 1906 на нелегалн. собрании; при обыске на ее квартире было обнаружено много компрометирующих материалов. Через 9 месяцев заключения на основании медицинск. свидетельства освобождена под большой залог, внесенный Н.А. Шаховым, и, не дожидаясь суда, через Финляндию снова уехала за границу. С осени 1908 жила в Париже, где вошла в группу максималистов. В ночь на 22 янв. 1910 повесилась в Париже после самоубийства сына [Константина]. — **«Деятели революционного движения»**

Другой сын Е.П. Дурново-Эфрон, Сергей, женится на поэтессе Марии Цветаевой и будет работать на НКВД СССР, который его же и расстреляет...



Елизавета Петровна Дурново-Эфрон

К счастью, в это время, по настоянию товарищей, наша квартира была очищена, и мы с мужем отправились вверх по Неве, намереваясь отдохнуть вблизи пристани Черное. Но не прошло и недели, как нагрянули две тройки с жандармами, с майором Ножиным во главе. Мужа арестовали, увезли, а меня не совсем здоровую, оставили в деревне под домашним арестом. Вооруженный револьвером человек не давал свободно шагу шагнуть и, как тень, двигался за мной по пятам всюду в течение восемнадцати дней.

Нашу городскую квартиру до того усиленно перерыли, что и на половине стариков распоролы мягкую мебель. А между тем после обыска, в книжном шкафу, в чистой, не тронутой жандармами бумаге, красовались пробы печати волостных правлений и других учреждений, выдававших паспорта. Но бумага осталась нетронута, и квартира избавилась от лишнего обвинения.

В связи с приездом Дурново были арестованы: Е.И. Козлов, Рубанчик-Козлова, так как и к ним она заходила. Сама Дурново тоже была арестована, но просидев при третьем отделении несколько дней, благодаря большим связям отца, выпущена под залог двенадцати тысяч. Воспользовавшись свободой, она уехала за границу.

После первого марта 1881 года пошли усиленные аресты и среди чернопредельцев. Однако оставшиеся на свободе члены организации успели выпустить еще два номера газеты «Черный передел», хотя напечатаны они были уже за границей.

В номере, вышедшем вскоре после убийства Александра II, была оценка этого акта с чернопредельской точки зрения. Помню волнения и горячие споры по поводу 1-го марта: одни радовались удачному исходу дела и ожидали, что вот-вот рабочий и военный люд Петербурга поднимется и потребует свободы, а другие скептически относились к этим ожиданиям и порицали тактику народовольцев, говоря что этим актом они испортили правильный ход революционной работы.

В конце мая 1881 года большой кружок рабочих и несколько членов чернопредельческой организации были преданы рабочим Преймом. А 29 июня он был рабочими же убит на Смоленском кладбище*. Убийство Прейма потянуло за собой новые аресты. Организация быстро таяла и, после нескольких разгромов, в 82 году перестала существовать, как таковая. Часть ее членов присоединилось к народолюбцам, часть с Плехановым во главе и под его влиянием образовала группу «Освобождение труда», первую русскую социал-демократическую группу.

От Петербурга до Томска

I

Тюрьмы Петербурга после 1-го марта 1881 года были переполнены разбирать дела судебным порядком всех схваченных, слишком кропотливая процедура, и административная ссылка процветала, как никогда. Особенно много молодежи высылалось в Сибирь, в северные губернии России «на родину» в 1882-1883 годах. Узнавши, что меня, находящуюся под гласным надзором, тоже высылают из Питера, я поспешила заявить о желании следовать за мужем в Сибирь. «Хорошо делаете, что подальше убираетесь!» – сказали мне, и я скоро получила разрешение присоединиться к партии высылаемых.

В первых числах июня 1882 года в шесть часов утра всех высылаемых вывели на двор из камер Дома предварительного заключения. Начальство торопливо распоряжалось. В кареты садили по два-три человека, кроме конвоя. Выведенные из камер шумно приветствуют друг друга. Громко посылают последнее «прости» остающимся. Из окон женского отделения слышны ответные. К нашей карете подходит смотритель дома и игриво пророчесствует насчет моего маленького сына: «Эх, молодой человек, как бы эту родительскую прогулку не поставили в будущем и тебе в счет».

* Евсеев, Николай Петрович, ревельск. мещанин, незаконнорожден. сын мещанки г. Ревеля Т. Воленс. Род. ок. 1861. Рабочий-токарь по металлу гильзового отдел. Патронного завода в Петербурге. В 1878 познакомился с Н.В. Судаковым и при его содействии вступил в кружок рабочих, среди которых петербургск. землевольцы под видом обучения грамоте вели пропаганду. Проявлял активн. деятельность в кружке, посещал собрания рабочих и в марте 1879 обратил на себя внимание секретных агентов III Отделения, которые считали его тогда «опасным социалистом». <...>В июне 1881 вместе с М. Кузюмкиным и Гр. Хохловым принял предложение рабочей группы «Нар. Воли» убить рабочего Семена Прейма, члена группы, оказавшегося агентом петербургск. сыскн. полиции и выдавшего многих рабочих. Дождавшись на Смоленск. кладбище в Петербурге прихода С. Прейма, которого туда завлек Гр. Хохлов, нанес 29 июня 1881 С. Прейму смертельную рану ножом. Арестован 5 июля 1881 и привлечен к дознанию при Петерб. ж. у. по делу об убийстве С. Прейма. На следствии давал подробные откровенные показания. <...>Судился Петерб. военно-окр. судом 13-14 сент. 1882; признан виновным и приговорен к лишен. всех прав состояния и к смертн. казни через повешение. По выс. конфирмации приговора 20 (21?) сент. 1882 смертн. казнь заменена ссылкой в каторжн. работы в рудники без срока. Отправлен на Кару, куда прибыл в 1883. – ***«Деятели революционного движения»***



Прогулочный двор Дома предварительного заключения, Шпалерная ул., 25

Но вот открылись ворота тюрьмы, и кареты быстро покатали по пустынным еще улицам столицы. Промелькнули улицы-коридоры со своими каменными громадами, и мы отвезены на отдаленную ветку пути Николаевского вокзала. Из карет пересадили в арестантский вагон с прочными решетками и запорами. Публика быстро разместилась. С интересом посматривают друг на друга: час тому назад строго изолированные, тайком посылавшие приветы соседям постукиванием в толстые стены, теперь вместе одиннадцать человек! Пока известно, что везут Москву, а там уже решат дальнейший путь.



Погрузка женской партии ссыльных на Николаевской железной дороге

В уголке вагона я устроилась со своим маленьким больным сыном. А рядом шумно переживали товарищи радость свидания: стены не разделяют их, говорить можно наделенным природою способом и выражать все оттенки чувств! От всего этого можно потерять голову. А говорить так много есть о чем: так много пережито, передумано. Шумно, как школьники, рассказывают горькое и юмористическое о только что покинутой жизни в тюрьме. Идут расспросы о событиях на воле; о новостях литературы и прочем. Далеко не все ведь имели свидания и весточки о том, что делается в миру. Долго, почти весь день, стоит наш вагон среди пустых товарных.

Наконец передвижка, скрип, лязг, и нас потянуло: мы прицеплены к поезду, товарному или пассажирскому, неизвестно, так как из окон видим только стражу. С каждым моментом удаляемся от центра просвещения, кипучей жизни, от центра борьбы за идеалы будущего. Одни из сидящих в вагоне с каждым моментом удаляются от близких, родных. Другие с сожалением покидали место светлых молодых лет студенчества, когда смотрелось так радужно «вперед без страха и сомненья». Были тут и, как залетные птички, слетевшие с разных мест необъятного пространства нашей родины, которые и не видели самой столицы, а волею судеб познакомились только с толстыми стенами и крепкими замками тюрьмы ее. Но для всех страница книги, называемой жизнью, была закончена, надо творить новую, может быть, без предварительных планов, без ясного, определенного материала, если не хочешь, чтобы она, жизнь, не затерла тебя, не смешала со своей пылью.

Промелькнули пустые вагоны, осталась позади полоса фабрично-заводская, незатейливые железнодорожные домики и потянулись кусты, тощая береза, ольха да осина. Сразу резкая перемена: от шумного, могучего города к болотистой равнине. А в вагоне идет своя жизнь, тут закипели уже страсти. От бесед более спокойных перешли к спорам на принципиальные темы, которые всегда порождают много огня: народовольцы убеждают чернопредельцев в правоте действий своей организации, чернопредельцы отстаивают свою.

Русский человек в споре неистовый, со стороны и не разберешь, драться он намерен с оппонентом или любовно старается оградить его от ошибок, от неправильного пути к далеким идеалам. Особенно бурно отстаивает народовольческую программу Коган-Бернштейн с другом Подбельским*.

* Лев Матвеевич Коган-Бернштейн (1862-1889) родился в еврейской купеческой семье в Кишиневе. Учился в Одессе. Будучи студентом Петербургского университета, в начале 1880-х входил в народовольческий центральный университетский кружок. Вёл пропаганду среди рабочих в Саратове и Москве. Арестован в апреле 1881 г. вместе с Паппием Подбельским, сослан в Сибирь. Участвовал в вооружённом выступлении политических ссыльных в Якутске (т.н. «Якутском протесте»). Когана-Бернштейна вместе с другими ссыльными предали военному суду по обвинению в вооруженном сопротивлении и приговорили к смертной казни. Тяжело раненный в перестрелке с солдатами, он не мог встать на ноги, и, как ранее — в суд, так и к виселице был принесен на кровати.

Подбельский Паппий Павлович (1859-1889), студент Петербургского университета, член народовольческого центрального университетского кружка, вел пропаганду среди рабочих. Член «Народной воли», после ареста в 1881 г. сослан в Сибирь. В 1889 г. убит при подавлении «Якутского протеста». Судьба главного героя нашумевшего фильма Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник» — это судьба (опошленная в киноварианте) троюцкого гимназиста Подбельского, о котором знала вся просвещенная Россия 80-х годов XIX века. Во время студенческих выступлений 8 февраля 1881 года в петербургском университете именно Подбельский дал пощечину министру просвещения Сабурову. — *Из Интернета*

Рабочие: Скворцов, Леонтьев, Лебедев и Гаврилов больше прислушиваются и изредка вставляют вопросы. Гаврилов, удачно рисующий карикатуры, и в пути умеет схватить шутовское, комичное.*

Короткая белая ночь севера уже окутала серой дымкой все окружающее, а молодежь продолжает спорить, убеждать друг друга. Голоса многих охрипли от суточного говорения. Истощенные тюрьмой нервы не выдержали напряжения, и с некоторыми начались обмороки. Особенно глубокий был с Коган-Бернштейном.

II

Было раннее утро, когда подъехали к Москве. Дано распоряжение выходить на перрон, около которого стояли ломовые извозчики со своими тряскими телегами. «Я не могу с больным ребенком ехать на такой трясушке по камням, – говорю я, – лучше пойду пешком». «Верно!» – поддерживает Бернштейн, а за ним и другие заявляют, «что на телегах не поедут». Начальство покипятилось, но вернуло нас в вагон, и очевидно, не желая вызывать шума, распорядилось подать кареты.

На дворе в Бутырках нас встретило несколько голосов из-за решеток с приветствием. Меня с ребенком повели закоулками чрез маленький двор и поместили в Пугачевской башне, а мужчин направили в Северную. В той и другой было уже немало стянуто с разных мест назначенных к высылке. Я поднялась по винтовой лестнице на второй этаж и вошла в указанную камеру. Полутемная, со спертым воздухом, камера, точно сырое чудовище, поглотила свою жертву. У меня сжалось сердце за моего больного [ребенка], ему за дорогу стало очень плохо.

К счастью скоро открыли дверь камеры. Некоторые из бывших в Пугачевке оказались знакомыми, стало легче. Вместе с другими зашла высокая худенькая блондинка с ласковым лицом. Озабоченно тепло расспросила о моем больном и, заметив, что я очень утомлена, предложила познакомиться с ним. Это была Софья Андреевна Иванова-Борейшо**.

Бывают люди, одно появление которых успокаивает расхолодившиеся нервы. Так подействовала Софья Андреевна на меня. Я прилегла, в то время как она нежно убаюкивала больного, нося его по камере. После обеда дали знать, что из Пугачевки могут пойти на свидание в Северную, у кого там есть родные. «Родственники» нашлись почти у всех. Софья Андреевна отпустила и меня. И в следующие дни благодаря ей пользовалась сравнительной свободой от больного.

* Рабочие (<http://narodnaya-volya.ru>):

Скворцов Павел Егорович, рабочий; арестован в 1881 г. за участие в революционном движении.

Леонтьев Павел Леонтьевич (род. ок. 1855), рабочий; в начале 80-х годов входил в рабочий народовольческий кружок в Петербурге. Арестован в июле 1881 г.; сослан в Сибирь.

Лебедев Михаил Иванович (1857-1906), рабочий; в конце 70-х – начале 80-х годов входил в землевольческие и народовольческие рабочие кружки в Петербурге. Арестован в марте 1881 г.; сослан в Сибирь

Гаврилов Иван Гаврилович (род. ок. 1847), рабочий; участник Северного союза русских рабочих; в 1879—1881 гг. активный член народовольческого рабочего кружка в Петербурге. Арестован в марте 1881 г.; сослан в Сибирь.

** Софья Андреевна Иванова-Борейшо, дворянка, член Исполкома партии «Народная воля», политкаторжанка, партийная кличка «Ванька» (1856-1927). В 1874 г. работала в типографии Мышкина в Москве. Арестована в том же году и через 7 мес. освобождена на поруки. В декабре 1876 г. арестована по делу Казанской демонстрации, в январе 1877 г. присуждена к ссылке на поселение, но оставлена в тюрьме и вторично судилась по процессу 193-х. Выслана в Кемь, Архангельской губ., откуда 22 марта 1879 г. бежала в Петербург. В мае 1879 г. была вместе с А.А. Квятковским хозяйкой конспиративной квартиры в Лесном. В мае же вступила в группу «Свобода или смерть». Была хозяйкой типографии в Саперном пер. с сентября 1879 г. по 17 января 1880 г., когда была арестована, оказав вооруженное сопротивление. Военно-окружным судом 30 октября 1880 г. приговорена к 4-м годам каторги, отбывала на Каре. – *Из Интернета*



Пугачевская башня Бутырки, дореволюционное фото



Арестантки во дворе Бутырской тюрьмы, фото эсерки Ревекки Фиалки, 1906 г.



С.А. Иванова-Борейшо (из собр. Музея «Каторга и Ссылка»)

Я поспешила к мужу, чтобы посоветоваться с ним, не хлопотать ли нам остаться до следующей партии, так как ребенка в таком состоянии везти нельзя. А в Северной башне в это время шум, возбужденные лица. Оказалось, там составляли слова сочувствия сыновьям Джузеппе Гарибальди, великого патриота Италии, весть о смерти которого на острове Капри только что принесли телеграммы. Не помню в точности содержание этого адреса, но приблизительно такое: от лишенных свободы горячее сочувствие сынам великого борца за свободу. Это событие произвело на всех сильное впечатление, все с готовностью стремились запечатлеть свое имя под адресом, кроме одного: «Это, – говорил осторожный человек, – поступок противоправительственный и может вызвать репрессии». Полетела телеграмма из Московского пересыльного дома на Капри, где в это время вся просвещенная Европа и Америка склонила свои знамена пред раскрытой могилой неутомимого борца за счастье родины и за свободу человека вообще.

На другой день утром по моей просьбе зашел тюремный врач. Лицо кислое, недовольное. «Тут больной? Что болит?» – спрашивает он, грубо ворочая и доставляя напрасное страдание ребенку. Видно было, что доктор привык не церемониться с пациентами тюрьмы. «У него воспаление кишок. Дайте ему хорошую порцию касторки, а там видно будет, умрет или поправится. А из-за таких пустяков оставаться...» Но жестокий тон и слова этого грубого человека так меня возмутили, что он не успел договорить своей фразы: «Уходите вон!» – закричала я и стремительно открыла дверь камеры.

В этот же день, благодаря хлопотам друзей, пришел доктор с воли. Тщательно осмотрел больного, с любопытством – камеру. «Если вам разрешат остаться, вы можете переменить условия жизни для больного?» – спрашивает доктор. «Нет», – говорю. «В такой обстановке он недолго выживет. А в дороге воздух... Воздух, знаете, чудеса делает», – продолжает он. Прописал строгую диету, способ лечения, возможный при тех условиях, и, пожелавши, доброго пути, ушел. Это был доктор Захарьин, как после узнала, известный диагност по внутренним болезням, только что восходящая звезда в медицинском мире*. От внимательного осмотра и разумного совета доктора сразу стало не только мне, но кажется и больному легче.

* Григорий Антонович Захарьин (1829-1897), выдающийся русский врач-терапевт, основатель московской клинической школы, почётный член Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук (1885).



Доктор Г.А. Захарьин

В верхнем этаже башни, в довольно обширной камере, шли усиленные приготовления в дорогу нашей женской компании. Женщин в этой партии было девять человек, из них пять полек. Конколович, Вериго, Цельчинская и две Лисовских. Собирающиеся в дорогу припоминали, чем следует запастись для рукоделья, что трудно достать в захолустных уголках Сибири. Приводили в порядок костюмы, а некоторых электризовало и то, что в дороге будем вместе с мужчинами. Странно было видеть, как идущие за идею в Сибирь, волновались и сердились друг на друга из-за утюга, боясь, что не успеют выгладить кофточки, воротнички...

Мне не приходилось раньше видеть вплотную революционеров без забот, без дел конспиративных, и я по наивности не допускала, что и им свойственны все мелочи, дразги житейские, и, глядя на суету около воротничков, чувствовала себя обескураженной. Конечно, не все «наводили видимость». Мария Константиновна Крылова, например, тоже хлопотала, но ее хлопоты касались всей компании: она тщательно вела общую бухгалтерию, самоотверженно несла неприятную работу по соблюдению чистоты в камере, спешила оказать помощь слабой или больной вообще.*

* Крылова, Мария Константиновна, дворянка, дочь колл. ассессора. Род. в 1842 г. в Смоленской губ. (Гжатске?). Училась в частном пансионе в Москве. В 1865 г., познакомившись в Москве с Екат. Ив. Засулич и сестрами Ивановыми, вошла в швейную мастерскую, организованную последними на артельн. началах, в качестве работницы; была в сношениях с членами кружка Ишутина. Арестована 3 мая 1866 г. и привлечена к дознанию по делу о покушении 4 апр. 1866 г. за участие в швейной мастерской. <...>В 1869 г. принимала участие в кружке, организованном Ф. Волховским в Москве. Привлекалась к дознанию в связи с нечаевским делом по подозрению в перевозке переписки нечаевцев. С 1876 г. входила в состав общ-ва «Земля и Воля»; в 1877 г. училась в Женеве наборному делу, а по возвращении в Россию была хозяйкой землевольческой типографии. После распада «Земли и Воли» в 1879 г. вошла с осени т.г. в чернопредельческую группу. Проживала в Петербурге <...> и принимала участие в организации на Вас. острове чернопредельческой типографии; была хозяйкой квартиры. Арестована в ночь на 28 янв. 1880 г. вместе с Пьянковым, Приходько-Тесленко и др. на той же квартире. Предана суду по делу о чернопредельческой типографии и Петерб. судебн. палатою 29 сент. 1881 г. приговорена к лишению всех лично и по состоян. присв. прав и преим. и к ссылке на поселение в Иркутск. губ. Прибыла в Красноярск 4 авг. 1882 г. Водворена в Тунке (Иркутск. губ.), потом переведена в Иркутск. По возвращении из Сибири жила в Воронеже, где служила в статистическом бюро. Умерла в Воронеже в 1916 г. — *«Деятели революционного движения»*



М.К. Крылова (из собр. Музея «Каторга и Ссылка»)

Я знала раньше в Петербурге, какая она ценная партийная работница. До существования чернопредельской организации Мария Константиновна работала в землевольческой типографии, а еще раньше примыкала к нечаевцам. Она пережила по пути искания правды все стадии развития русской революции, начиная с обучения рабочих грамоте в воскресной школе. Замкнутая, строгая на вид, преданная народовольческим идеалам, она выполняла все, что служило достижением революционных задач.

Но никогда не относилась к делу механически, а строго проверяла не противоречит ли оно ее мировоззрению. Работая в типографии, как идеально аккуратная работница, она требовала точности и от других, вплоть до правильно поставленной запятой. В январе 1880 года Крылова была арестована вместе с чернопредельческой типографией, а теперь, в 1882 году высылалась в Восточную Сибирь.

В Московской Бутырской и дорогой до Томска я невольно восхищалась ее пунктуальностью во всех мелочах, особенно если они касались служения ближнему. Свои потребности она сводила до минимума, опасаясь, чтобы лишний общественный грош не потратили на нее.

В июне 1882 года была всероссийская выставка, помнится, сельскохозяйственная. Москва, как большой муравейник, шевелилась, кипела. На выставке обсуждались насущные вопросы в государственном масштабе, кругом шла жизнь в своем бесконечном разнообразии, а в конце Долгоруковской, за крепкими стенами Северной башни централки кипела иная жизнь, жизнь духа: материально нищие, лишенные свободы удалыцы, уверенно наделяли мир чудесами полного счастья в виде свободы, равенства и братства.

При воспоминании о пылких речах насчет будущего счастливого строя, невольно напрашивается вопрос, как бы почувствовала тогда стянутая в тюрьму молодежь, если бы в ней порушить, как свечу, веру в то идеальное будущее, что нарисовала горячая фантазия с помощью авторитетных теоретиков? Думаю, многие бы потеряли под ногами почву.

В последний день пребывания в Москве обсуждали вопросы общего хозяйства в дороге. Старостой выбрали молодого инженера-путейца Болицкого, участвовавшего пред арестом в постройке железнодорожной линии Пермь-Екатеринбург. Человек хозяйственный, спокойный и, как показала дорога, с крепкими нервами, что так важно, когда имеешь дело с людьми только что покинувшими тюрьму.*



Т.С. Балицкий (из собр. Музея «Каторга и Ссылка»)

Предложено товарищеское, коммунистическое хозяйство, в которое следовало внести финансы. Решено в дороге соблюдать экономию, чтобы по приезде на место ссылки не очутиться без гроша. В партии же были люди без всяких средств. Сумму, сохранившуюся от трат в пути, делить так, чтобы идущий в Восточную Сибирь получил в два раза больше идущего в Западную.

Но к большому огорчению партии, человека три-четыре из состоятельных отказались от этого предложения. Поднялись упреки, шум, и не скоро смирились с неизбежным.

* По-видимому, речь идет о следующем революционере, который мог «строить ж/д Пермь – Екатеринбург», находясь на летней практике от Института путей сообщения:

Балицкий, Тадеуш (Фаддей) Северинович, дворянин, поляк, сын инженера. Род. ок. 1858 г. в Люблине. Окончил Люблинск. гимназию, а затем (в 1880 г.) Ин-т путей сообщения со званием инженера путей сообщения. Принадлежал к кружку польской революц. молодежи в Петербурге. Летом (в июне) 1880 г. прибыл в Варшаву и принял деятельное участие в пропаганде; был кассиром Варшавск. гмины; находился в сношениях с эмигрантами, получал от них революц. издания; составил воззвание по поводу празднования 50-летн. юбилея польского восстания; участвовал в издании гектографир. воззваний к рабочим. В партийных кругах носил кличку «Лясота». Получив в дек. 1880 г. место в Люблине, не перестал интересоваться пропагандой в Варшаве и, наезжая туда, руководил сходками. Обыскан и арестован в Люблине 9 февр. 1881 г. Привлечен к дознанию, при Варшавск. жанд. упр-нии по делу о пропаганде в Варшавск. и Сувалкск. губ. (о Варшавск. гмине). Содержался в Александровск. цитадели в Варшаве. По выс. пов. от 13 янв. 1882 г. выслан под гласн. надзор в Вост. Сибирь на пять лет. Водворен в Енисейск. губ. (в Енисейске). Работал по прорытию канала для соединения системы рек Оби и Енисея. В 1887 г. за окончанием срока, освобожден от гласн. надзора и подчинен негласному с воспрещением жительства в Царстве Польском. – **«Деятели революционного движения»**

В тот же день я была так поражена невиданной мною ранее картиной, что еле устояла на ногах: по широкой тюремной лестнице спускалась сплошная, серая масса людей с закованными руками и ногами. Железные кандалы производили жуткое лязганье. Раньше приходилось напевать о том, как «рабская Россия перед святыней алтаря, гремя цепями, склонивши выю, молилась за царя», и воображение рисовало жалких забитых рабов. Эта же серая масса, имела как бы одно лицо, представилась мне чем-то огромным, озлобленным и хотя закованным, но страшным.

На следующий день наша партия около сорока человек, под ответственностью старого, добродушного полковника с крепкой охраной-конвоем, распростилась с оставшимися в тюрьме до следующей партии и покатила параллельно с «Владимиркой», по которой веками шел в далекий холодный край беспокойный и вредный элемент нашей родины. Тишина, охватившая в первые минуты наш вагон, точно сдерживала публику от проявления чувств. Но только успели отъехать, как молодой сильный голос нарушает ее любимой песней ссыльных вообще: «Полоса ль ты моя полоса...». Некоторые с удивлением оглядываются на певца. Они не освоились еще в новой обстановке и не поняли, что певец выражает горечь расставания, при словах «а и то может быть, в кандалах по Владимирке пахаря гонят» не выдерживают и другие, певец заразил: стройно подхватывают несколько голосов. И тоска и удаль выливается в протяжном, задушевном мотиве. Дан всему вагону общий тон.

Молодость скорее сбрасывает минуты уныния. Новые впечатления порождают новые думы, мечты, которые вместе с поездом несутся к неизвестному, далекому. У некоторых ярко проявляется радость свидания: молодые, только в Москве получившие право быть вместе супруги, у самого окна воркуют, целуются. Им мешает, кажется, собственное дитя. Они не замечают, что на их счет улыбаются мимо проходящие, и только грубая действительность пробуждает: «их бродь не приказывают у окна целоваться!» – кричит прибежавший конвойный. Провинившиеся краснеют, но переживаемая радость бьет ключом.

Рано утром уже в Нижнем. Пробираемся своеобразными ярмарочными улицами, точно вымершего города, на сибирскую пристань, где ждет баржа, прицепленная к пароходу, для дальнейшего пути. Дорогой внимание всех приковано красавцем Нижним: на горе, за широкой рекой, на фоне ясного летнего утра гордо поднимаются высокие башни, стены кремля. Сбегают вниз среди зелени дома и домики. А у подножия сливаются две могучие реки многоводные. Невольно приходят на память слова великого художника: град на острове стоит. Иллюзии мешают только снующие лодки, пароходы и движение рабочего люда.

На барже нас, женщин, поместили в низенькой каюте в кормовой части с широкими нарами, с маленькими плоскими оконцами, чрез которые виднелась только полоска воды. Мужчин в противоположном конце, где они имели вверху кусочек палубы, отделенной от остального пространства железной решеткой, а спали внизу в люке. Вся же середина огромной баржи, как верх ее, так и низ, заполнена ссылаемыми за уголовные преступления. «Что это за помещение? ни света, ни воздуха, и окна не открываются, а у нас есть дети», – возмущалась самая скромная в своих требованиях М.К. Крылова. Но конвойный поспешил успокоить, сказавши, что тут мы будем только спать, а весь день по желанию можем проводить вместе с мужчинами.



Вид на нижегородский кремль с Волги (современное фото)



Набережная, Нижний Новгород (дореволюционное фото)

Волгу увидели только отъехавши от Нижнего, когда сдвинули парусину с железной решетки, обхватывавшей всю палубу баржи. На протяжении всего пути, подъезжая к той или иной пристани, палубу задегивали парусиной, чтобы обывательский глаз и издали не проникал в наше временное жилье, хотя баржа, тянувшаяся за пароходом, и не подходила вплотную к пристани.

Петербургцев Волга не могла особенно поразить своим величием: Нева в столице не менее «многоводная», а гранитные берега придают ей стройность и своеобразную красоту. Но это не помешало всем придти в умиление от широкого волжского раздолья. И скоро полились звуки приветствия, как живому существу, как гению русского народа: «Волга, Волга, мать родная! Волга, русская река», – с чувством поет молодежь, приветствуя и прощаясь с ней. Наш запевало Вл. А. Жебунев на время прекратил малороссийские мотивы, которых у него был неистощимый запас, и отдавал должное Волге.*



В.А. Жебунев, с фото 1880-х (из собр. Музея «Каторга и Ссылка»)

О Волге пели, говорили, спорили и наконец все соглашались, что она больше других рек имела значение в развитии русского государства и вольной мысли в нем. Только на барже я узнала, как много песен посвящено Волге, с разных сторон рисующих ее значение для народа.

* Жебунев, Владимир Александрович, сын помещика, отст. шт.-ротмистра, дворянин и землевладелец Александровск. у., Екатеринославск. губ. Род. в 1848 в им. Евграфовке названного у. <...>Поступил в Петровск. земледельч. ак-мию в Москве; позже состоял вольнослушателем Новороссийск. ун-та (в Одессе). Женат на Марии Александровне Блиновой. В начале 1872 жил вместе с братьями на даче под Харьковом, где за ними, в виду частых собраний молодежи на даче, был установлен негласн. надзор. В 1872 поселился в Цюрихе и вместе с братьями организовал революцион. кружок так наз. «сен-жебунистов». <...>В 1873 г. вернулся в Россию, поселился в Одессе и организовал здесь местный кружок пропагандистов «сен-жебунистов», стоявший в близких отношениях к одесскому кружку «чайковцев» (Ф. Волховского, С. Чудновского и др.). <...>В конце 1880 приехал в Одессу и принял деятельное участие в работе организованной М.Н. Тригопи одесской центральной народовольческ. группы. <...>В середине июля 1881 по вызову Исполнит. К-та «Нар. Воли» приехал в Москву и 19 июля 1881 арестован. <...>По выс. пов. от 3 марта 1882 выслан под гласн. надз. в «более отдаленные» местности Вост. Сибири на пять лет. 17 марта 1882 отправлен из ДПЗ через Центральн. Московск. пересыльную тюрьму в Вост. Сибирь. Водворен в г. Олекминске Якутск. обл.<...> – **Деятели революционного движения**

То вы слышите далекую борьбу с татарщиной, то ясно рисуется, как ушкуйники, добры-молодцы ловят рыбку красную на широкой реке. А там из-за острова на стрежень выдвигается с компанией сам Степан Разин с буйным размахом, с вольными мыслями. От бурлацких минорного склада песен невольно переходили к народному поэту Некрасову, так ярко выразившему в своей поэзии мощь Волги и народные страдания, связанные с ней. Молодежь на все отзывается: и песни, и виды, и происходящая кругом жизнь дают материалы для обмена мнений.

Все дни мы, женщины, проводим на мужской половине. На пристанях нашему «старосте», под присмотром конвойного, разрешалось выходить за пищевыми покупками. Питались сносно, очень немного прибавляя к казенному пайку, а чудный речной воздух делал свое благодатное дело: даже мой больной стал поправляться.

Не могу не сказать несколько слов об отношении к нашей партии других пассажиров баржи, уголовных. Обширная палуба вся усеяна человеческими телами, бритыми, бородатыми, хилыми, плечистыми с крепкими мускулами и здоровыми кулаками. Только серое одеяние нивелирует всех, делает общую окраску. Одни из них, кажется, всегда спят на своих кулаках, другие «режутся» в карты, третьи где-нибудь в углу слушают балагура.

«Вишь, по той же дорожке идут, а начальство вон как пред ними лебезит, точно они с другой планиды, – рычит, указывая на наших, рыжий кандалник, – знать и в аду барам иной фронт будет». «Загнул, брат, не туда! Тут, брат, и качества другие... понимай!» – вразумляет сосед, очевидно, сидевший в одной тюрьме с политическими и уже разбирающийся в характере преступлений. Но в общем отношении с их стороны было трогательно предупредительное. Мы из своей камеры шатались чрез их палубу много раз в день, и они всегда очищали путь и сдерживали друг друга в смысле крепких выражений. Правда, порядком эти соседи надоедали нашим просьбами о папиросах.



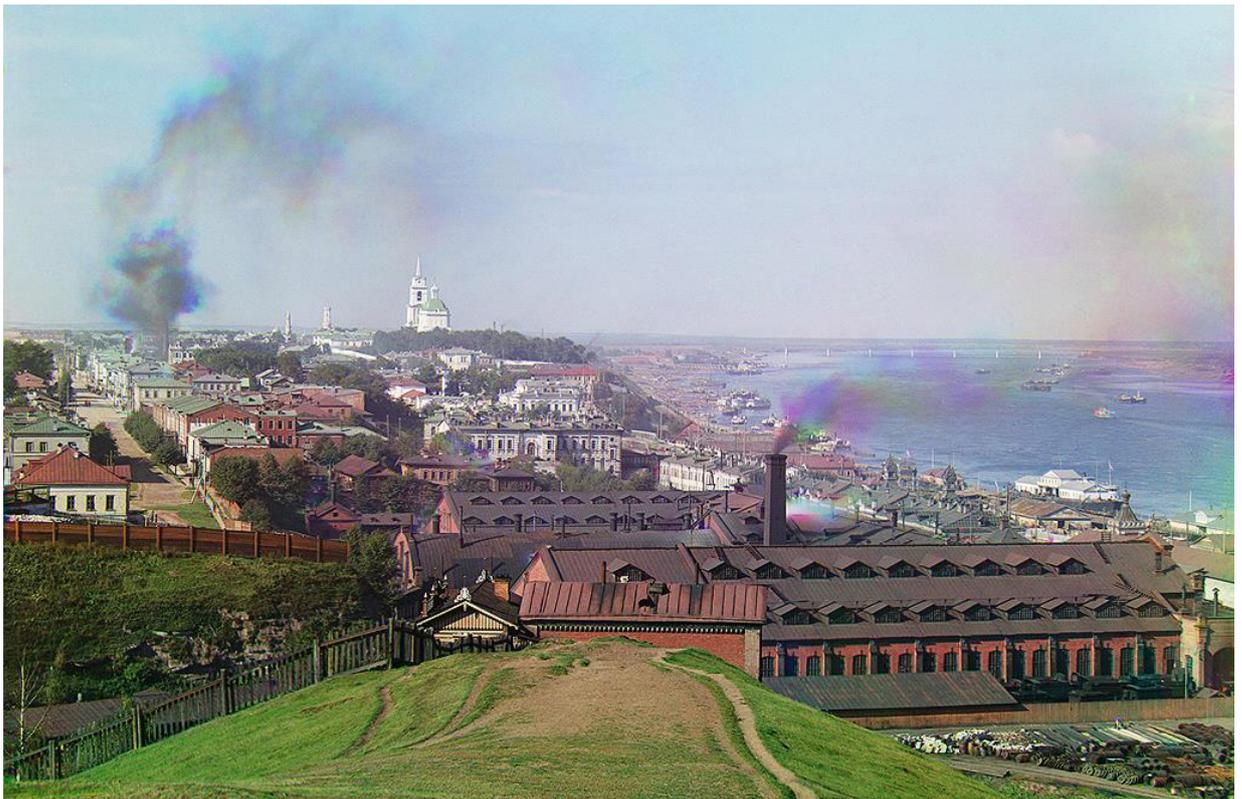
Мост через Каму около Перми, фото Сергея Прокудина-Горского, 1910 г.

III

Более суровым пахнула на нас Кама. Берега ее с крупным, где лиственным, где хвойным лесом точно ближе подходят к барже, река уже, но течение ее более чувствительно. И береговые впечатления меняются, особенно подъезжая к Перми: нет той Волжской ласки, которая под лучами солнца пронизывает вас реющим воздухом.

Встреча в Перми нам устроена до чрезвычайности торжественная, весь путь от пристани до поезда уставлен шеренгами, первая солдаты с револьверами, вторая с саблями наголо и третья с ружьями наперевес. Лица у всех строгие, вытянутые. Должно быть, кто-нибудь бежал – соображали наши. Московский конвой напротив, удивительно тепло относился к партии. Иногда даже с некоторой гордостью.

Помню такую сценку на одной станции за Пермью: я стояла у окна вагона с мальчиком на руках, а напротив, в некотором отдалении, с грустью посматривая на нас молодая женщина, прилично одетая. Вдруг она быстро подходит к конвойному и просит передать мне, что она с охотой возьмет себе на воспитание ребенка: вон он какой худенький, а у меня ему будет хорошо. Я слушаю и с интересом жду, что будет дальше. Конвойный смеется и уверенно прибавляет: что ты, тетка, да разве это такие люди? Они еще у тебя возьмут, если сироту понадобится пригреть. И по всему пути до Тюмени с их стороны никакого грубого выпада партия не видала, напротив, на всех этапах они опекали наши интересы, особенно при столкновениях с местными властями.



Вид на Пермь с Городских Горок, фото Сергея Прокудина-Горского

В Перми партия увеличилась на несколько человек, присоединились супруги Рудневы, Сомов с женой и еще кто-то, все пересылаемые из северных губерний. Из всей компании едущих хорошо вспоминаются, кроме названных выше, Демоновский-поселенец, Майнов, Кирхнер, Гладыш с другом хромым юношей, с которым я, между прочим, усердно решала задачи, Жебунев – наш неутомимый запевала, Богородский, отец которого так смачно издевался над политиками в Петропавловской крепости*, десять человек поляков: Глазго, Конкалович, Черневский, Вериго, двое Вельчинских, Лисовский с женой и сестра его, наш милейший староста Болицкий, всю дорогу хлопотавший об удобствах товарищей. Некоторые из поляков, правда, немногие, люди с повышенной оценкой собственного «я» и к товарищам по пути относились со снисходительной важностью, как полагается культурной народности к тщетно желающим их догнать.



Н.Н. Богородский (из собр. Музея «Каторга и Ссылка»)

* По-видимому, речь идет о следующем революционере:

Богородский, Николай Николаевич, сын полковника, смотрителя Трубецк. бастиона Петропавловск. крепости. Род. в 1853 г. в Царском Селе (Петербургск. губ.). Поступил в артиллерийск. пиротехническ. школу в Петербурге, откуда, за воспрепятствование офицеру арестовать двух учеников, исключен в 1874 г. из последн. класса с разжалованием в рядовые и с зачислением на службу в Оренбургск. команду. После Оренбурга служил рядовым в Петербургск. крепостн. артиллерии. Вышел в отставку по выслуге лет. С 1874 г. находился в сношениях с петерб. организацией народников. <...>При посредстве А.П. Корба установил связь политическ. заключенных в Петропавл. крепости с волею, путем передачи им книг из крепостной библиотеки с соответственными отметками. Благодаря сходству своей наружности с наружностью Люстига устроил доступ последнему в помещение Трубецк. бастиона. <...>Арестован 4 апр. 1881 г. и привлечен к дознанию, производившемуся с конца 1880 г. при Петерб. ж. у. по делу о террористич. фракций социально-революц. партии (дело Ив. Орлова, Ф. Бердичевской и др.). По выс. пов. от 9 дек. 1881 г. выслан под гласн. надзор в Восточн. Сибирь на 5 лет. Водворен в с. Тунке (Иркутск. губ.). В 1886 г. по постановлению Особ. совещания оставлен под гласн. надзором в месте его водворения еще на 2 года. В февр. 1889 г. по распоряжению м-ра вн. дел гласн. надзор продолжен еще на год в избранном им месте жительства, с рядом ограничений в выборе места жительства в течение двух лет. По окончании срока гласн. надзора подчинен негласному. С 1891 г. поселился в Иркутске. Занимался столярным, токарным и слесарным мастерством, давал частн. уроки. – **Деятели революционного движения**



Большое Чертово Городище под Екатеринбургом, фото Сергея Прокудина-Горского

Мы почти все – жители равнины, с нетерпением ждали увидеть высокие горы, горные картины, зная, что наш поезд должен перевалить Уральский хребет в высокой части его. За Пермью вскоре начинаются возвышения, холмы, покрытые кустарником, и чем дальше – выше, разнообразнее. Точно природа постепенно приучает глаз зрителя, постепенно раскрывает свое величие, переходя к непрерывным горным цепям, в беспорядке нагроможденным одна к другой. Стоят они, как застывшие волны расвирепевшего моря, разделенные глубокими, темными ущельями, точно гигант, играя, сдвинул беспорядочными складками ковер земли.

Но уклоны гор, покрытые пихтами, остроконечными елями, представляют сплошное однообразие: всюду видишь одни и те же краски, почти одни и те же формы. Жутко видеть из окна вагона, как лепится высоко над пропастью наш поезд к суровым серым массивам, описывая изгибы и полукруги. Может быть, я и проглядела красивые места, но в общем от Урала в этой части его у меня осталось впечатление, как от сурового, мрачного края.

Служащие одной горной станции с удивлением и сочувствием приветствуют нашего старосту: как, пан инженер, строитель этой дороги за решеткой? Куда, почему? О, сколько вас! – сыпалось обывательское любопытство в промежутку с шутливыми ответами из-за решетки. «Меня-то везут в наказание, что участвовал в постройке этой тряской и медлительной дороги, ну, а мои спутники... это все искатели новых путей», – смеется Болицкий.



Из альбома «Путешествие в Уральских горах», фото Сергея Прокудина-Горского, 1910 г.

Поезд идет дальше. В конце перрона старичок крестит наш вагон, смахивая слезу: должно быть вспоминает проводы кого-либо из близких в ту же сторону. Ночь в Екатеринбургской тюрьме была сплошным кошмаром от грязи и насекомых.

Серый каменный столб – граница Европы и Азии сам по себе никакого впечатления не оставляет, за ним природа та же, все по-русски: и трава растет, и цветы цветут, и так же люди с косами, топорами на работу спешат. Но невольно рисуется бесконечные вереницы закованных, гонимых жестокостью сильных в суровый край. И вот тут, у этого самого камня, с скорбным сердцем посылают они последнее прости родине. Прощай, Расея, не видать мне тебя больше. Сам себе я помогу из Сибири убегу – и многими другими фразами испещрен столб.

Это место, место надрыва русской души, достойно памятника для назидания потомству. Тем более что в этом краю схоронена и злая воля пережитых страданий. От Екатеринбурга до Тюмени – на тройках, железной дороги еще не было. Широкая утрямбованная дорога, по сторонам аллеями вековые березы, вязы. Все в порядке, в целости. Видно, что люди тут обстоятельные, даже общественное достояние в исправности. «Смотрите, дорога в Сибирь розами усыпана!» – кричит едущий впереди товарищ, указывая на цветущий шиповник.

От ярких красок окружающего всем весело: все вместе, здоровы, и ссылка пока еще кажется только залитую июньским солнцем да придорожными впечатлениями свою сторону. Бешено несут нас выносливые сибирские лошадки. Длинной змеей стремятся вперед грузные экипажи: на каждом из них по 4 человека, кроме двоих конвойных и кучера. Треск, шум, пыль.

Но вот этап, отдых. Только въезжаем во двор, как у ворот целый базар: бабы наташили печеных и вареных яиц, жареных кур, шанег, творогу и пр. Мы, особенно петербуржцы, в восхищении от дешевизны. В избах этапов по всей дороге сравнительно чисто.



Вокзал в Екатеринбурге, фото Вениамина Метенкова (1857-1933)

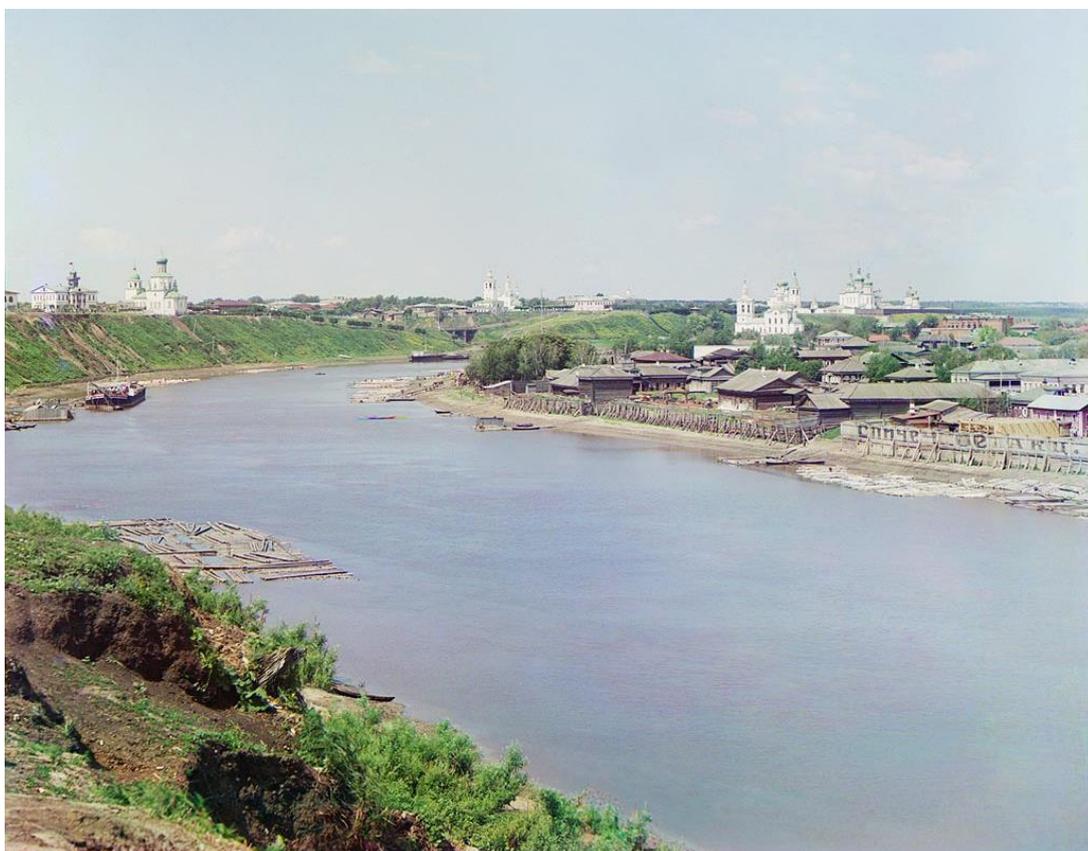


Екатеринбург. Общий вид центральной части, фото Сергея Прокудина-Горского

Потом, в Тюмени узнали, что по этому пути возвращается из Восточной Сибири ревизор тюрем и ссылки, Галкин-Врасский, значит, местное начальство спешило подчистить казовую сторону подведомственных учреждений*. Приятное впечатление и от деревень, расположенных по тракту, стоят гордо рядами обширных, пятистенных изб, крытых тесом, а то и железом. В больших окнах за занавесками выглядывают цветы, явление для российской деревни необычайное, и ничто не напоминает наших жалких с подпорками избенок с двумя крошечными окнами, часто стекла которых заткнуты тряпками.

Трогательно пожелали нам при прощании всего доброго солдаты, конвоировавшие нас от Москвы, старый полковник даже прослезился. Подъезжая к Тюмени, он предложил на время приема партии тюменской властью дать ему на хранение нелегальную литературу, если таковая имеется, и деньги, у кого свыше нормы. У одного нашел даже револьвер, у другого кинжал или финский нож. Все было припрятано полковником и, после передачи партии в новые руки, в точности возвращено по принадлежности.

Холодом среди лета пахнула на нас тюменская тюрьма, где с первого часа пошли недоразумения с ее начальством. Здесь наша партия значительно уменьшилась: человек пятнадцать распределились по городам и весям Тобольской губернии.



Река Тура в Тюмени. Справа – Троицкий мужской монастырь, фото Сергея Прокудина-Горского, 1912 год

* Галкин-Врасский (Галкин-Враской) Михаил Николаевич, действительный тайный советник (1832-1916). Окончил курс Императорского Казанского университета. Поступил на службу в управление Оренбургского генерал-губернатора. В 1862 г. отправился в Западную Европу, где пробыл два года, посвятив их, главным образом, изучению постановки тюремного дела на Западе и тюремного вопроса вообще; результатом чего стало издание им труда «Материалы к изучению тюремного вопроса». Губернатор Эстляндской (1868-1870), Саратовской (1870-1879) губерний. Начальник Главного тюремного управления (1879-1896).

Вскоре у оставшихся произошло крупное недоразумение, причиной которого было поселение женщин в отдаленный барак и всяческие препятствия нашим дневным свиданиям с мужчинами, чинимые тюремной администрацией. Но после долгих переговоров, шума женщин переселили в смежную с мужчинами камеру.

В последние дни нашего двухнедельного пребывания в Тюмени вновь произошло столкновение, на этот раз с начальником конвоя дальнейшего пути из-за багажа. Надо сказать, что в партии две-три польские семьи и один русский одиночка, Кирхнер*, прихватили с собой в ссылку слесарные инструменты, имели багажа значительно больше положенных пяти пудов для административно ссылаемого, у каждого из них было свыше пятнадцати. Партия состояла большей частью из административных. Начальство требовало уменьшить багаж. Владельцы отказывались.

За товарищей вступилась вся [пересыльная] партия, указывая на то, что у многих нет законных пяти пудов и что в общем вес не превышает нормы. Велись переговоры, представлялись доводы – все напрасно: начальство решило действовать силой. Выразалось недовольство и внутри партии, так как большой багаж везли те, кроме владельца слесарных инструментов, что в Москве отказались войти в коммуну, а между тем ее привилегиями в дороге пользовались. Переговоры с администрацией тянулись несколько дней. Но вот в одно утро в камеру введена вооруженная стража. Один из собственников пошел было на попятную, но товарищи запротестовали. Напряжение у всех чрезмерное. В молчании, с голыми руками стояла молодежь и ждала, что будет, когда начнут силой отнимать. Но вдруг от кого-то приказ, и вооруженные вышли. Тишина, напряженное ожидание. Публика не смеет верить, что те сдались.

Но история кончилась для нас благополучно: получено извещение о приезде Галкина-Врасского, а могло быть всяко. Начальник конвоя пошел на уступку относительно багажа, и владельцы благополучно довели его до Томска. Возбужденное состояние на протяжении нескольких дней постепенно улеглось. Наступила реакция. При необычной тишине одни читали, другие увязывались для дальнейшего пути, вспоминали пережитые тюремные столкновения, вообще проводили время, кто как умел в этапной обстановке. Много любопытного для психолога может дать такое невольное стечение людей. Одни и те же тяготы несут за исповедуемые идеи, но как ярко выступает индивидуальность каждого в этих одинаковых условиях: точно букет живых цветов, собранный на одном поле, поражает разнообразием красок и форм.

IV

Осталась позади и Тюмень. Было ясно, солнечно, когда мы подходили к Туре, извилистому, узенькому притоку Тобола. Гул от множества голосов стоял над пристанью, значит уголовные уже водворены на барже. Нам всем, мужчинам и женщинам, отведены две каюты на корме, помещение, служившее больницей и аптекой. Между комнатами коридор, оканчивающийся железной решеткой, за ней палуба уголовных. Все мы довольны, что помещение вверху. Внесены вещи, расположились по местам.

Но не успели еще окончательно разобраться, как скрылось солнце и стало быстро темнеть. Вдали послышались раскаты грома и темные тучи надвигались с запада, нагоняли нас. Смотрите, смотрите! – приглашали сидящие у окна.

И, действительно, зрелище было дивное: темно-синяя стена, прорезаемая огненными змейками, точно шутя, быстро-быстро закрывала собой горизонт. На палубе уголовных зажгли фонари. Конвой на страже. Но вот пронесся порыв бури: свист, гром, молния. Вот-вот разнесет баржу и рассеет всех ее обитателей. Жутко. Уголовные спустились в люк. Мы невольно притихли: одни волнуются, другие наслаждаются дивным зрелищем.

* Речь, по-видимому, идет о народовольце Александре Валериановиче Кирхнере, сосланном административно в 1881 году.

И вдруг среди этого ада слышим пение, тихое, жалобное. Точно под аккомпанемент разбушевавшейся стихии певец изливает глубокое горе, которое не всегда и не всем покажешь. Наши встрепенулись и, определивши, откуда идут звуки, очутились в коридоре у решетки. А там, направо у фонарного столба, стоит еще совсем молодой арестант. Серый халат накинут на одно плечо. Бритая с одной стороны голова несколько подалась вперед, точно он во что-то всматривается. В тени под фонарем еще две фигуры: стоящая на одном колене опирается плечом о фонарный столб, а другая сидит на полу. Как мечом, ярко прорезает молния палубу и видно, что она пуста, кроме тех троих в стороне, которые завладели вниманием нашей компании.

То не ветер ветку клонит, не дубравушка шумит,
Ох, мое то сердце стонет, как осенний лист дрожит...

И столько в звуках его голоса слышится сердечной тоски, столько пережитого страдания, что никакая буря не поглотит его. Другие два голоса выражают сочувствие, аккомпанируют ему. Буря же среди мглы продолжает бушевать: почти непрерывно гремит гром, молния освещает резкими синими вспышками напряженные лица слушателей. А сильный тенор, сдерживаясь, продолжал плакать, выражать следы бури, пронесшейся над его маленьким человеческим сердцем.

Извела меня кручина, подколотная змея,
Догорай моя лучина, догорю с тобой и я

Мы, женщины, слушали и тихонько вытирали слезы. За что он в кандалах? – невольно напрашивался вопрос. Убил изменницу или за разбой погубил свою голову? Эти сумерки среди бела дня от пронесшейся грозы, может быть и певцу навеявшие настроение, я никогда не забуду. Потом уголовные много раз по пути до Томска угощали нас пением, но ничего подобного мы не слышали.



Полноводная Обь в районе Сургута (современное фото)

Вверх за извилистой Турой однообразные виды утомляют глаз, и чем севернее, тем бесприютнее, серее. Многоводная Обь вспоминается, как нечто суровое, как бесконечно таинственное течение времени, не прикрашенное лаской природы: и береговая зелень не смягчает тяжелого, мутно-стального цвета воды. По берегам ни одного возвышения, везде вода в уровень с землей, как сосуд переполненный влагой. Широта реки местами вводит в заблуждение, точно едем по безграничному озеру. Не хочется верить, что земля направляет столько воды в океан: напротив, кажется, что океан своими излишками стремится заполнить все низины на суше.

И нигде человеческого жилья, проявления жизни. Может быть и человек, и зверь бегут от этой свинцово-холодной массы, боясь застыть, оцепенеть. Подплывали несколько раз туземцы с рыбой, но от одного вида этих жалких существ уныние еще увеличивалось, как и от безлюдных пристаней, на которых брали дрова.

В гармонии с природой и конвой тюменский был сурово-придирчив, особенно вначале. В первые дни не позволялось даже подниматься на верхнюю палубу: ухнет кто-либо в воду и был таков, а тут отвечай. Всякие пловцы бывают. И до конца своей миссии, до Томска, начальник конвоя с суровой важностью относился к партии.

Ближе к Томску, по берегам Томи, встречаются деревни, села с белыми церковками. Изредка – засеянные поля. Только на девятый день утром дотянулись, наконец, до пристани Черемушники, в 3-4 верстах от Томска*.



Высадка ссыльных с баржу (<http://ljwanderer.livejournal.com/182632.html>)

* Черемошники (Черемошки) – район на северо-западе Томска, между рекой Томью, Каштачной горой и улицей Дальне-Ключевской. В Черемошниках существовала пристань на Томи, до неё доходила Томская ветка железной дороги. Название района Черемошники произошло от находившихся здесь когда-то зарослей черёмухи. В Сибири такие заросли называли черёмушник (ударение на ё). – **Из Интернета**

К самому городу товарные пароходы редко подходят. Больным и женщинам с детьми дали экипажи. Дорога идет луговиной. Затем, огибая город с левой стороны, поднимается на Воскресенскую гору, на Иркутский тракт. Там за кладбищем, влево от дороги, серый поселок, обхваченный высоким бревенчатым забором с заостренными вверх концами, это Томская пересыльная тюрьма. У ворот начальство. Тюменский конвой, доставивший партию в целости, с гордым чувством исполненного долга, передает ее с рук на руки. Подсчет, переключка, и мы за воротами нового временного жилища.

Томская пересыльная ничем не отличается от других, виденных по пути. Она только обширнее, больше отдельных домов-камер. Очевидно, здесь происходит скопление уголовных, и составляются большие партии для продвижения их на восток, в отдаленные места ссылки и в рудники. С этого пункта начинается долгий, страданный путь, где, должно быть и творился классический марш: идет он усталый, а цепи гремят. Закованы руки и ноги.

На другой день нашу камеру посетил тюремный врач Ожешко, из польских повстанцев 1863 года, в высшей степени симпатичный человек*. Внимательно осмотревши моего больного сына, ко всем бедам прихватившего в тюменской тюрьме еще корь, Ожешко посоветовал мне просить губернатора оставить нас, Ульяновых, на время в Томске, так как мы отсылались в его распоряжение и местом ссылки назначался город Мариинск Томской губернии.

* Флорентин Феликсович Ожешко (Оржешко, Florenty Orzeszko, 1835-1905) – первоначально ссыльный повстанец, затем получил право на службу тюремным врачом в Томске и оказывал помощь проходившим через нее ссыльным. Был похоронен на польском кладбище Томска (могила не сохранилась).

*В сентябре 1890 года Флорентин Феликсович Оржешко, отец еще неизвестного архитектора Викентия Оржешко пишет: «В августе 1872 г. я был зачислен врачом томских тюремных больниц и заведовал больницами местного тюремного замка, исправительного арестантского отделения и томской пересыльной тюрьмы...» В прошении Ф.Ф. Оржешко ходатайствует у Томского губернатора «...признаёте ли возможным исходатайствовать перед надлежащим начальством зачисление мне моей 18-ти летней службы в число лет действительной государственной службы, на предмет приобретения прав на установленную по закону пенсию по выслуге лет с расчётом, определённым для Сибири». В этой просьбе Ф.Ф. Оржешко было отказано. Выдержка из письма помощника начальника Главного тюремного управления от 21 сентября 1890 года: «... на основании высочайше утверждённого 7 ноября 1851 г. штата комитетов общества попечительного о тюрьмах – врачам тюремных больниц никаких прав на пенсию не присвоено». Из формулярного списка надворного советника Флорентина Оржешко мы узнаём следующее: «Надворный советник Флорентин Феликсович Оржешко, врач томских тюремных больниц, 54 лет от роду, вероисповедания римско-католического, имеет ордена св. Станислава 3-й степени, св. Владимира 3-ей степени и св. Анны 3-й степени, содержание получает 1500 рублей». «По окончании курса наук в Императорской Санкт-Петербургской медико-хирургической академии удостоен степени лекаря в 1861 г. июня 26. Был под судом, не состоя на службе за именование у себя стихов возмутительного содержания и бытность в шайке мятежников и по конфирмации военного губернатора г. Гродно, лишен всех особенных лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ и сослан на житьё в Томскую губернию». «Женат 2-м браком на девице Люции Домениковой Поцолуевской. Имеет детей: от 1-го брака Владислава, родившегося 30 марта 1868 г., Бронислава, родившегося 7 ноября 1870 г., от второго брака Доминика, родившегося 27 декабря 1873 г., Викентия, родившегося 9 июля 1876 г. и дочь Антонину, родившуюся 13 июня 1875 г. Жена и дети Римско-католического вероисповедания находятся при нём. В городе Томске имеет деревянный дом». – **А.П. Герасимов. Томский архитектор В.Ф. Оржешко, elib.tomsk.ru***



Ф.Ф. Ожешко (Оржешко)

Губернатором в то время был Мерцалов, человек либеральных взглядов, позволявший себе при встречах с ссыльными говорить, что и он «тем же молоком вскормлен», т.е. воспитан на сочинениях Чернышевского, Герцена и др.*

Мои хлопоты увенчались успехом, и нас временно оставили в Томске.

* Вновь назначенный губернатор поначалу производил впечатление человека закомплексованного, нерешительного и подавленного новыми обязанностями. Однако быстро освоился, вошел в курс дела и заработал не хуже своих предшественников. Главной заботой Василия Ивановича Мерцалова в то время было строительство Томского университета, начавшееся в августе 1880 года. Поскольку дело это было важное, государственное, то председателем комитета по его постройке стал сам губернатор.

<...>Несмотря на все либеральные реформы Александра 2-го, число государственных преступников, отправлявшихся на «перековку» в Сибирь, не уменьшалось, и Томская губерния продолжала оставаться одним из центров ссылки. При Мерцалове многим врагам самодержавия в Томске жилось, как у Христа за пазухой. Царский наместник лично хлопотал об их устройстве на работу и поиске приличного жилья. При его молчаливом согласии видные революционеры-народники В.Ф.Волховский и С.Л. Чудновский стали членами редколлегии «Сибирской газеты» и получили не только стабильный заработок, но и возможность писать практически все, что им заблагорассудится.

Вот только такое человеческое отношение губернатора к политссыльным пришлось не по нраву некоторым местным чинушам типа Гилярова. В Санкт-Петербург, в резиденцию министра внутренних дел графа Д.А. Толстого полетели подметные письма, в которых яркими красками расписывались мифические прегрешения Мерцалова. Особый упор делался на то, что Волховского, Чудновского, Адрианова и других крайне неблагонадежных господ губернатор принимал в любое время, а верные слуги отечества были вынуждены часами дожидаться его аудиенции. <...>Возмущенный министр вызвал Мерцалова на ковер и в резкой форме потребовал от него объяснений. Василию Ивановичу ничего не стоило опровергнуть все гнусные наветы. Но он не стал этого делать. Оскорбленный подлым предательством своих подчиненных, он подал в отставку. – **Виктор Гахов. Сердобольный губернатор. «Красное знамя» (Томск), 2 марта 2000 г.**

В Томске



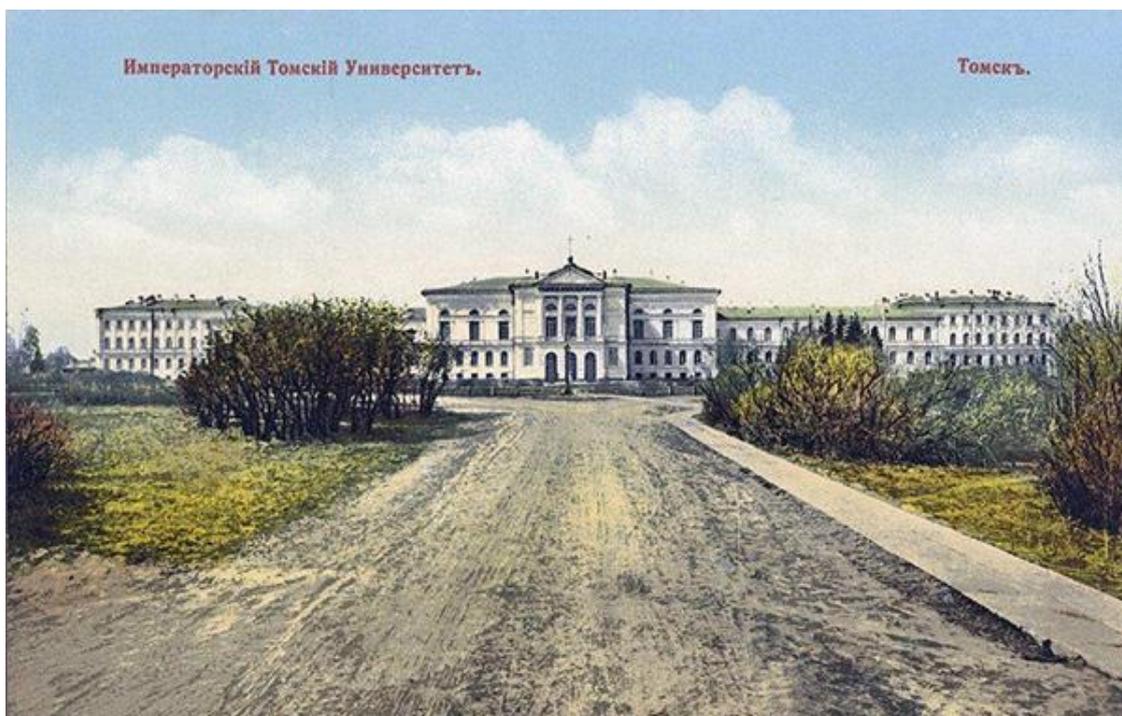
Томск, вид с Воскресенской горы

Томск расположен на правом берегу р. Томи и притоком Ушайкой разделен на две части: по одну сторону Воскресенская гора (место первоначального основания города Борисом Годуновым в 1604 году) с крутым скатом к Пескам, подходящим к р. Томи, по другую сторону Ушайки, тоже холмистую, расположена значительная часть города.

В начале восьмидесятых годов XIX века там находились культурно-просветительные и почти все правительственные учреждения, библиотека, почта, театр и прочие [\[заведения\]](#). А дальше, на возвышенной части, Елани, только еще строящийся тогда университет.

Впервые об университете для Сибири заговорили Сперанский, Кознаков и другие в начале девятнадцатого столетия. Еще в 1803 году капиталистом Урала Демидовым было внесено 100 тысяч рублей на постройку университета в городе Тобольске, как более крупном центре Сибири того времени (см. «Город Томск», издание Сибирского товарищества печатного дела за 1912 год). Но от проекта до приведения его в жизнь прошло с лишком 75 лет, и когда в семидесятых годах вопрос об университете для Сибири назрел окончательно, местом для него был избран город Томск, на чем под влиянием горячего сибирского патриота Ядринцева, ратовавшего в этом отношении за Томск, согласились и тоболяне, и иркутяне.

Посыпались богатые пожертвования, и 1-го мая 1878 года было положено основание университета. На обширной площади Елани, ближе к Томи, где покачивались еще могучие кедры, березы и пихты с 1882 года, не торопясь, возводились мощные стены зданий Сибирского храма науки. Выше университетского парка, тоже среди зелени, белело здание центральной тюрьмы томского района, обслуживающей нужды местного правосудия. Впрочем, временами туда помещали и пересылаемых дальше на восток более опасных преступников: пытавшихся, например, бежать в дороге, или тех, которые своим бунтарским нравом заразительно действовали на остальных членов [\[этапной\]](#) партии. Затем, за чертой города, были расположены военные лагеря.



Набережная Томи

Общий вид города с высоты Иркутского тракта, где стояла пересыльная тюрьма, был довольно привлекательным. За городом виднелась водная полоса реки Томи, за которой тянулись бесконечные леса, тайга. Очень я обрадовалась, когда моя просьба пред губернатором, поддержанная тюремным доктором Ожешко, была уважена, и мы, Ульяновы, временно оставлены в городе Томске, благодаря болезни сына (о чем сказано в предыдущей статье). Только расставаться с товарищами, которых через день-два отправляли дальше на восток, было тяжело.

Недалеко от пересыльной тюрьмы, на Воскресенской горе, мы наняли довольно чистенькую на вид, вновь оклеенную беленькими обоями, комнату и, пройдя чрез полицейский контроль, вздохнули было вольным воздухом. Но вечером, как только наступила тьма, обои положительно зашевелились от множества насекомых. Два дня потратили на борьбу с этим врагом : искали новое обиталище, о чем следовало опять сообщать полиции, не хотелось, да и гарантии мало, что в другом месте не будет того же. Кроме того не всякий обыватель пожелал бы иметь дело с жильцами, о которых каждый день наведывается полиция: «не удрал ли». Хозяйка же этой комнаты оказалась доброй, услужливой женщиной, чем мне с тяжело больным сыном было очень важно.

На другой день по моей просьбе она испекла пирог во всю печь, в который мы заложили свое приветствие товарищам с кой-какими сведениями. На пироге поджаренными буквами из теста обозначили, кому и от кого, и отправили в пересыльную тюрьму.

Первое знакомство со ссыльными в Томске, с будущими друзьями, у меня как-то перемешано с чувством усталости, тревоги за ближайшее будущее. Небольшой запас средств уходил на больного, а от казенного пособия в размере шести рублей на человека, мы решительно отказались, не желая чем-либо обязываться своим гонителям. Из всех товарищей, заходивших к нам на Воскресенскую в то короткое время, особенно ярко вспоминается детски милое искреннее лицо Маруси Присецкой. Она была чаще всех и особенно сердечно относилась к нашему личному горю.

Впрочем, как показало дальнейшее знакомство с ней, Мария Николаевна Присецкая всегда с трогательной заботой спешила пойти на помощь всем, находящимся в горе, беде. Трогательны были ее заботы о дальневосточных товарищах. Но я забегаю вперед.



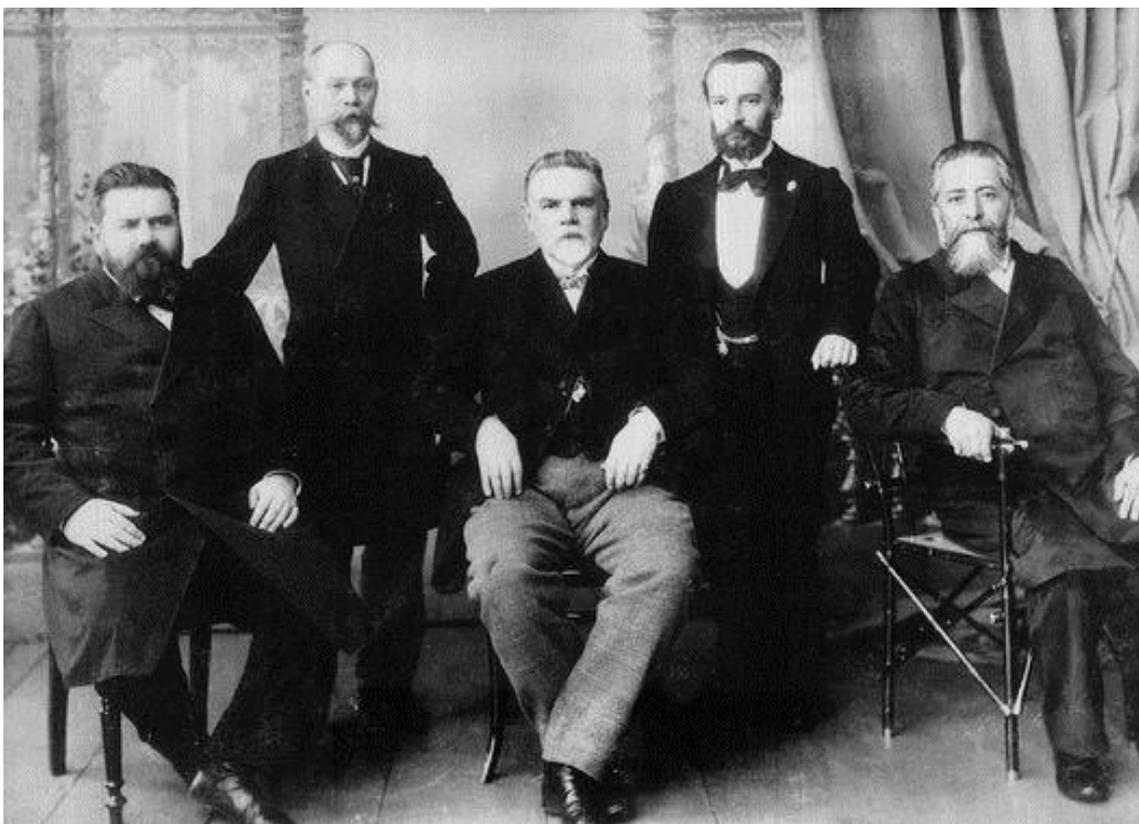
Старый мост через реку Ушайка и Воскресенская гора (на заднем плане)



Томск

Еще не со всей томской колонии ссыльных успели мы познакомиться, как в нашей жизни произошла перемена. Надо сказать, что мы очень нуждались в заработке. Надеяться на уроки нельзя было: ссыльному, да еще оставленному, как Ульянов, временно в Томске, тем более. Но помог случай. Недалеко от нашего обиталища по той же улице, жил купец-еврей Осип Леонтьевич Фуксман, владелец пивоваренного завода, брат которого Илья имел большое хозяйство в пяти верстах от города. На своей заимке Илья Фуксман сосредоточил несколько предприятий: паровую крупчатую мельницу, винокуренный завод, конский завод и прочее, и прочее. И вот этому предпринимателю понадобился добросовестный «материальный», т.е. заведующий складами материалов необходимых, как для производства, так и для продовольствия всего населения заимки. Благодаря рекомендациям, чрез О.Л. Фуксмана это место было предложено Ульянову. Хотя Ульянов, по специальности педагог, мало понимал в «материальных» делах, но решил, что «не боги горшки лепят», да и кушать хотелось.*

* Фуксман, томские купцы 1-й гильдии. Основатель династии – Илья Леонтьевич (Илиокум Вульфович) (около 1836 – 1917, Томск). Из ссыльных евреев. Около 1867 вошел во 2-ю, в 1890-х гг. – в 1-ю гильдию. Арендвал, затем приобрел в собственность участок земли в пригороде Томска и винокуренный завод купцов Сосулиных. В 1878/79 устроил там паровую мукомольную мельницу, названную Ильинской, в 1891 первым в Томске осветил свои предприятия электричеством. Владел золотыми приисками, конным заводом. Торговал вином, мукой собственного производства, породистым скотом. Входил в состав особого раскладочного присутствия Томского горного управления. Избирался старшиной Общественного собрания, директор Томского отделения Русского музыкального общества, состоял пожизненным членом Общества для доставления средств Сибирским высшим женским курсам, действительный член Общества физического развития. Выстроил на свои средства здание для еврейского начального училища, помогал деньгами в сооружении здания Хоральной синагоги в Томске.<...> – *Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири. Новосибирск, 1996.*



Члены строительного комитета Общественного собрания Томска, крайний справа – купец I гильдии И.Л. Фуксман (фото 1897 г.)

Приятно было выехать из пыльного города и очутиться среди зелени. Первый раз я увидела сибирскую флору и была поражена пышностью цветов: одуванчики, незабудки, кашки, изредка ирисы, все гораздо крупнее, ярче, чем в России под той же широтой. Точно природа в сравнительно короткое лето спешит наверстать время, своим нарядом украшая холмистую местность.

Еще версты за две с горы видна фуксманская заимка, расположенная в долине со своими строениями, между которыми особенно возвышается паровая мельница.

Следует сказать, что заимка, на которой разрослись предприятия Фуксмана, принадлежала декабристу Батенкову, который в свою очередь получил ее от владельца рядом лежащей Степановки, Сосулина. Декабрист Г.С. Батенков был единственным сибиряком среди восставших декабристов. Его приговорили к вечной каторге. Но самодержавная власть находила, что и каторга на родине, в Сибири, не так жестока и Батенкова упрятали в Алексеевский рavelин Петропавловской крепости, где он просидел двадцать лет, хотя он был из числа наиболее умеренных по взглядам из членов Северного общества. Только в 1846 году его выпустили и разрешили поселиться в Томске.

Живя в Томске, Батенков, как инженер-строитель, между прочим составил план на постройку дачи со всеми службами для владельца Степановки, которые и строились под его, Батенкова, наблюдением. Распланировкой и постройкой зданий он так угодил Сосулину, что последний предложил ему в дар 55 десятин земли в соседстве со Степановкой. Друзья Батенкова, Лучшевы, которые приняли горячее участие в нем с первого дня его высылки в Томск, устроили на этом участке небольшое хозяйство, «Соломенный хутор», как называли они этот скромный домик.



Дом томского чиновника Лучшева, где какое-то время жил Г.С. Батеньков

На этом хуторе, который в восьмидесятых годах принадлежал уже И.Л. Фуксману, проводил много времени, «отдыхая от городских впечатлений» Г.С. Батеньков (см. «Город Томск» издательства сибирского товарищества «Печатное дело», статью А.В. Адрианова).*

Возница наш остановился у сараеобразного, в два этажа дома среди грязного двора. Внизу, в начале длинного коридора, который оканчивался общей кухней, нам отвели комнату. Все заброшено, грязно, неуютно, точно наскоро и ненадолго сколочено.

С первого же дня Ульянов должен был отдавать все время амбарам, складам, сараям, наполненными разными материалами. Я боялась, что из него там высосут все соки и вымотают душу. Хорошо, все служебные постройки были в двух-трех шагах от нашего жилища, он с трудом мог урвать минуты, чтобы в спешном порядке поесть или выпить стакан чаю, и, работая часов по восемнадцать в сутки, он так уставал, особенно в первое время, что вечером обессиленный сразу засыпал.

Я одна с больным ребенком и с «хозяйством» временами теряла голову. А между тем нужно было самой и хлеб печь, готового купить негде. Помню, поставили мне мешок муки в 3-4 пуда, да еще самого лучшего сорта, а мне никогда не приходилось иметь дело с тестом. Боже мой! чего только не вынес желудок мужа от моей стряпни: то хлеб сырой, то горелый. Было и так, вспомнишь уже вечером, что в печке хлеб стоит, ну и приходилось выцарапывать уцелевший от жары мякиш.

Следует прибавить, что взявшись за самостоятельное лечение сына, я пунктуально следила за его питанием и уходом, и каждый вечер делала ему солнечную ванну. Зима была жестокая, морозы стояли минус 30 и выше, а около рождества доходили и до сорока. А наша комната отаплилась только чугушкой: пока топишь, париться можно, часа чрез 3-5 вода замерзает. И тем не менее при таких условиях, маленькая, почти уснувшая, жизнь постепенно пробуждалась: когда в начале января зажгли елочку, наш больной, сидя в кроватке с сияющими глазенками, не знал, чему больше радоваться, игрушкам или светящемуся дереву. В это время мне уже приходилось оставлять его на чужие руки, так как я уходила каждый день часа на два, обучать грамоте жену Фуксмана, даму лет 50-ти.

* Гавриил Степанович Батеньков (Батеньков), родившийся в Тобольске в 1793-м, умер в Томске в 1863 году.

Александр Васильевич Адрианов (1854-1920) после переезда в 1880 г. из Иркутска в Томск участвовал в создании «Сибирской газеты» (см. ниже), с 1883 г. был редактором этой газеты совместно с Ф.В. Волховским, в 1884-м стал ее издателем. Был расстрелян по приговору Томской ЧК.

Однажды мы с мужем были приглашены на «чай» и долго беседовали с «самим» в его богато обставленной столовой, вернее, больше слушали его насчет сибирского купечества, по адресу которых он выражал порицание за кулачество, за **титтичество*** и за многие другие недостатки. Сам же он рисовался европейским просвещенным коммерсантом, который ценит размер и быстроту оборота своего капитала, а не то, чтобы в мелочах побольше «содрать». Но забывал, очевидно, в какой грязи живут его рабочие и служащие, как ничтожны их заработки. Конечно, не мог он не знать, что среди рабочих ему не было другого имени, как «выжига», «плут». Но на словах и там, где видно было, он либеральничал. Например, газеты и журналы выписывал только прогрессивные и позволял ими пользоваться.**

Кажется, в этот же вечер его жена пригласила меня в свою комнату и умиленно просит, чтобы я взялась обучать ее чтению и письму. Заметивши на моем лице удивление, она поспешила объяснить свою просьбу. «Видите ли, у меня теперь всего вволю, и белья дорогого в достатке, и меняем его часто, а как начну сдавать прачке, они вместе с горничной и обманывают меня: глядишь – то то, то другое и пропадает. А как буду записывать сама, все пойдет иначе», – говорила М.М. Фуксман. Меня рассмешила выставленная причина, благодаря которой старый человек решил обучаться грамоте.

* От tittle-tattle – сплетничать?

** Приведем дополнительные штрихи к портрету «европейского просвещенного коммерсанта» и его семьи:

Илья (Илиот, если правильно) Фуксман был человек в городе весьма известный, равно как и его многочисленные родственники. Фуксманы занимались много чем: владели по всей губернии кожевенными и пивоваренными заводами, паровыми мельницами, сам же Илья Фуксман занимался еще и разведением лошадей, для чего купил под пастбища нынешнюю Степановку у купца-вино торговца Сосулина. Кстати, вино торговцем ему тоже хотелось стать, одна беда: российское «демократичное» законодательство запрещало спаивать народ предпринимателям-евреям (русским можно). Так что пришлось Фуксману окрестить сына [Григория] в лютеранство и уже на его имя купить винный заводик. Купив же заводик, Фуксман прославился в городе и вовсе неблагоприятными делами: принял участие вместе со своими русскими коллегами в «винной стачке» томских предпринимателей в 1888 году, или, говоря проще, в организованном повышении цен на водку раза в два. Суд был суров и справедлив – зачинщиков, в том числе и нашего домовладельца, посадили на полгода (первая судимость тогда не влекла серьезных последствий, наказание было «профилактическим»). Однако конфискации имущества по приговору не последовало, так что, отсидев, купцы вернулись к своим делам.

<...>В городе ходили упорные слухи о том, что дочери Фуксмана, благодаря капиталам батюшки ежегодно отдыхающие на Ривьере, встречались там с разными революционерами (последние, как известно, в эмиграции очень любили отдыхать на курортах от борьбы за правое дело). Социалисты снабжали барышень нелегальной литературой, которой те набивали узлы и баулы. Естественно, о таможенном досмотре дочерей купца первой гильдии, известного и за границей, не могло быть и речи... Фрондерство дочерей не спасло Фуксмана от революции. Дом его [на Миллионной улице] был конфискован, хозяин сгинул, и явился новый победивший пролетариат. – Н. Сазонова. «Сибирь», которую построил... //газета «Все для вас» (Томск). 2000 г., №200

Григорий Ильич Фуксман (1866-1937) входил во 2-ю гильдию Барнаула, затем в 1-ю и 2-ю гильдию Томска. Арендовал винокуренный завод отца в Томске. Владел пароход. компанией, в 1907 построил паровую крупчатную мельницу в Томске производительностью 2,5 тыс. пудов в сутки (действует до сих пор). Торговал мукой, владел конным заводом. В годы Гражданской войны поставлял лошадей в Сибирскую армию. В 1919 учредил совместно с А.Е. Кухтериним и В.А. Гороховым товарищество «Томские мукомолы» для закупки зерна и продажи муки. Принял лютеранское вероисповедание. В советское время работал извозчиком, ссылался в Туруханск, в 1937 арестован и расстрелян. Жена Анна Федоровна входила в Дамский комитет по устройству столовых для голодающих детей в 1901-02, состояла членом комитета и пожизненным членом Общества для доставления средств Сибирским высшим женским курсам. – Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири. Новосибирск, 1996.

Но она так настойчиво выражала свою просьбу, так убеждала меня, что ни к кому другому «с этим» не обратиться, что я решилась испробовать, хотя плату предложила мне весьма скромную, десять рублей. «Ведь я сама ничего не имею, все от мужа», – говорила она.

И раньше и после были у меня весьма взрослые ученики, но такой усердной, даже жадной не было. Придешь, бывало, она так и вцепится в тебя глазами и ушами. Если можно было бы, просто высосала бы все мои, увы! небольшие познания. «Вы удивляетесь, что мне старой все это хочется знать? – говорила она с ярким еврейским акцентом, который так шокировал «самого». – Ви думаете я и раньше так жила? Нет... Когда я носила Гришу, а ему теперь двадцать пять лет, так сама на реке полоскала белье, а белье было такое, что стыд... И были мы бедные, и мало чего имели». И она в простоте своей сообщала о том, как «Илья» торговал шапками и бегал на прииска: «кой-то туда носил». Но об этом периоде говорилось шепотом, опасливо поглядывая на дверь. Вспоминать же о тяжелом пережитом ей хотелось, хотелось услышать сочувствие. А громко, с гордостью она предлагала рассмотреть горки с затейливыми дорогими безделушками, посудой, серебром.

Интересное по этим отрывочным рассказам начало многих томских богатеев-купцов того времени, Пастуховых, Королевых и др. Один, занимаясь ямщиной «не доvez до места» богатого седока, другой тайком на прииски таскал спирт и выменивал его на «песочек», кто удачно охотился на варнаков или ловко обчистил церковь, но каждый из них поднялся «счастливо» вдруг на торговый путь. И.Л. Фуксман, всегда одетый изысканно, по-европейски, делал приказы по своей латифундии, расширяя предприятия или важно разъезжал на рысаках, делая визиты и полезные свидания. Несмотря на свои свыше пятидесяти лет, он имел вид крепкого, привлекательного мужчины, чего нельзя было сказать о его супруге. Однажды, придя на урок, я застала в комнате ученицы высокую, стройную, очень красивую женщину средних лет. При моем появлении она вышла.

«Уж и не знаю, понравлюсь я вам сегодня», – говорит смущенная ученица, вытирая слезы. «Вы всегда так усердны, что с вами заниматься любопытно», – говорю я. «Ох, мало любопытного в моей жизни. Я самая бедная теперь среди этого богатства. Знаете, я богаче была, когда сухую корку жевала да...», – и она совсем расплакалась. Я не знала что делать, и предложила, не лучше ли завтра заняться подольше, а сейчас она пойдет на воздух. «Нет, нет, мне с вами лучше».

В это время приоткрылась дверь и плачущая подтянулась. «Это за мной подсматривают. Хотят, чтобы я ни с кем не говорила. Уж ездил бы туда к ней. А то вишь мало, сюда еще тащит. Эсфирка-то, это жена умершего младшего брата», – и опять слезы. Я поняла, что «сам» милостиво «приголубил» по-библейски молодую красивую сироту, и старалась, как умела, отвлечь внимание на другое. Но мысль бедной женщины работала в одном направлении. Все, все нажито вместе, вместе голодали и радовались. Всегда с тревогой поджидала его с присков, вот убьют. Ну, а заботы старят. И она, сдерживая рыдания, продолжала плакать. Видно, что ее старое сердце не могут успокоить ни богатства, ни дети.

Пред рождеством поступил на завод Фуксмана еще один из политических, Петр Ефимович Попович, которого рекомендовал Фуксману Ульянов. Попович занял место материального, а Ульянов перешел на конторские работы. Благодаря обязанностям материального и Поповичу приходилось целый день быть на ногах, блюсти порядки и хозяйское добро, что, как оказалось, совершенно не соответствовало ни складу его характера, ни физическим силам. Как южанин, он с большим трудом переносил морозы.

Его красивое лицо с большими темными глазами за недолгое время службы на заводе еще больше осунулось и подернулось печали: для его больных легких, слабого здоровья, убитого тюремой, тяжелые условия заводской службы были не под силу. В редкие свободные минуты, вспоминая свою Украину, Петр Ефимович весь светился, видно было, что все его мечты направлены в родной край. Жена его, Марья Ивановна, артистическая хозяйка, которой были доступны всякие кулинарные изделия, старалась питать и поддерживать силы мужа. Но увы! Никакая кулинария, ни аптекарская, ни домашняя не остановили быстрого процесса разрушительной болезни. Весной хлопоты пред властями увенчались успехом, и с помощью товарищей ему с семьей устроили переезд в более теплую местность, в Семипалатинск. Но и эта попытка не спасла его, и он сложил свои кости далеко от милой Украины.

Поступил было на завод, тоже по хозяйственной части, еще полит-ссылный, Павел Эдуардович Шульц. Но его скоро арестовали по делу, связанному с народовольческим кружком в городе Воронеж, откуда он и был выслан в Сибирь за разбрасывание прокламаций. Жандармы перебулгачили все население завода, а нашей братии пришлось спешно прятать в мучные лабазы кой-какую литературу, которую, увы! через неделю нашли всю изгрызенную: очевидно сытная мучная пища крысам надоела. После допросов и некоторой проволоочки Шульц был выпущен и оставлен в Томске, где отбыл свой срок ссылки. После ареста Шульца жандармы возбудили вопрос о незаконном пребывании полит-ссылных на заводе. Но губернатор Мерцалов, с разрешения которого и была допущена эта вольность, в этот раз отстоял свой престиж, и вопрос об удалении поднадзорных с завода затих, хотя мы знали, что этот вопрос в каждый момент может вновь подняться.

Фуксман же, довольный этими работниками, держался выжидательной политики и, в случае каких-либо недоразумений, надеялся на Мерцалова. Следует прибавить, что губернатор Мерцалов, как человек образованный, по отношению к полит-ссылным держал себя в высшей степени гуманно, корректно, чем и объясняются некоторые поблажки к ним, за что не раз приходилось ему выдерживать борьбу с жандармами.

Жизнь наша на заводе шла по определенному требованию каждого дня: занято, полно, однообразно, и мы были рады всякому разнообразию. Но особенно ценили приезды товарищей из Томска. Впрочем, об этом после. Даже свадьба машиниста паровой мельницы, одинокого молодого человека, Киселева, внесла крупицу веселья. Надо сказать, что Киселев непременно хотел, чтобы я была у него «посаженой матерью». «Без «посаженой» нам обойтись никак нельзя», – говорил он. Отдывалась я и шутками, и советом пригласить человека религиозного и постарше себя, ничто не помогало. Не хотелось мне оставлять на ночь сынишку, так как ехать за невестой нужно было вечером, за двадцать верст. Но в конце концов пришлось согласиться.

С утра в этот день был сильный мороз, а к вечеру поднялась вьюга. Меня укутали, как истукана, не пошевелиться. Выехали мы часов в шесть вечера, до Томска на заводской лошади, а дальше должны были ехать на ямщике. На заводе вьюга нас не пугала, но когда выехали за околицу заводского поселка, увидели и почувствовали, что придется перенести бурную непогоду. И действительно, прошло десять-пятнадцать минут, как кругом закрутило, завывало и понесло целыми снежными тучами, резкие, холодные порывы воздуха гнали колющие иглы сразу со всех сторон. Точно буря решила показать всю силу, всю дикою красоту своей мощи. Скоро мы потеряли из вида и завод, и дорогу, мы погрузились в белесоватое, волнующееся пространство. Лошадь поминутно останавливалась, вздрагивала всем телом. Кучер советовал вернуться: к дому лошадь найдет дорогу – говорил он. Но как же вернуться жениху и что подумает невеста?

Нет, надо ехать, и мы продолжаем с трудом двигаться в снежном вихре без уверенности, что едем куда следует. Холод еще не проник чрез громадную шубу, меня окутывавшую, но внутренняя дрожь и тревога усиливается. Лошадь то стоит, то медленно движется, борясь с ветром и снежными буграми. Мы, точно в лодке по волнам, переваливаемся и кланяемся. Время тянется тоскливо и, кажется, едем мы не одни уже сутки. Как то накормят и уложат сынишку – мелькает в голове. И такой теплой, уютной рисуется мне наша комната. А кругом все свирепеет завывание. Моментами кажется, что разыгравшаяся стихия в бешеной пляске смеется над маленькими созданиями, дерзновенно называющими себя венцом природы: полюбуйте на мою мощную силу и посбавьте спеси – ревут снежные волны. Невольно приходят на память слышанные раньше ужасы во время бури, когда человек совершенно обезоружен, чтобы бороться со смертью. И мы бродим в этом вихре около двух часов. Жених совсем приуныл : невеста еще верст за пятнадцать от Томска.

Но вот утешительница надежда: чувствуем, что поднимаемся круто в гору, значит, все же движемся к Томску. Кучер ласково подбодряет «Рыжак». А минут через десять на момент блеснул с боку огонек: точно снежная завеса раздвинулась и указала, как держать путь. Почувяв жилище, и «Рыжак» отмечает ржанием, что опасность миновала. Мы въехали в город со стороны Елани, хотя и далеко от нашего проезда. В городе сравнительно тише, тем не менее люди попрятались.

«Что же нам делать?» – спрашиваю Киселева. «Я поеду дальше, а вы переночуйте в городе». Куда же мне деться? – соображаю я, вставши из саней недалеко от библиотеки Макушина: с завода я почти не выезжала и не интересовалась адресами томичей. Смотрю, а Киселев уже направил лошадь в татарскую слободку, чтобы нанять ямщика. Я совершенно растерялась, кругом ни души. Что же это – на томских улицах замерзнуть буду?

Но в этот момент точно из области подсознательного выплывает отрывок разговора мужа с товарищем Девелем : заходите в номера Александровского на углу Магистратской. Эврика! Ну, а он проводит к Марусе, наверное знает ее адрес. И тепло охватило меня еще на улице, только руки мои бесконечно ныли и на всю жизнь остались зябкими.

Много дал впечатлений этот вечер – и приятных, и смешных, особенно после страхов, перенесенных в снежной буре, но боюсь утомлять ими внимание читателя.

Утро после бури было тихое, ясное, морозное. Киселев благополучно привез свою невесту, и на свадебном вечере публика лихо распевала и отплясывала.

Но это событие случайное, проходящее. В общем же заводская жизнь под зорким наблюдением «самого» была тягучая, нудная, шли, так сказать, очередные недовольства, огорчения: то волнуются рабочие за отказ в самых ничтожных требованиях, В связи с этим подозрения, кто начал, откуда пошло. Машиной оторвало пальцы у масленщика, там, на скотном дворе свирепый племенной бык изуродовал пастуха и прочее, и прочее. Все это нервирует, делает еще более постылой жизнь на заводе.

Ближе к лету, со светлыми днями, чаще появлялись у нас товарищи из Томска, и в одиночку, и компаниями, внося иные интересы сообщениями о ссыльных с разных мест, о том, что делается в России, о литературе и прочем. Конечно, путешествия ссыльных на завод, за черту города, что по закону ссылки без особого разрешения не допускается, были известны жандармерии, которая ждала только случая, чтобы прекратить эти вольности. И, действительно, как только Мерцалов оставил пост губернатора, администрация потребовала удаления с завода полит-ссыльных

До начала лета наше пребывание там , как-то затянулось. Но вот беззаконие совершила почти вся томская колония. В Сибири быстро происходит смена в природе. Помню, девятого мая, после сравнительно теплых дней, выпал глубокий снег с морозцем, а через неделю-две стояла мягкая теплая погода. С наступлением весны, когда холмистая местность кругом зазеленела, зацвела, товарищи из Томска посещали нас чаще.

В одно из воскресений, уже в конце июня, желая провести день среди природы, явилась большая компания, семейные с детишками, и расположились на одном из холмов недалеко от завода. Явился гонец и за нами. День был теплый, ясный. Компания самая приятная для сердца, и кажется, в первый раз мы согрелись и радовались среди сибирской природы. А тут еще с другими ребятами топчется и мой воскресший мальчик.

Все были оживлены, довольны, пели хором и в одиночку, вели речи, споры, пили, ели. Любители природы бродили кругом, любуясь, действительно, красивыми пейзажами. Впервые за холмом я увидела и была поражена, что так близко от Фуксманского засоренного двора стоят чистенькие, уютные строения, церковка, около которой среди зелени разбросаны могильные плиты. Дальше – большие пчельники. Это имение Степановка, о существовании которой до тех пор я не знала. Слышала только, что какой-то чужак на соседней заимке в течение всей зимы, не пропуская самых морозных дней, купается в прорубе, Отчего (де) человек тот здоровый и бодрый до старости.

Светло и приятно провели тот день. Нам, Ульяновым, и в голову не приходило, что это был и последний день нашего пребывания на заводе: веселье вышло вроде наших проводов. Вечером того дня Фуксман пригласил мужа в контору и сообщил ему, что посещение наших гостей в его владения он считает крайне неудобным, в виду явных придириков администрации. «И я просил бы прекратить их», – добавил он.

Ульянов поспешил успокоить его, сказавши, что завтра же и сам он оставит завод. И тут же сдал ключи от шкафа и конторки. «Ты не спишь еще? – спрашивает меня Ульянов, входя в комнату, – складывать свои пожитки придется: мне хочется, чтобы завтра же мы отсюда уехали». «Почему? Что случилось?» – спрашиваю, и он передал разговор с Фуксманом.

Имущество у нас небольшое и утром мы были готовы «препоясать чресла», чтобы двинуться «вперед». Еще раз выражается хозяином сожаление насчет утраты такого прекрасного работника, но что он, Фуксман, может сделать при современных российских порядках? Не могу не сказать несколько слов о моей ученице, жене «самого».

Когда мы покидали завод, ее уже там не было: ее благосклонно спровадили «проведать родственников», в юго-западном крае России. За восемь-десять месяцев она положительно сделала громадные успехи: научилась довольно бегло читать и вполне могла «записывать белье отдавая прачке».

II

За время нашего пребывания на заводе, благодаря сравнительно редким встречам, впечатления от томских товарищей тонули в мелочах заводской жизни. С переездом же в Томск и наша жизнь входит в общее с ними течение. Хотя каждая семья ссыльных жила отдельно, имела свою особую физиономию, свой быт, но характер ее, как по внешней окраске, так и по внутреннему содержанию приблизительно был общий.

Следует сказать, что воспоминания о томской колонии полит-ссыльных того времени представляют собой такой большой материал, что содержание его в предлагаемой статье полностью исчерпать невозможно, и из того, что подскажет моя память и что действительно пережито, буду писать кратко, избегая партийной полемики, счетов, споров.

Конечно, для истории революционного движения необходимы и абстрактные словопрения, особенно, когда вопросы касаются выработки программ, но я хочу говорить только о жизни сосланных, где революционные дела не заслоняют самого человека. Следовательно, не приходится говорить и о геройских подвигах, может быть совершенных тем или иным членом этой колонии, будучи на революционном посту: пишущими историю революционного движения они наверное отмечены.

Я буду говорить только о том, какое впечатление человек производил там, в ссылке. Выявлять образы друзей-товарищей из тумана далекого прошлого – дело трудное, но будем надеяться, что кто-нибудь из живших в то время в Томске дополнит, добавит, даст более яркое освещение того периода.

Томск, столица Западной Сибири, в то время представлял самый интересный пункт для высылаемых в Сибирь, и настолько большой культурный центр, что полит-ссылные терялись в нем, не чувствовали себя «белыми воронами».



С.В. Мокиевский-Зубок, с фото 1876 г. (из собр. Музея «Каторга и Ссылка»)

Хотя в те годы их было свыше сорока человек (Ф.В. Волховский, А.С. Хоржевская, П. Е. Попович с женой, А.А. Кропоткин с женой, братья Морозы: Иван и Максимилиан, С.Л. Чудновский, М.Н. Присецкая, А.Э. Языков с женой, [Степан Васильевич] Зубок-Мокиевский, Н.Д. Субботина, сестры Карниловы: Любовь и Александра*, Млодецкий, Ольховский,** М. Вл. Девель, Н.А. Преображенский, Н.О. Баранова***, П.Э. Шульц, П.Ф. Николаев-каракозовец с женой, Н. Кузнецов, Ковальский****, С.А. Жебунев, [Иван Андреевич] Злобин, [Антимоз Евдович] Гамкрелидзе, М.В. Булгаков, [Василий Апполонович] Стаховский, [Евгения Александровна] Верзилова, А.М. Колужный с женой, Чернявские: Иван Николаевич и Александра Владимировна, [поляк Владислав] Козловский и жена его Е.Д. Субботина, Любовец, В.П. Александров и жена его Л.В. Николаевская, Рублевы, Лебедевы, К.В. Станюкович с женой, Ульяновы, Снегирев, Кобылянский и другие*****).

Напротив, многие из них являлись желательными помощниками местным культурным работникам.*****

* В справочнике «Деятели революционного движения» значатся сестры Карниловы – Александра Ивановна (по мужу Максимилиану, или Максиму Семеновичу, Мороз), с 1883-го находилась в ссылке в Томске и Любовь Ивановна (по мужу Сердюкова), с 1883-го жила под надзором в Томске.

На сайте narodnaya-volya.ru опубликована подробная автобиография А.И. Корниловой-Мороз, в частности: *В 82 г. по так. назыв. конституции Лорис-Меликова, сестре моей [Любе] был назначен 5-летний срок ссылки и ее направили в г. Ишим. По моему прошению я получила разрешение жить с ней [вместо Кунгура] в Ишиме, где очутилась, наконец, в колонии ссыльных, среди которых были писатели — Мачтет и Сведенцов. Через год мы переехали в Томск. Там было много ссыльных: Ал. Ал. Кропоткин, Феликс Волховской, Соломон Чудновский, Мокиевский-Зубок, Влад. Александров по процессу «50-ти», его жена, Лидия Николаевская, осужденная за участие в Казанской демонстрации, Ульяновы, мой будущий муж, Максим Мороз, и другие. В Томске я служила в амбулатории для бедных.*

** По-видимому, речь идет о Мартыне Александровиче Млодецком (род. в 1852 г.), который приговором 14 марта 1877 г. был признан виновным в принадлежности к преступному обществу и сослан в Томскую губ., хотя затем проживал в Мариинске, но после окончания в 1892-м срока ссылки переехал в Томск.

То же самое – Ольховский, по-видимому, это Федор Францевич, который в 1870-х служил писцом в Петербургской пересыльной тюрьме, был арестован в январе 1879 г. и выслан из Петербурга.

*** Возможно, что речь идет о следующем революционере: Преображенский, Георгий Николаевич. Кличка «Юрист». Род. в 1854 г. Студ. Петерб. ун-та. Один из основателей Об-ва «Земля и Воля». После раскола присоединился к чернопредельцам. Арест. 9 февр. 1880 г. 8 июля 1881 г. выслан в Томскую губернию под надзор на 5 лет, где вскоре умер от чахотки. – narodnaya-volya.ru

Что касается Натальи Осиповны Барановой (1861-1927), то она была арестована Киевским жандармским управлением по обвинению в принадлежности к революционному кружку «Бычковцев» и в 1882-м выслана в Томск. В ссылке вышла замуж за активного деятеля народнического движения Льва Матвеевича Коган-Бернштейна.

**** По Павлу Эдуардовичу Шульцу какие-либо прямые ссылки в Интернете отсутствуют, есть лишь косвенная: *Афанасий Алексеевич Данилов летом 1881 г. был привлечен к дознанию при Воронежском жандармском управлении вместе с гостившим у его матери в имении «Медвежья поляна» Павлом Шульцем, который 11 июля того же года разбрасывал по почтовому тракту народофильские прокламации.*

По Ковальскому тоже отсутствуют прямые ссылки в Интернете, есть лишь косвенная: *Дионисия Фоминишна Цертвич жила в Варшаве, под предлогом воспитания детей, нажитых с мужем, курским нотариусом. В 1879 г. ее учителем был, в том числе, А. Ковальский. После высылки, под строгий гласный надзор, к мужу развелась с оным и вышла замуж за А. Ковальского, за которым вскоре последовала в Сибирь. Жили сначала в Красноярске, а потом в Томске. Судьба детей от первого брака неизвестна.*

***** Станюкович Константин Михайлович (1843-1903), писатель, в 70-80-х гг. был близок к революционным кругам, с 1881 г. со-редактор, а в 1883-1884 гг. издатель журнала «Дело». В 1884 г. был арестован и выслан в Сибирь по обвинению в связях с «Народной волей». Было несколько революционеров Кобылянский и Кобылинский, но ни один из упоминаемых в Интернете в Томск не ссылался. Отмеченные в Интернете Снегиревы в Томск тоже не ссылались.

***** Многие из перечисленных ссыльных имели «богатую биографию». Мы отсылаем здесь читателя к электронному справочнику «Деятели революционного движения», который легко находится по соответствующему поиску, на хостинге slovari.yandex.ru



Н.Е. Кузнецов, с фото 1878 г. (из собр. Музея «Каторга и Ссылка»)



И.А. Злобин, с фото 1878 г. (из собр. Музея «Каторга и Ссылка»)



А.Е. Гамкrelидзе, с фото 1886 г. (из собр. Музея «Каторга и Ссылка»)



В.А. Стаховский, с фото 1878 г. (из собр. Музея «Каторга и Ссылка»)



Д.Г. Любовец (Легеня-Любовец), с фото 1875 г. (из собр. Музея «Каторга и Ссылка»)



В.П. Александров, с фото 1870-х (из собр. Музея «Каторга и Ссылка»)



Л.В. Николаевская-Александрова, с фото 1870-х (из собр. Музея «Каторга и Ссылка»)

Конечно, Томск, как и столица Восточной Сибири, Иркутск, имели свою деятельную интеллигенцию, своих сибирских патриотов, которые стремились поднять развитие населения, открывая библиотеки, устраивая лекции, организуя газеты и прочее. И таким путем будили жизнь Сибири, служившей искони местом проклятия, местом ссылки отверженных обществом и неудобных для правительства России.

Такие культурные деятели, как П. Ив. Макушин, Н.М. Ядринцев, Г.П. Потанин, научные работы которого известны не только в России, своей неиссякаемой энергией и самоотвержением заслужили долгую память потомков этой обширной холодной страны*.

Но этих работников было мало и полит-ссылные, особенно в больших городах Сибири, всегда имели работу: люди с медицинским образованием, например в Томске, имели частную практику, а иные работали и в местной амбулатории (А. Ив. Карнилова, М.С. Мороз). С педагогическим образованием, в изобилии частные уроки.

Хотя, как педагогическая, так и медицинская деятельность законом ссылки запрещалась, но с течением времени на это нарушение администрация смотрела сквозь пальцы. Помню, как однажды обратился к мужу с усиленной просьбой «подогнать» сына-гимназиста полицеймейстер. Литературные силы, как Ф.В. Волховский, С.Л. Чудновский и др. принимали деятельное участие в издаваемой тогда в Томске «Сибирской газете».

Сотрудничали ссыльные и в Государственном Географическом обществе, вообще где требовались люди большого образования и развития, благодаря чему и работа шла продуктивнее, интереснее. Сотрудники «Газеты», например, давали массу материала, освещающего все уголки Сибири, что достигалось благодаря сношениям с ссыльными во всех городах и местечках. Зная, что смешное убивает врага вернее рассуждений, на страницах «Газеты» часто в юмористическом виде изображались расправы с обывателями сибирских сатрапов от заседателей до губернаторов, Конечно, величая этих героев вымышленными именами.

* Петр Иванович Макушин (1844-1926), общественный деятель и меценат, книготорговец, издатель, купец, один из зачинателей книжного дела в Сибири. Николай Михайлович Ядринцев (1842-1894), известный публицист и сибирский общественный деятель. Григорий Николаевич Потанин (1835-1920), русский географ, этнограф, публицист, фольклорист, ботаник, один из основателей сибирского областничества.



С.Л. Чудновский, с фото 1878 г. (из собр. Музея «Каторга и Ссылка»)

Царапала «Газета» и тобольского губернатора Лысогорского, и иркутского [\[генерал-губернатора\]](#) Анучина, за что, конечно, несла и кару.*

Томский губернатор, в первое время Мерцалов, напротив, позволял себе иногда либеральничать с видными ссыльными, как А.А. Кропоткин, Волховский, говоря, что и он вскормлен одним с ними «молоком», одной и той же прогрессивной литературой, и снисходительнее относился к местной газете. Редактор ее Адрианов старался уже блюсти осторожность и сдерживать горячих сотрудников. Вообще «Сибирская газета» в то время стояла на страже общественной совести и ее язычка опасались не только воротилы-капиталисты.



А.В. Адрианов

* В.А. Лысогорский служил тобольским губернатором в 1878-86 гг., Д.Г. Анучин – иркутским генерал-губернатором в 1879-1884 гг.

Позднее в 1885 году принял в ней участие высланный в Томск К.М. Станюкович, художник-бытописатель жизни на море. Повесть его «Не герой» тянулась фельетонами в «Газете» несколько месяцев*. Главы этой повести автор, очевидно, писал экспромтом, небрежно, пред сдачей их в типографию. Однажды Волховский спрашивает Станюковича: «Что в следующем номере думает предпринять ваш "Не герой"»? «Еще не знаю. Вот вечером поговорю с ним», – отвечает серьезно Станюкович. «Константина Михайловича следовало бы сослать не в Томск, а куда-либо к морю», – смеется кто-то из товарищей, намекая на то, что изображаемая им жизнь на суше не так увлекательна.



К.М. Станюкович, 1880-е

Вспоминая томскую колонию полит-ссыльных, невольно удивляешься ее интересному составу. Правда, наряду с выдающимися по образованию, по нравственному облику были люди и маленькие : к революционному движению вообще примыкали люди разных слоев и рангов, как по образовательному, так и социальному цензу, но едва ли в других местах ссылки можно было встретить такой состав. Причем разница в образовании, в развитии не мешала членам ее относиться друг к другу бережно, просто, как равный к равному.

Кажется, А.П. Чехов сказал, что для русской молодежи высшим курсом, пополняющим образование, служит тюрьма и ссылка. С этим нельзя не согласиться, особенно живя в такой колонии, какая была в Томске. Этот курс не узко специальный, а всесторонне пополняющий недочеты развития у недостающих его.**

* В 1870-е годы К.М. Станюкович часто бывал за границей и активно поддерживал там сношения с эмиграцией. За это он поплатился арестом в апреле 1884 года, заключением и высылкой в Сибирь (1885-1888). Поселившись с семьей в Томске, Станюкович сблизился с местными ссыльными, сотрудничал в прогрессивной «Сибирской газете» и напечатал в ней ряд статей, фельетонов и роман «Места не столь отдаленные» (1886-1887), окончательное название – «В места не столь отдаленные». – *Из Интернета*

** А.П. Чехов имел, как будто, противоположное мнение о «тюрьмах и ссылках» (высказанное, правда, еще до пребывания на Сахалине):

Как это ни грустно и странно, мы не имеем даже права решать модного вопроса о том, что пригоднее для России – тюрьма или ссылка, так как мы совершенно не знаем, что такое тюрьма и что такое ссылка. Взгляните-ка вы на нашу литературу по части тюрьмы и ссылки: что за нищенство! Две-три статейки, два-три имени, а там хоть шаром покати, точно в России нет ни тюрьмы, ни ссылки, ни каторги. Уж 20-30 лет наша мыслящая интеллигенция повторяет фразу, что всякий преступник составляет продукт общества, но как она равнодушна к этому продукту! – «Из Сибири»

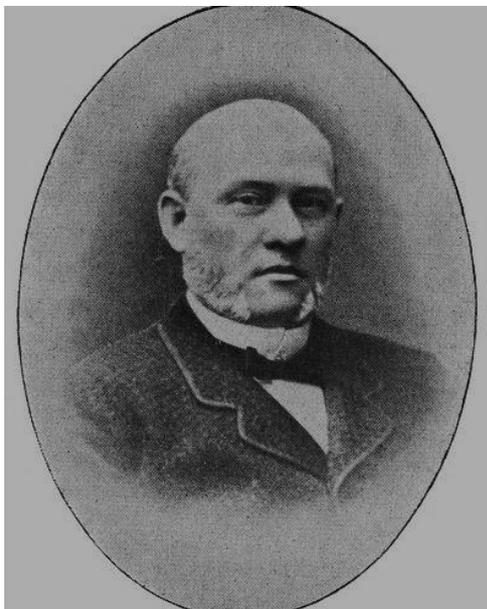
К сожалению, приведенную А.П. Ульяновой цитату найти в Интернете не удалось.

Нечего говорить, что в нашей колонии не было каких-либо осложнений, ссор, что так часто переживалось в других местах ссылки, где без работы, без новых впечатлений ссыльные кипели в собственном соку, благодаря чему часто мелочи приводили к крупным недоразумениям. К томской колонии, напротив, обращались с других мест с просьбой помочь разобраться, водворить мир.

С удивлением и вопросами встречали нас в квартире Языковых, увидя, что приехали мы со всем «барахлом», как говорят сибиряки. «Вчера на холмах Степановки так понравилась быть с вами, что сегодня же решили повторить это удовольствие», – смеется Ульянов, и в кратких словах передает, что случилось. «Это хорошо, что вы так круто успокоили беспокойного», – говорит А.Э. Языков. «Вот сюда, в эту комнату. Располагайтесь, как вам удобней», – приветливо встречали хозяева, помогая перетаскивать с телеги узлы и узелки. И мы сразу попали точно в родную семью, которой только и недоставало [после] нашего приезда.

С первого дня жизнь городской ссыльной братии захватила и нас. Кажется, в этот день в томскую пересыльную тюрьму прибыла большая партия политических, состоящая из каторжан, поселенцев и частью административных, по преимуществу южан. Это было лето 1883 года. Невольно вспоминается волнение и тревога следовавших за каторжанином Звонкевичем жены и дочери, которого вместе с Поповым отделили от партии и поместили в местной централке, чтобы обрить им полголовы, как беспокойным членам партии*. Эта мера до прибытия на место к политическим редко применялась. Все мы крайне возмутились этой дикой операцией и решили искать защиты от такого издевательства. Но получили ответ, что с пересылаемыми на восток поступят только по закону.

В это время томским губернатором был Ив. Ив. Красовский, добродушнейший старик, бывший инспектор московского университета. Благодаря Красовскому история с бритьем уладилась благополучно: каторжан не тронули до Иркутска.



Томский губернатор (1883-85) И.И. Красовский

* В конце марта 83 г. в Одесском военно-окружном судились: кандидат прав. Попельницкий – оправдан, Звонкевич, Майер, Попов – каторга без срока, Дрей, Матфиевич, Батогов, Иванайн, Николай Надеев, Куртеев – 15 лет каторги, Равенский, Валуев, Голиков, Сарычев – 10 лет. Фурсенко, Морейнис, Торгашев – 4 года. Евгения Степанова, Рейх, Немировский, Клименко, Карп Надеев и Филюков. – **Листок Народной воли. Социально-революционное обозрение №1**

Много проходило политических на восток в 1883 году: после убийства Александра II, 1-го марта 1881 года, воцарившийся Александр III чистил Россию от крамолы, благодаря чему не только в Петербурге, но по всем городам и весям хватали заподозренных и спешили удалить «куда Макар телят не гонял».

В таком придорожном пункте, как Томск, с вместительной пересыльной тюрьмой, где партии в ожидании приказов для дальнейшего пути иногда задерживались неделями, местной колонии ссыльных было много забот, чтобы как-нибудь и чем-нибудь оказать помощь идущим в Якутскую область и другие восточные суровые места, так как в большинстве публика шла неимущая.

Немало было и таких, которые отправлялись в холодный край в той легкой одежде, в которой их арестовали. И, надо сказать, наша колония в этом отношении принимала горячее участие: помимо кассы взаимопомощи, средства которой шли на поддержку товарищей в местах, где нет заработка, на посылки с оказией карийцам и прочим, еще усердно хлопотали о теплой одежде, обуви, белье, и вообще обирали себя добросовестно.

В смысле снабжения одеждой неистощимой была Надежда Дмитриевна Субботина (Субботины: дочери судились по «делу пятидесяти», мать по «процессу 193-х»), по мужу Зубок-Мокиевская: точно она владела неиссякаемыми складами, и когда являлась нужда в одеянии, особенно для детей, прежде всего, обращались к Надежде Дмитриевне*.

* Мать Софья Александровна Субботина (1830-1919), в девичестве Иовская, привлекалась к дознанию по делу о пропаганде в империи и 5 мая 1877 г. была предана суду Особого Присутствия Правительствующего Сената по обвинению в составлении противозаконного сообщества, в участии в нём и в произнесении «дерзких слов» по адресу Александра II («процесс 193-х»). Была выслана вместе с младшей дочерью Надеждой в Вятскую губ., в 1880 г. им было разрешено переехать в Томск. В 1881 г. была привлечена в числе 52-х лиц к дознанию по делу о «Красном Кресте» «Народной Воли», ввиду обнаружения её адреса в списке лиц, могущих оказывать содействие политическим ссыльным. При обыске были обнаружены списки и переписка, указывавшая на снабжение ссыльных деньгами. После заключения в Томской тюрьме была выслана в Восточную Сибирь.

Старшая дочь Евгения Дмитриевна Субботина (1853-после 1930-го), в замужестве Козловская, привлекалась по двум дознаниям: по делу о пропаганде в империи («193-х») и по делу о противоправительств. пропаганде («50-ти»). По выс. пов. 19 февр. 1876 г. по первому делу освобождена от взыскания за недостатком улик, а по второму – предана 30 ноября 1876 г. суду особ. прис. Сената по обвинению в составлении противозакон. сообщ-ва и в участии в нем («процесс 50-ти»). Выслана в Восточную Сибирь, в 1885 г. было разрешено переехать в Томск.

Средняя дочь Мария Дмитриевна Субботина (1854-1878), осенью 1874 г. вместе с Л. Фигнер, В. Александровой и другими возвратилась из-за границы в Россию и была привлечена к дознанию по делу о пропаганде в империи («193-х») в связи с арестом в сентябре того же года ее матери. Обязана подпискою о невыезде из Курска. По выс. пов. 19 февр. 1876 г. освобождена по этому делу от взыскания за недостатком улик. В 1875 г. была привлечена к дознанию по делу о противоправительств. пропаганде («50-ти»). Признана 14 марта 1877 г. судом виновною в принадлежности к противозакон. сообщ-ву со знанием его преступн. целей и приговорена к лишен. всех особен. прав и преимуществ и к ссылке на житье в Томск. губ., причем суд ходатайствовал ввиду ее болезни о замене сибирской ссылки ссылкой на житье в Самарск. губ. По выс. пов. 14 авг. 1877 г. ходатайство суда удовлетворено. Осенью 1877 г. отправлена в Новоузенск (Самарск. губ.), где умерла от туберкулеза горла 8 февр. 1878 г.

Младшая дочь Надежда Дмитриевна Субботина (1855-после 1930-го), по мужу Мокиевская-Зубок, была привлечена к дознанию по делу о пропаганде в империи («193-х») за «подозрительный образ жизни, распространение среди воспитанниц Орловск. женск. гимназии идей о необходимости пойти в народ и за привоз из-за границы запрещен. книг». Предана 30 ноября 1876 г. суду особ. присутствия Сената по обвинению в составлении противозакон. сообщ-ва, в участии в нем и в распространении печатн. сочинений, имевших целью возбуждение к бунту и явному неповиновению верховн. власти («процесс 50-ти»). Признана 14 марта 1877 г. виновной в составлении в 1875 г. противозакон. сообщ-ва и приговорена к лишен. всех особ., лично и по состоян. присвоен. прав и преимуществ и к ссылке на житье в Томск. губ. А после суда 18 июля 1877 г. в сентябре того же года была водворена в Нарыме; по болезненному состоянию переведена в Каинск Томской губ., а в июле 1880 г. – в Томск, где вышла замуж за Ст. Мокиевского-Зубка. Арестована в Томске 7 янв. 1881 г. в виду нахождения ее имени в списке Яковенко (дело о «Красн. Кресте» «Нар. Воли»). – *«Деятели революционного движения»*



*Софья Александровна Иовская-Субботина, с фото 1874 г.
(из собр. Музея «Каторга и Ссылка»)*



Мария Дмитриевна Субботина, с фото 1876 г. (из собр. Музея «Каторга и Ссылка»)



*Евгения Дмитриевна Субботина-Козловская, с фото 1875 г.
(из собр. Музея «Каторга и Ссылка»)*



*Надежда Дмитриевна Субботина-Мокиевская, с фото 1874 г.
(из собр. Музея «Каторга и Ссылка»)*

Такие альтруисты, как Маруся Присецкая*, С.А. Жебунев, А.И. Корнилова и другие, получавшие на свое содержание от родных, из дома, считали преступлением позволить себе какую-либо роскошь в смысле удобств жизни. И, конечно, наша касса имела значение в смысле оказания существенной помощи главным образом благодаря этим ее членам, особенно взносам А.И. Корниловой. Довольствуясь маленьким жалованием, получаемым в амбулаторной лечебнице, Корнилова все значительные суммы, посылаемые ей каждый месяц богатым отцом, тратила на нужды других.



А.И. Корнилова-Мороз, с фото 1877 г. (из собр. Музея «Каторга и Ссылка»)

* Мария Николаевна Присецкая принадлежала к известной семье революционеров-народников. Весной 1881 г. вступила в харьковский «Южнорусский рабочий союз», впоследствии возглавив его. За участие в союзе была приговорена к ссылке в Каинск Томской губернии (ее сестра Софья Присецкая-Богомолец – на Карийскую каторгу). – *Из Интернета*

Даже томские бедняки подвалов и чердаков, куда ее приглашали, как городскую акушерку, долго помнили скромно одетую в старенькое платье с белым передником девушку, приходившую к ним, с запасами белья для больной и ребенка и с необходимой пищей для них.

Невольно вспоминается характерная для этой ригористки сценка, однажды ее сестра Любовь Ивановна, С.Л. Чудновский и я лакомились земляникой с молоком. Дело было в июле, когда эта «роскошь» пустяков стоила. В это время входит Александра Ивановна. Увидев, чем мы занимаемся, от негодования она не сразу нашлась, что сказать, только ее большие глаза метали молнии. «Прячьте скорее под стол!» – смеется Чудновский. «Вы еще смеетесь, – негодует Александра Ивановна, – можно ли позволить себе такую роскошь, когда в пересыльной партии многие идут на восток только в казенных халатах».

Мы с Чудновским сдерживали свои улыбки, а Любовь Ивановну, такую же альтруистку, слова сестры привели в уныние, она искренне огорчилась своим поведением: «Ах, Сашенька, что же мне делать, если я такая слабая и не могу так жить, как ты. Да и какая я социалистка, у меня вон на дворе своя корова», – и ее чудные лучистые глаза подернулись печалью. От этих слов, сказанных с таким искренним огорчением, мы все **вместе** с обвинительницей залились смехом: такой доброй, мягкой души товарища, какой была Любовь Ивановна Корнилова, редко встретишь (сестры Корниловы: Александра и Любовь Ивановны в Томск переведены в 1883 году после трех лет ссылки в Пермской губернии, см. 5-6 выпуск 40-го тома Энциклопедического словаря, там же см. и автобиографию А. Ив. Корниловой-Мороз).

И, конечно, никто и никогда не мог заподозрить ее в эгоизме. Компрометирующая же ее корова была в сущности кормилицей многих ребят нашей колонии, кроме своей семьи в пять человек. И все помыслы Любовь Ивановны в тот период, как и ее сестры, были направлены на то, как бы смягчить суровое положение товарищей в ссылке.



Л.И. Корнилова-Сердюкова, с фото 1878 г. (из собр. Музея «Каторга и Ссылка»)

Каждый год весной в магазине Михайлова бывала распродажа разных материй*. Пользуясь небольшой скидкой, А.И. Корнилова закупала теплого и крепкого материала для холодных мест ссылки, а затем мы с увлечением кроили, шили и устраивали посылки для восточных товарищей. Помню как заботливо готовили блузы и рубашки для одиннадцати солдат, высланных в Якутскую область за сношение с Нечаевым в Петропавловской крепости, как рассчитывали на высоких и средних ростом. И все это делалось с радостью: точно иначе жить и нельзя было.

Сравнительно недавно за дружеской беседой о прошлом, я прошу Александру Ивановну рассказать самое счастливое из ее жизни. Ее лицо сразу просветлело. «Самый счастливый день моей жизни? Да это, когда бежал из военного госпиталя П. А. Кропоткин. Когда он благополучно проехал в Финляндию». И она, помолодевшая, сияющая рассказывает подробности, как все произошло.**

Сестры Корниловы – из той плеяды идеалистов семидесятых годов XIX века, которые скромно, с любовью выполняли требования, выработанные уставом кружка Чайковцев, как бы ни были тяжелы эти требования.

III

Осенью 1883 года мы перебрались поближе к уроку, за который нам давали такой обильный обед, что мне не приходилось стряпать, и очень удобно устроились в светелке третьего этажа в доме молоканки, над самой Томью. Три дома молоканки на берегу Томи и в то же время в нескольких шагах от центра, библиотеки, почты и прочего привлекали нашу публику, и всегда 4-5 квартир в них были заняты «политиками». Да, кажется, и сама хозяйка имела слабость к этой незаконной публике, как дочь своего отца, пострадавшего за религиозные убеждения: ее не пугали частые посещения полиции и обыски.

Само собой в домах молоканки создался центр, куда часто заходила наша публика, рассеянная по территории города. Впрочем, был еще людный уголок для нашей братии на Воскресенской горе, в доме Орловых. Об этом доме следует сказать несколько слов. Непривлекательный по внешнему виду, развалистый дом Орловых в конце пятидесятых годов XIX века принадлежал временно невольному жителю Томска Михаилу Александровичу Бакунину, когда его, после усиленных просьб знаменитой родни, Александр II выпустил из Шлиссельбургской крепости. Этот ветеран сороковых годов, крутившийся в революционном вихре Западной Европы, перенесший все ужасы тогдашнего заточения в крепостях Германии, Австрии и России, дважды приговоренный к смерти, наконец высланный в Томск, где временно угомонившись, очевидно, решил подумать о своей личной жизни, об устройстве своего гнезда. Покупка им дома связана с его женитьбой на томичке Антонине Ксаверьевне Квятковской.

* Строительство здания складов торгового дома «Петров и Михайлов» по ул. Миллионной, 6 (ныне – часть просп. Ленина), началось в 1888 г. Строительство здания было в основном закончено в 1890 г. До 1918 г. в нем располагались магазин и склады торгового дома «Михайлов и Малышев» – в 1896-м купец Петров вышел из дела, и до 1902 г., пока не был основан торговый дом «Михайлов и Малышев», здание находилось под управлением Петра Михайлова. – *Из Интернета*

** Петр Алексеевич Кропоткин (1842-1921). В мае 1872 г., по возвращении из-за границы, сблизился с участниками петерб. кружка «чайковцев» и вступил в кружок. По поручению кружка, в ноябре 1873 г. составил записку «Должны ли мы заняться рассмотрением идеала будущего строя». Принял с зимы 1872 г., под фамилией Бородина, деятельное участие в революц. пропаганде среди рабочих, преимущественно среди ткачей на Выборгск. стороне, а также в составлении пропагандистск. литературы («Емелька Пугачев» и др.); читал лекции по истории западного рабоч. движения. Арестован 23 марта 1874 г. и привлечен к дознанию по делу о пропаганде в империи («процесс 193-х»). По личному распоряжению Александра II заключен в Трубецкой бастион Петропавловск. крепости, где находился с 27 марта 1874 г. по 20 дек. 1875 г., когда был переведен в Дом предвар. заключения. По болезни был переведен в арестантск. отделение Николаевского военного госпиталя, откуда 30 июня 1876 г., с помощью Веймара, Иванчина-Писарева и др., бежал. – *«Деятели революционного движения»*

Выдать дочь за известного всем «апостола разрушения», за человека, лишенного всех прав, обыватель Квятковский никогда бы не решился, но генерал-губернатор Восточной Сибири граф Муравьев-Апостол, дядя Бакунина по матери, будучи проездом в Томске, энергично вступился в сердечные дела племянника. Кипучий революционный деятель прилагал много усердия, чтобы украсить свою усадьбу и дом деревьями, дорожками, клумбами. Но пребывание Бакунина в Томске было кратковременно: не удержать ветра в поле, и скоро его собственность, перейдя в другие руки, сравнялась с окружающими ее серыми тонами.*

* Известный сибиряк Г.Н. Потанин хорошо запомнил слова М.А. Бакунина: «Два года посидеть в тюрьме полезно. Человек в уединении оглянется назад, на прожитую жизнь, обсудит свои поступки, откроет свои ошибки, словом, подвергнет строгой критике всю свою деятельность и выйдет из тюрьмы обновленным и усовершенствованным. Но восемь лет продержать человека в тюрьме – это самая верная система погупления человека». <...>Прибыв в наш город, он поселяется на квартире у мещан Бардаковых, чей двухэтажный домик находился на Магистратской улице. Старики полюбили нового жильца, от души восхищались его способностями и дарованиям. Как пишет историк А.В. Адрианов, частенько приговаривали: «вот ума палаты, был бы генералом!» <...> Михаил купил дом, который находился на Воскресенской горе, по Ефремовской лице (нынче она носит имя Бакунина) По описанию дом выглядел примерно следующим образом: деревянный, одноэтажный, длинный, низкий, он как бы врос в землю со своими низко спущенными большими окнами. Разделенный внутри на несколько небольших комнат. Противоположная сторона улицы кончалась высоким и крутым обрывом Воскресенской горы. Новосел решил разбить небольшой садик и пригласил для этого специалиста (говоря языком современным, ландшафтного дизайнера): склон оделся цветами, высадили и молоденькие деревца. Несколько слов о судьбе здания: само оно было снесено еще в 80-ые годы 19-го века, остался лишь флигель. Он простоял до 90-ых годов 20-го столетия, и тоже был разрушен. Можно предположить, что такому шагу, как решение «квартирного вопроса», предшествовало нечто очень глубоко личное: Бакунин надумал сделать ...предложение руки и сердца Антонине Ксаверьевне Квятковской.

<...>Чувство это было взаимным, девушка приняла предложение – стать женой Михаила Александровича. А еще оставалось покорить самую неприступную крепость – родителей: они ответили Бакунину решительным отказом. Но во все вмешался его Величество случай! Граф Муравьев-Амурский, генерал-губернатор Восточной Сибири, направлялся из Петербурга в Иркутск, по пути он остановился в Томске, желая увидеть своего родственника. Иногда столь влиятельное родство может сыграть на руку. Михаил поведал дяде о своем страстном желании жениться и препятствии, которое мешает осуществить задуманное. Дядя взялся помочь, ходатайствовать за племянника и наведалься в дом Квятковских. То ли само появление сиятельного графа произвело столь ошеломительное впечатление, то ли подействовали вкрадчивые речи Муравьева, рисующие скорое возвращение Бакунина в столицы и его блестящую будущность, но они сказали: «Да!»

<...>Молодые вели жизнь достаточно замкнутую, принимали у себя ограниченный круг лиц. Среди них – ветврач Герман и смотритель томского уездного училища Ананьин, которого прозвали «Шехерезадой» (он знал массу историй, анекдотов). Бакунин иногда навещался в кирху, думается, что только там можно было поболтать с немцами или французами. В доме имела своя библиотека – она связывает декабриста Батенькова и Бакунина. Когда первый покидал наш город, он продал книги Михаилу Александровичу с такими напутственными словами: «Сибирь – страна малопросвещенная и бедная книгами, нужно держаться правила не увозить из нее книг. Я уезжаю, но книг не увожу, а продаю вам и вам рекомендую, если поедете из Сибири, не увозите их, а продайте здесь же». В Томске же в доме Бакуниных стал бывать и Г.Н. Потанин, который прославится в дальнейшем как историк, путешественник, сибирский патриот.

<...>Уже в 1859-м по протекции дяди Михаил вместе с супругой перебрался в Иркутск, где поступил на службу в Амурскую компанию, а потом в золотопромышленное предприятие. Разумеется, что не это было пределом его мечтаний, он грезил возвращением в европейскую Россию, считал, что это случится довольно-таки скоро. Но в 1861 году его влиятельный покровитель граф Муравьев покидает свой пост генерал-губернатора. Оставались два варианта: терпеть, смириться или в очередной раз переломить судьбу и действовать. Как вам кажется, что он выбрал? Побег удался, сначала в Америку, а оттуда в Лондон. Бакунины жили в Италии и Швейцарии, где Михаил и скончался в 1876 году. – **Ольга Булгакова. Михаил Александрович Бакунин//Путь томича (made-in-tomsk.com)**

Венчание М.А. Бакунина и дочери обедневшего дворянина Ксаверия Васильевича Квятковского (состоявшего на службе у золотопромышленника И.Д. Асташева) – Антонины произошло 5 октября 1858 г., то есть до прибытия ссыльных Ульяновых в Томск.

Вот в этом самом доме, в квартире Языковых проживала наша размашистая молодежь, Млодецкий, Шульц, Ольховский, куда часто заходили «сочувствующие души» разделить время изгнания, надзора. Надо прибавить, что и сами хозяева этого дома, Орловы, были больше, чем сочувствующие революционному движению: двое из их семьи были привлечены при разгроме «Сибирского пути», организованного для бежавших с далекого востока, пути с целой сетью адресов, прятком по заимкам и прочим местам и высланы на восток (Орлов и зять его Юферов).*

Хозяйкой этой квартиры со сложной семьей была Ольга Николаевна Языкова-Прохорова. В семидесятых годах она была начальницей Костромской женской семинарии, которую закрыли за ее крамольный дух. Крамолу в то время усердно распространял в Костроме Зайчневский (имя Зайчневского встречается во многих статьях о революционном движении. См. исторический сборник «О минувшем» за 1909 год), деятельным учеником которого был А.Э. Языков, ставший мужем Ольги Николаевны**.

* Орлов Петр Алексеевич (1857-1884), во второй половине 70-х годов студент Казанского университета. Входил в студенческий народнический кружок; впоследствии примкнул к чернопередельцам. Арестован в марте 1880 г., в сентябре того же года выпущен под надзор полиции. Жил в Томске, участвовал в деятельности «Красного креста» «Народной воли». Арестован в январе 1882 г.; сослан в Сибирь.

Народоволец Борис Дмитриевич Оржих рассказывает: *...Самый энергичный и деятельный член группы. Вместе с ним я ездил до Мариинска (210 верст тогда по колесной дороге от Томска), где старательно подготавливали побег для Мышкина, Войнаральского, Ковалика, Рогачева и других, пересылавшихся летом 1881 года из харьковских централок – (Борисоглебской и Новобелгородской) на Кару – в Карийские каторжные тюрьмы, Забайкальской области. Намеченный нами побег с одного из этапов близ Мариинска оказался трудно осуществимым и рискованным ввиду пребывания партии на этапе всего в течение одного дня. Тогда мы на купленной нами телеге и паре лошадей вернулись в Томск. Но, ввиду поднадзорности Петра Орлова и рискованности вторичной долгой отлучки для него, меня отправили уже одного снова на восток искать путей для побега. <...>Сказал плачущей матери, что еду, к товарищу на прииск (она отлично понимала, что я скитаюсь по революционным делам), и поспешно побежал в дом Юферова, откуда Петр Орлов отвез меня на той же телеге на первую почтовую станцию в 30 верстах от Томска <...>Я создал себе независимое положение в семье, и мать и отец, хотя и роптали, но не осмеливались вмешиваться в мои дела после одного эпизода, когда я пригрозил совсем уйти из дома. Приблизительно в августе 1881 г., во время моего пребывания на разведках в Канске и Бирюсе, в Томск приехал Юрий Николаевич Богданович и Иван Васильевич Калюжный.*

Ввиду сильного разгрома сил партии в России, особенно в Петербурге и Москве, и недостатка в старых опытных революционерах, Богданович поехал в Сибирь искать и организовать в более широких размерах систематические побеги пригодных для ответственной работы ссыльных. Встретив в Томске готовую деятельную группу и убедившись, что Сибирь представляет благоприятную арену для поставленной им задачи, он проехал дальше в Красноярск, где объединил в партийную группу упомянутых мною лиц. В Томске был установлен центр, в который вошли почти все перечисленные мною томичи. Новая организация получила название «Сибирский Красный Крест», имея общей задачей организованную помощь ссыльным и главное – организацию побегов.

*В сентябре 1881 года, в виду того, что стало ясно, что отца моего нужно перевести куда-нибудь, где есть серьезные специалисты-психиатры, мы с матерью быстро и разорительно ликвидировали все дела и весь наш домашний обиход, торопясь захватить последний пароходный рейс из Томска до Тюмени, чтобы переехать в Одессу, на родину моей матери. С нами ехал и Юрий Богданович (Калюжный уехал раньше) с паспортом учителя гимназии Гаховича. Привез его на пароходную пристань – в шести верстах от города по отчаянно грязной дороге – Петр Алексеевич Орлов, с которым я простился здесь навсегда. Дальнейшая судьба его была очень печальна. Арестованный вскоре по делу Сибирского Красного Креста он, как и прочие томичи, сначала сидел в Томской тюрьме, потом был переведен в Петропавловскую крепость, где психически заболел. Отправленный на излечение в психиатрическую лечебницу, он оправился, был затем сослан в административном порядке в Енисейскую губернию, где покончил самоубийством, застрелившись. Он был старше меня лет на шесть или на семь, и мы были с ним как братья. – **С сайтов narodnaya-volya.ru и www.pseudology.org***

** Их сын Александр родился в 1874 г., в Петербурге. Его отец, дворянин Александр Эрастович (1847-89) отбывал заключение в Тверской тюрьме в 1881-м, потом отбывал ссылку в Томске в 1883-85 годах. Значит, родители привезли в Томск и малолетнего Сашу? Остальные двое детей – от первого брака О.Н. Прохоровой.

С полным самоотвержением, как хозяйка, Ольга Николаевна заботилась о всей компании, относясь ко всем с дружеским вниманием. Она как-то особенно умела утешить, успокоить огорченного. Хотя на ее долю жизнь скупой отпустила радости. Как человек большого образования, всегда стремящийся к книге, привыкший к быту обеспеченного интеллигента, она безусловно страдала от нудных мелочей, которые отрывали ее от умственных интересов.

Трогательно было видеть, как она своими близорукими глазами при чрезмерной рассеянности, без хозяйственного навыка старалась «вытягивать из пятаков рубли», или соображать, кому и из чего переделать для своих троих ребят. И кроме всей этих забот, она была и главной добытчицей для семьи: у нее, как владеющей европейскими языками и опытом учительницы, всегда были в изобилии уроки.

Однажды зимой встречаю ее на улице без шапки. «Что с вами?» – спрашиваю. «Как что, спешу на урок, опоздала». «Почему же с открытой головой?» «Ах, вот почему так холодно, ну ничего, добегу». С трудом заставляю ее покрыться оказавшимся у меня шарфом. Для себя у нее меньше всего оставалось времени и внимания.

Были, конечно, обязательные работы и у мужчин их компании, но они, как вообще мужчины, считали себя вправе располагать внеслужебным временем по своему усмотрению: они считали себя свободными от затяжных, липких домашних дел, которым несть конца, особенно когда в семье есть дети.

Александр Эрастович Языков был человеком широкой русской природы с эгоистически барскими наклонностями, которых не спрячешь и в самых наидемократических условиях. Всегда находчивый, остроумный, с легкой язвительной критикой ко всему окружающему, со снисходительным отношением к человеческим слабостям, он привлекал к себе молодежь, особенно мужскую.

Благодаря таким хозяевам, эта квартира всегда была нараспашку, всё и все в ней встречались приветливо, всегда приходили «вовремя». Для бесед, да еще с таким собеседником, каким был Александр Эрастович, жизнь давала много материала, особенно в восьмидесятые годы, когда на смену идеализма, народничества нарождалась проблема материализма. Вести, письма из России, «оказии», новые журналы, все встречалось с захватывающим интересом.

Нечего и говорить, что статьи Салтыкова-Щедрина, где сатирой облекались вопросы самодержавной политики, всесторонне осмеивались русские порядки того времени, доставляли публике минуты здорового, удовлетворяющего смеха. Много юмора творила молодежь и из своего пережитого по тюрьмам, на революционном пути. Насчет прекрасного будущего с увлечением строились разные утопии по имеющимся данным, а больше на «песке» и немало занимали публику.

А то затынет бывало «Эрастыч» протяжный мотив своим раскатистым голосом:

За Уралом, братцы, за рекой шайка собиралась

Эй, эй! знай гуляй! шайка собиралась...

подхватывает компания, стараясь заглушить, зашевелившееся негодование против неволи. И с особенным вкусом заканчивают песню словами:

Сладко выпьем, вкусно заедим, всего горе забудем,

а на столе остывший самовар, крошки весового хлеба и остатки сахара для «прикуски». Иногда, правда бывала на столе и бутылочка, селедка и черный хлеб, но публика в ребяческом довольном настроении находила источник веселья в самой себе.

Заражались иногда настроением молодежи и серьезные, старшие члены колонии, Чудновский, Волховский и другие. Даже скептически относящийся к «Воскресенской горе» и постоянно занятый каким-нибудь изобретением Михаил Владимирович Девель, или, как его за глаза называли «у нас в Тамбове», так как он весьма часто, защищая то или иное положение в споре, закреплял его фактами из своей революционной деятельности в Тамбове. Как талантливый агроном-практик, он занимал там значительное место в Земельном банке, был членом-оценщиком, пользовался доверием. Но, как революционер воспользовался своим положением и немало водворил по губернии революционного элемента в виде волостных писарей, землемеров, фельдшериц и прочих, которые в свою очередь не дремали и вели пропаганду социалистических идей, где только удавалось. Многие из революционной братии побывали «у нас в Тамбове», был там Гартман, были сестры Фигнер*.



М.В. Девель, с фото 1870-х (из собр. Музея «Каторга и Ссылка»)

* По-видимому, это Лев Николаевич Гартман (1850-1908), вот малая часть его «революционной биографии»:

В нач. 1878 г. присоединился к саратовск. поселению землевольцев (В. и Евг. Фигнер, Ю. Богданович, А. Михайлов и др). С 20 июля 1878 г. по 20 янв. 1879 г. служил волостн. писарем в с. Покровском (Новоузенск. у., Саратовск. губ.) с паспортом на имя Ник. Ст. Лихачева. Вследствие столкновения с одним из местн. купцов был вытребован к становому приставу; не дожидаясь ареста, скрылся из с. Покровского 20 янв. 1879 г. Жил некоторое время в Москве и Петербурге и весной 1879 г. по приглашению М.В. Девеля примкнул к тамбовск. землевольч. поселению. С 4 мая 1879 г. с паспортом сына саратовск. станового Вл. Троицкого устроился писарем Ивановск. вол. (Тамбовск. у. и губ.). Участвовал (?) на Липецк. съезде и сначала примкнул к чернопередельцам, но скоро отошел к народокольцам. Ввиду полученных летом 1879 г. нач-ком Тамбовск. ж. у. сведений о существовании в Тамбовск. губ. тайн. сообщ-ва подчинен негласн. надзору; в связи с этим уехал 14 июля 1879 г. из с. Ивановского. В авг. 1879 г. работал в Петербурге в динамитн. мастерской, изготовлявшей взрывч. вещества для предстоящих покушений на Александра II. По распоряжению Исполн. ком-та «Нар. Воли» выехал в Москву и в перв. пол. сент. 1879 г., проживая по паспорту саратовск. мещанина Ник. Сем. Сухорукова, купил небольшой дом, недалеко от Рогожск. заставы, расположенный около полотна Московско-Курск. жел. дор. Поселился в доме с С. Перовской, 19 сент. 1879 г. вместе с другими принял участие в подкопе под железнодорожное полотно. Скрылся после взрыва на Московск.-Курск. жел. дор., происшедшего 19 ноября 1879 г. Переехал в Петербург, откуда вследствие усиленных его розысков ему был организован, с помощью Вл. Иохельсона, в нач. дек. т.г. побег за границу. — «Деятели революционного движения»

Всегда деятельный Михаил Владимирович, не любил предаваться мечтаниям о воздушных планах, что он называл «большим тараканом», а всюду искал хотя небольшого, но практического дела: лучше маленькая рыбка, чем большой таракан – говорил он.

Отбывая первые годы ссылки в Нарыме, Михаил Владимирович с успехом фабриковал там сальные свечи, мыло, исполнял малярные и печные работы, применял и ко многому другому свою энергию, так как по его специальности, по агрономии, работы не имелось. Будучи в Томске, он надумал делать, между прочим, чернила: город большой, учреждений со «входящими» и «исходящими» достаточно, следовательно, мысль на месте производить чернила имела свое основание.

Надо сказать, что первая наша квартира по переселении с завода, недалеко от университетского парка, представляла собою одну комнату с небольшим закутком и подвальную темную, как колодец, кухню с открывающимся в нее люком, который представлял опасность для мальчика, и мы ею не пользовались. А приспособил ее Девель для своей лаборатории, где занялся производством чернил. Помню, что эта стряпня много поглощала сажи или чего-то черного, так как результаты часто отпечатывались на руках Михаила Владимировича. Но коварные чернила плохо оставляли след свой на бумаге, а вместе с водой, вопреки физическому закону, испарялись в пространстве, какого-то элемента в них не хватало, и фабрика закрылась. И досталось же фабриканту за эту «маленькую рыбку» от «Эрастыча» и других насмешников.

У живших в доме молоканки с их частыми посетителями тон жизни был серьезнее, более деловой, особенно когда в большой квартире этого дома поселилась А.И. Корнилова с М.Н. Присецкой. Конечно, и здесь жизнь проходила в разных тонах. Переживали и здесь минуты беззаветного молодого веселья, которое найдет возможность проявить себя в диких местах северо-востока. Здесь устраивали вечера с докладами в память того или иного революционного события. Переживали и горькие минуты с думами и соображениями, как помочь в несчастных случаях товарищам в захолустных местах. Нечего и говорить, как изощрялись в шифровании писем, особенно при сношении с Карой, подшивать в подопку блузы, рубашки или в головной убор предварительно смятые кредитки для товарищей, решающих бежать с дороги и прочее, и прочее.

Вообще много воспоминаний связано с этой квартирой (изредка пользовались для общих собраний большой комнатой в ремесленном училище, где смотрителем был муж Любови Ивановны Корниловой, Соловьев. Училище это построено и материально поддерживалось частным лицом, всесильным богатеем Королевым, который имел в Томске свыше десяти домов и во всех больших сооружениях, как театр, собор и прочее, принимал самое деятельное участие. Ему и нельзя иначе – говорили обывательницы – еще в молодости предсказано цыганкой, что жить ему до тех пор, пока будет строиться.*

Кстати, в нашу бытность там с этим строителем на закате его дней судьба сыграла милостивую шутку в подтверждение, что «любви все возрасты покорны»: очень полюбилась ему умная живая девушка С., у ног которой он с радостью сложил бы все свои богатства. Но, увы! должен был понять, что не все богатством возьмешь).

* Евграф Иванович Королев вместе с женой Евпраксией Семеновной в 1883 г. основали первое в Томске ремесленное училище, для чего пожертвовали 2 дома стоимостью 35 тысяч рублей, обстановку и инструменты на 20 тысяч рублей и капитал в 35 тысяч рублей. Соответственно сие учебное заведение было названо их именами.



Евграф Иванович Королев (1823-1900)

Компанией около этой квартиры главным образом велись дела кассы, сношения с ссыльными других мест. Некоторыми поддерживалась связь и с действующими в России. Тут же собиралась наша публика для встречи возвращающихся с востока, отбывших срок ссылки. Праздновали приезд бывших каторжан, путем амнистий получивших право на жительство в Томске, как например А.М. Колюжный, П.Ф. Николаев.



А.М. Калюжный (Колюжный), с фото 1870-х (из собр. Музея «Каторга и Ссылка»)

Приезд Петра Федоровича Николаева, каторжанина по делу Караказова, заинтересовал всех, все спешили познакомиться с ним, как с человеком, пережившим события шестидесятих годов и как с товарищем Н. Г. Чернышевского по жизни каторжной тюрьме. Его приезд внес много интересного в жизнь томичей. Я не буду передавать его рассказы о пребывании на каторге, затем в Якутской области, так как о нем, личности недюжинной и о его переживаниях в печати, имеются сведения.

Мне хочется только отметить свое личное впечатление, полученное от этого большого, грузного человека с детски ясными, светлыми глазами. Смотря на него, казалось, что жестокая полоса жизни с цепями каторги, с лишениями многих лет в Якутской области и не коснулась его бодрой мысли и крепкого духа. Только ревматизм расшатал сердце его могучего тела.

С почтительной любовью вспоминал Петр Федорович о Н.Г. Чернышевском, описывая его обстоятельное влияние не только на товарищей по несчастью, но и на стражу своей неволи. Как он, Чернышевский, сам оторванный от любимого дела, тоскующий о родной семье, умел шуткой, остроумным словом смягчить особенно горькие минуты неволи и тем поддержать падающих духом. Много вызвала споров повесть Чернышевского о жизни втроем, написанная в каторге под заглавием «Другим нельзя». Невольно рисуется возбужденное лицо Николаева при защите мысли, вложенной автором в эту повесть. Молодежь, особенно женская, не допускала, что при наличности чувств любви к одному, возможно такое сцепление, правильное раздвоение. Но зато прочтенные по переживаниям и по возрасту, как Языков, Кропоткин, особенно Волховский пускались в такие дебри психологии, что о выводах можно было только догадываться.*

* <...>я могу, пожалуй, привести и содержание самой повести, прося помнить, что мы не имеем данных для суждения, насколько мысли, в ней высказанные, следует принимать серьезно или считать простой шуткой, упражнением могучего и несколько юмористически в то время направленного ума среди казематной скуки и казематного безделья. Замечу, что заглавие повести было «Не для всех» (или « Другим нельзя»). Действующие лица: русская девушка и два ее поклонника. Оба умны, оба хороши собой, оба влюблены в нее. У обоих есть, конечно, свои особенности ума и характера, есть и недостатки; но все это природа распределила между ними так, что черты одного дополняют черты другого. Девушка и любит их обоих. Когда порой она решается отдать предпочтение одному из искателей, то чувствует так же, что другой образ ей приходится с болью отрывать от сердца, что те свойства души, которые приходится отвергнуть, тоже привлекают ее, и ей трудно от них отказаться. Тогда два друга-соперника решаются кинуть жребий, и один уступает с пути, исчезая куда-то без вести и навсегда.

Молодая женщина сильно чувствует все-таки потерю: любовь мужа не может дать ей полного успокоения. Она чахнет, и доктора советуют путешествие. На Великом океане их застает шторм. Корабль носится по волнам, без руля, с изорванными парусами, приблизительно так, как это происходит во многих романах с «захватывающей» фабулой, которые с большим юмором пародируются в этой части рассказа. <...>В последние мгновения, когда истощены все силы, – кто-то кидается к ним с острова на помощь, и они спасены. Но тут оказывается, что спасенные от ярости стихий, – они становятся жертвами насмешливой судьбы. Их спаситель – не кто иной, как все тот же, навсегда исчезнувший друг и соперник, и вопрос возникает вновь в форме, тем более трагической, что остров совершенно необитаем и они на нем единственные жители, окруженные со всех сторон насмешливо ревущим океаном. Разыгрывается целый роман со сценами мучений, ревности и безысходного отчаяния. Наконец, когда положение обостряется до последней степени, кому-то (кажется, именно молодой женщине) приходит в голову исход из невыразимо запутанного положения и притом исход, который если и грешит чем-нибудь, то именно излишней простотой. Зачем все эти мучения, ведущие к ненависти, к возможности убийства, к очевидной гибели всех троих, когда все дело в том, чтобы жить всем троим, то есть... втроем. Дело так ясно... Пробуют, – и после легкой победы над некоторыми укоренившимися чувствами – все устраивается прекрасно. Наступает мир, согласие, и вместо ада на необитаемом острове водворяется рай. <...> Повторяю, – я не могу сказать, была ли это простая шутка, или тут отразилась обычная черта времен «бури и натиска», когда подвергаются пересмотру все «общепринятые положения»... Во всяком случае, некоторый элемент шутки и лукавого юмора присутствовал в этом эпизоде несомненно. – **В.Г. Короленко. Воспоминания о Чернышевском**



П.Ф. Николаев, с фото 1890-х (из собр. Музея «Каторга и Ссылка»)

Отдавая все время научным трудам, всегда заваленный книгами, рукописями, Петр Федорович меньше всего заботился об удобствах жизни, хотя часто говорил, что «знания увеличивают и личные потребности человека». Несмотря на строго специальные труды по психологии, философии («Активный прогресс [и экономический материализм]», «Индийская философия» в изд. Солдатенкова) Петр Федорович был крайне общительный, отзывчивый. Удивительно нежно он относился к детям.*

Только было боязно за маленькое существо, как бы не уронил, не сокрушил кости ребенка этот большой, неловкий в движениях человек. Снисходительно относился он и к женщине вообще которой, как он говорил, и жизнь и природа наложила более тяжелые обязанности, рождение детей и все мелочи воспитания их.

В веселом, смехотворном виде рассказывал Петр Федорович о жизни в улусе, где в затяжные дожди приходилось спасаться на досках под столом, так как отведенная ему юрта по своей ветхости не могла уже защищать его от непогоды. «Вот сижу согнувшись в три погибели на досках под столом, читаю или пишу. Кругом равномерные звуки падающего дождя, а ноги то одна, то другая сползет с доски и незаметно для меня мокнет. Вот теперь и растирает Олечка». «Олечка», его жена, конечно, сумела бы устроить сухой уголок своему великану «Петрусю» и спасти его от мучительных ревматизмов, но он ее встретил после, в самом Якутске, где она акушерствовала.

В конце восьмидесятых годов мы одновременно с Николаевыми жили в Твери, через дорогу друг от друга и часто виделись. И в Твери Петр Федорович производил на публику обаятельное впечатление. Хотя временами недуги мучили его жестоко. Но дух его был всегда бодр.

Однажды на вечере тверского присяжного поверенного Р. не то памяти декабристов, не то встречи нового года народа собралось масса: были свои «бывшие» и «не бывшие» за Уралом, молодежь, только что высланная за беспорядки из столиц, местные с либеральными мыслями. Шум, споры, разговоры. Но вот слова – тише! Петр Федорович петь будет – быстро водворяют тишину. Эффектно, точно на возвышении, стоит Николаев и, улыбаясь, поглядывает на публику.

* Речь идет о следующем труде: Мюллер М. Шесть систем индийской философии. Перевод с английского П. Николаева. М., издание К.Т. Солдатенкова, 1901.

Публика напряженно ждет, уверенная, что то будет песня каторжан. Но певец, хитро улыбнувшись и приложивши руки к сердцу, с чувством запекает: «На заре туманной юности всей душой любил я девицу». И его звучный голос энергично, с чувством взывает к далекому, невозвратному. «Да, этого на всех хватит!» – говорит один из слушателей.

«Что может быть приятней для человека, как не стремление знать? Знание увеличивает требования, а при больших требованиях человек всегда не удовлетворен и неуклонно стремится вперед и вперед, что и важно для прогресса», – говорит П. Ф. Николаев, чему он и следовал на протяжении всей своей жизни.

Возвращался из Якутской области чрез Томск и Вл. Гал. Короленко, в 1884 году (о встрече Короленко с томичами я упоминаю в статье «Мое знакомство с В. Г. Короленко», см. сборник памяти Короленко, Н. Новгород, 1922). С радостью встретила наша колония молодого, талантливого писателя. Много говорил он о положении ссыльных в суровом краю, о его полудиком населении. Между прочим, прочитал собравшимся, тогда еще в рукописи, «Сон Макара». Много говорили о положении русской литературы, которая находилась в то время под тяжелым гнетом «недреманного ока», и только сатира Щедрина, в сущности недоступная массе, своим иносказательным языком затрагивала русскую действительность, русские порядки.

Сам Короленко произвел на всех чарующее впечатление: точно свежая струна прозвучала, оставивши по себе бодрящее чувство. Возвращались из ссылки люди разного настроения, но большинство – не утратившее желанья продолжать борьбу за идею. Бывший мастер на одном из Петербургских заводах, [\[Алексей Николаевич\]](#) Петерсон, возвращаясь из Якутской области, между прочим, говорил, что чем упорнее ссыльная братия отстаивает там свое существование физическим трудом, тем вернее сохранит в себе бодрость духа и желание вновь приложить свои силы на дело борьбы с деспотизмом. Сам Петерсон был полон сил и жажды кипучей деятельности.



А.Н. Петерсон, с фото 1870-х, (из собр. Музея «Каторга и Ссылка»)

Вспоминая эту бесконечную вереницу, преданных делу революции изгнанников, энергичных, многих с большими знаниями, образованием, невольно удивляешься наивности гонителей: перебросили за Урал или засадили в тюрьмы «неспокойный элемент» и решили, что могут жить припеваючи.

Очевидно, не соображали, что эти смельчаки несли в себе биение и трепет русской жизни, как священный огонь, искры которого уже были разбросаны по всей стране, и что гонение, как гигантские меха, раздували только эти искры.

IV

Следует сказать, что положение ссыльных в Томске в то время не могло служить оценкой ссылки в Сибири вообще, оно было исключительно благоприятно: состав колонии в большинстве интеллигентный, дружный, заработок имели все, и администрация особых придирок не чинила. Не то было в других местах особенно на востоке. «От такой компании не хочется и в Россию двигаться», – говорит возвращающийся с востока высокий брюнет (имени не помню). Он попал в Томск на встречу нового 1885 года. Встреча на этот раз была устроена в нашей квартире на Уржатке, состоящих из двух комнат.

Мы с соседкой-сибирячкой, Угрюмовой, напекли шанег, сухарей и прочей снеди, закупили к чаю сластей, но все в скромных размерах, так как собрали по двадцать пять копеек с человека. О спиртных напитках позаботились мужчины, и, надо сказать, тоже не широко. Вечер начали чтением какой-то запретной статьи, давшей материал к общему разговору.

Но подходящая с мороза публика сбивала серьезный тон рассуждающих об одном и том же «большом вопросе», и как только появилась на столе посуда, в которую приходилось разливать «поздравительное», публику обуяло невыразимое веселье: за неимением достаточного количества рюмок, наливали «по наперсточку» в чашки, стаканы, в столовые ложки и прочее, так как народу набралось сверх программы, человек тридцать.

И все, как дети малые, веселились всю ночь, произносились речи серьезные и смехотворные, рассказывались разные события из жизни на революционном пути, который тоже не лишен беллетристики. Писались, запершись в кухне, экспромты, что особенно интересно вышло у Кропоткина и у Волховского.

Последний с сарказмом нарисовал Александра III, во всех доспехах величия подметающим улицу провинциального городка, а Кропоткин – насчет величия звездного неба, которое улыбается на наивно ожидающих каждое первое января «нового счастья». Под звуки оркестра, состоящего из гребенки с натянутой бумажкой, что искусно проделывал Девель, и подходящего мотива плясали и русскую и малорусского казачка, что особенно хорошо выходило у С.А. Жебунева и А.С. Хоржевской.

Пропели, кажется, весь репертуар песен, особенно старинных народных, наверное приставленные к квартире зреть и слушать жалели, что они не в числе преступников. И публика своим весельем точно взывала «назло надменную соседку», что «жив, жив курилка, и еще сумеет побороться».

Лет через пятнадцать, будучи в Самаре, получаю письмо от С.А. Жебунева. После приветствий, сообщений о своей жизни, говорит – в разных обстановках приходилось встречать новый год, но такой беззаветно веселой, приятной встречи, как у вас на Уржатке в Томске никогда не переживал.

Наша колония действительно была дружная, сплоченная умственными и товарищескими интересами. Много зависело, конечно, от условий ссылки. Томская колония, например, никогда не испытывала книжного голода. Библиотека и книжный магазин Петра Ивановича Макушина имели все литературные новинки.

П.И. Макушин, известный всей Сибири работник просвещения, знал, как важно поставить книжное дело возможно шире, что библиотека и вообще книжная торговля не только приносит рубли предпринимателю, но, безусловно, поднимает развитие населения.

В молодости Макушин был народным учителем и к книжному делу подошел с ничтожными средствами, терпеливо его развивал и благодаря скромной личной жизни впоследствии сумел серьезно помогать и денежными средствами делу просвещения, служить «ликвидации безграмотности», говоря современным языком. Макушин, как поборник просвещения, один из выдающихся в Сибири.

В анналах Томского университета, наверное хранится его имя, как одного из крупных жертвователей на устройство этого храма науки.

С библиотекой П.И. Макушина и с его книжным магазином наша публика жила в постоянной дружбе, и немало вносила в книгу указаний, какую и откуда следует выписать книгу для библиотеки.

Заведующая библиотекой, Н.В. Угрюмова, сочувствующая политическим ссыльным, часто с пристрастием ставила их очереди первыми на новые журналы, особенно на те номера, где встречались статьи Щедрина, Михайловского и других. Эти статьи публика встречала с особенной радостью, и читались они обыкновенно вместе по несколько человек, причем, читая статьи по полит-экономии, публицистике, часто отыскивали иносказательный смысл, о котором и сам автор не думал.



Книжный магазин П.И. Макушина, дореволюционный снимок

Не так обстояло дело насчет нелегальной литературы: ее добывать было почти невозможно. А между тем потребность в ней была большая: ее жаждали ссыльные в разных захолустных местах, и кроме того у томских товарищей всегда была связь с местной молодежью, существовали кружки в средних учебных заведениях.

Особенно сильный кружок был среди семинаристов в духовной семинарии, откуда к Ульянову по конспиративным соображениям приходили только двое, Цитович и Павлов.

Удачным застрельщиком среди молодежи был Сергей Александрович Жебунев. Мягкий по характеру, беззаветно преданный идее социализма, истинный коммунист-альтруист, он быстро привлекал молодежь. Правда, потом ему требовалась помощь более сильного теоретика. Но, как пропагандист-вербователь, он был незаменим.



С.А. Жебунев, с фото 1878 г. (из собр. Музея «Каторга и Ссылка»)

Как сильна была нужда в революционно-руководящей литературе, показывает тот факт, что книжка «Исторические письма» Мартова, привезенная мною из России в пленках, а потом изгрызенная фуксманскими крысами и с трудом восстановленная, была переписана в Томске в двух экземплярах: один экземпляр семинаристами, а другой приказчиком железной лавки Парфеновым, имевшим связи с разночинцами.

В 1884 году был получен с оказией из Петербурга революционный «Календарь Народной Воли на 1883 год», где были помещены биографии С.Л. Перовской, Халтурина, руководящая статья Лаврова и прочее. Книжка была только в одном экземпляре, а так хотелось поделиться этой новинкой с другими местами ссылки.

Не помню, кому пришла мысль размножить на гектографе содержание календаря. Но взялись за это дело мы втроем: Павел Эдуардович Шульц, Мих. Вл. Девель и я, в надежде иметь 50-60 экземпляров.

Девель заказал по частям стол с плоским внутренним ящиком, в который можно было проникнуть, только снявши крышку. Бока стола, скрепы ножек нарочито сделаны пошире, чтобы посмотревши снизу, получилось впечатление, что стол без ящика. Между тем в плоском ящике вмещался гектограф величиной в пол-листа писчей бумаги и столько же места оставалось для отпечатанных экземпляров. Крышка стола накладывалась на основание и плотно прикреплялась потайными винтами (надо сказать, что этот стол вынес обыски, сохранивши свою тайну).

П.Э. Шульц в это время, расставшись с Воскресенской горой, жил на «вышке», в доме молоканки, в бывшей нашей квартире, с одним томичем Орловым, который, ничего не подозревая, каждое утро уходил на свою службу, а возвращался, заставая чаще всего беспечного соквартиранта играющим на гитаре. А между тем, в отсутствие Орлова, я приносила написанный химическими чернилами лист текста, а Павел Эдуардович отпечатывал его. Законченное уносилось к одному обывателю, приверженному к политикам, Вас. Никитичу Иванову.

Размножение всех статей календаря взяло у нас довольно много времени, но мы упорно провели дело до конца. «Лучше маленькая рыбка, чем большой таракан», – торжественно повторил свою любимую поговорку М.В. Девель при окончании дела.

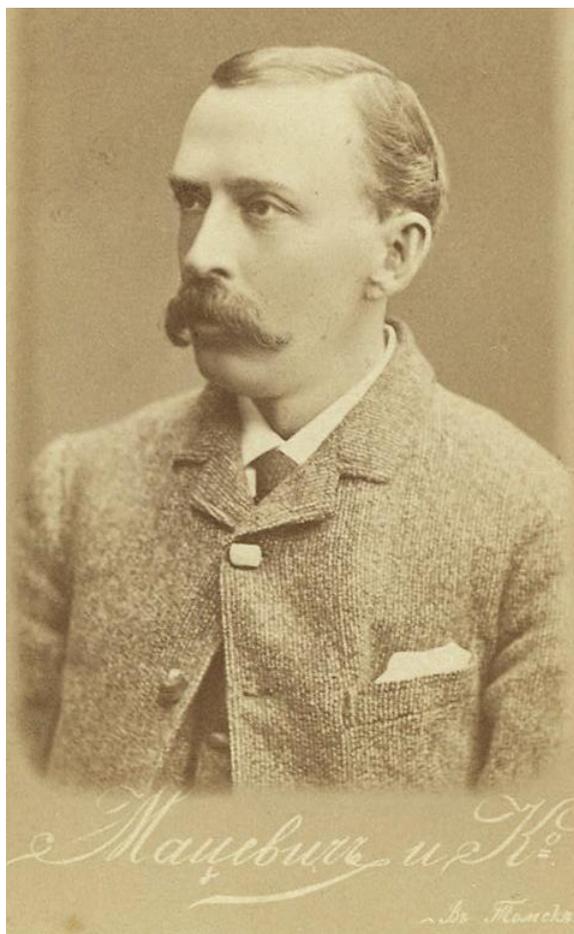
Эту «маленькую рыбку» мы провели так конспиративно, что никто из томских товарищей, не принимавших непосредственного участия, не знал.

По окончании работы, пришлось пускаться на всякие хитрости, чтобы разослать эту литературу в разные места. Посылали в коробках с душистым мылом, с печеньем, булками домашнего приготовления, с литературной начинкой и прочим. И только разославши таким путем и с оказией больше половины, пустили несколько экземпляров среди томичей. «Какой я вам гостинец принесла! – говорит А. Вл. Чернявская, – посмотрите!» – и она подает биографию Перовской, нами отгектографированную. Чувство удовлетворения работники испытывали большое, но молчали.

Много вспоминается мелочей, показывающих, насколько могут быть предприимчивы люди, зараженные идеей.

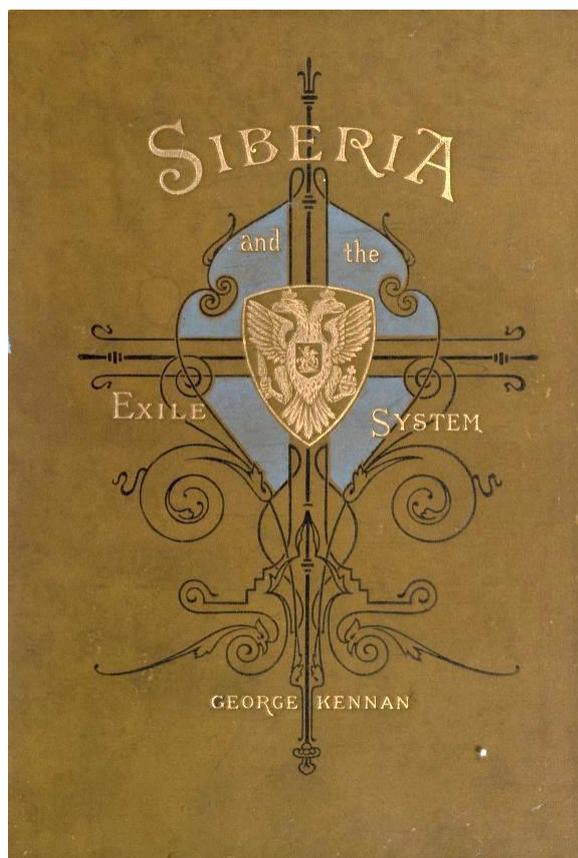
V

Но вот появились на нашем горизонте, в 1884 году, совершенно чужие люди, американцы. Кто знает книгу «Каторга и ссылка в России» Кенана, тому понятна причина и цель, по которой журналист мистер Кенан и его товарищ художник Фрост появились среди нашей компании*. Можно сказать, с жадным интересом наша публика отнеслась к их появлению уже по одному тому, что эти люди – граждане свободной страны, где нет политических ссыльных, где за распространение своих мыслей, исповедуемых идей, не преследуется.



Джордж Кеннан, Томск, 1885 г.

* Джордж Кеннан (*George Kennan*). Сибирь и ссылка. СПб, 1906; Он же. Жизнь политических арестованных в русских тюрьмах. СПб, 1906. На языке оригинала: *Siberia and the Exile System*. N.Y., The Century Co., 1891, 2 volumes.

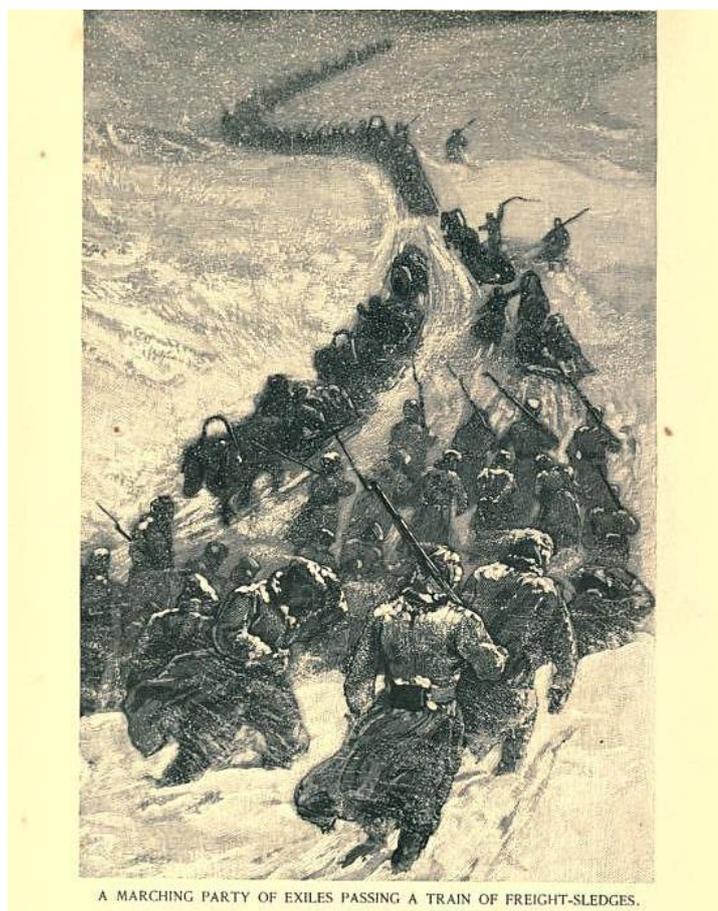


Наши правители разрешили этим чужим людям ознакомиться с местами заключения в России и в Сибири, а так же и с каторжными тюрьмами. Причем, в открытом листе, который был выдан Кенану начальником Главного тюремного управления Галкиным-Врасским, разрешалось осматривать только уголовные места заключения. Но ловкий американец под сурдинку, по возможности тайно, знакомился и с положением политссыльных.

Раньше, с экспедицией, организованной американцами, Кенан был на Камчатке для изучения этого края, и описание им этого путешествия переведено на русский язык под названием «Жизнь в палатках». После этого путешествия Кенан, заинтересовавшийся Россией вообще, изучил русский язык, познакомился с русской литературой, которая привела его в восхищение. Поразили его и «Судебные уставы императора Александра II 1864 года» своею гуманностью и установлением равенства пред судом всех сословий, о чем он с восхвалением писал в американских журналах.

Но в ответ на его восхваления Кравчинский указал, что Судебные уставы были хороши на бумаге и только в первоначальном виде, а затем быстро начали искажаться множеством циркулярных примечаний, так что в конце концов основные статьи этих уставов совершенно потонули в примечаниях и от них ничего существенного не осталось. Указал ему Кравчинский и на полное бесправие людей [наказываемых] в России за свои политические убеждения, – на административную ссылку по произволу жандармерии и администрации, заточение в тюрьмах, каторжные работы и смертную казнь.*

* По-видимому, это Сергей Михайлович Степняк-Кравчинский, который после убийства им в 1878-м шефа жандармов Мезенцева бежал за границу и больше в России не появлялся. Зато опубликовал за границей целый ряд произведений и статей, разоблачающих жестокости режима правления Александра II. Наиболее известны его вещи «Россия под властью царей» и «Подпольная Россия».



Одна из иллюстраций к книге Дж. Кеннана, худ. Джорджа Фроста

Этими сведениями Кенан был поражен, и, как энергичный американец, решил слова Кравчинского проверить на месте и двинулся в Россию для изучения всех этих явлений. Уголовная ссылка с ее тюрьмами его мало интересовала, но благодаря разрешению изучать ее, под ее, так сказать, флагом, он проник в гущу ссылки политической.

Тюрьма и ссылка политических захватила все внимание Кенана. К своему удивлению на этом пути он встретил даровитых и высокообразованных людей, нередко с обширными знаниями государственной и общественной жизни. И, где не мешала администрация, Кенан внимательно прислушивался к их словам, особенно к освещению ими русских порядков, политического строя.

По дороге на восток американцы вели себя осторожно при сношении с политссылными, чтобы не возбудить подозрения, которое могло бы помешать этой поездке: им было особенно важно увидеть самим положение каторжан и ссылных в суровых местах Сибири, и потому, направляясь к востоку, они старались сохранить свою «благонадежность» в глазах жандармерии и прочего начальства.

Томичи снабдили их адресами и прочими необходимыми сведениями. Но на востоке до многого американцев не допустили. Не видали они и суровых мест ссылки, как улусы обширной Якутской области и других жестоких мест.

На возвратном пути с востока, в Томске они пробыли около недели и почти каждый день виделись с нами.

Удивительное впечатление производили эти люди манерой наблюдать, брать впечатления от окружающего. Заинтересованный жизнью выбитых из колеи людей и понявши, что они ярче, чем кто-либо могут указать на ненормальные порядки в России, Кенан ухитрился в одно и то же время внимательно слушать собеседника, видеть, что делается кругом и спешно записывать интересное для него в своей записной книжке.

Владея русским языком и зная литературу, Кенан на лету схватывал смысл рассказываемого. Его товарищ Фрост только зарисовывал, слушал и посматривал.

Знакомили мы их и с разнообразными мотивами русских песен, была спета «Лучинушка», «Задуй-задуй непогодушка! и разные другие, до «Ах, вы сени мои сени». Выслушав нас, они вдвоем дали своеобразный концерт. Мистер Фрост дудел на дудочке, а Кенан подтягивал заунывным голосом мотив покоренных индейцев и американские мотивы. Но они сами нашли, что наши народные песни богаче и задушевнее.

Уголовная ссылка с ее тюрьмами его мало интересовала, но благодаря разрешению изучать ее, под ее, так сказать, флагом, он проник в гущу ссылки политической.

А что у вас в революции делают все эти «девшонки»? – спрашивает ломаным русским языком Фрост, указывая на сидящих у стола молодых женщин. Общая улыбка и смешки привели его в недоумение. Волховский, владеющий в совершенстве английским языком, объясняет ему, какую важную службу сослужила и служит русская женщина в деле революции, и американец, поднявши палец к носу, значительно произносит: О!

Между прочим Кенан приобрел арестантский халат с тузом на спине, чеботы, арестантскую шапку и кандалы. «Обрею полголовы и во всем наряде, с кандалами на руках и ногах, буду читать лекции о русских политических преступниках по городам штатов и заработаю много денег», – говорит практичный американец.

Собираемые от ссыльных сведения Кенан старательно записывал и спешно отсылал в Петербург на имя американского консула, опасаясь обыска и конфискации материала.

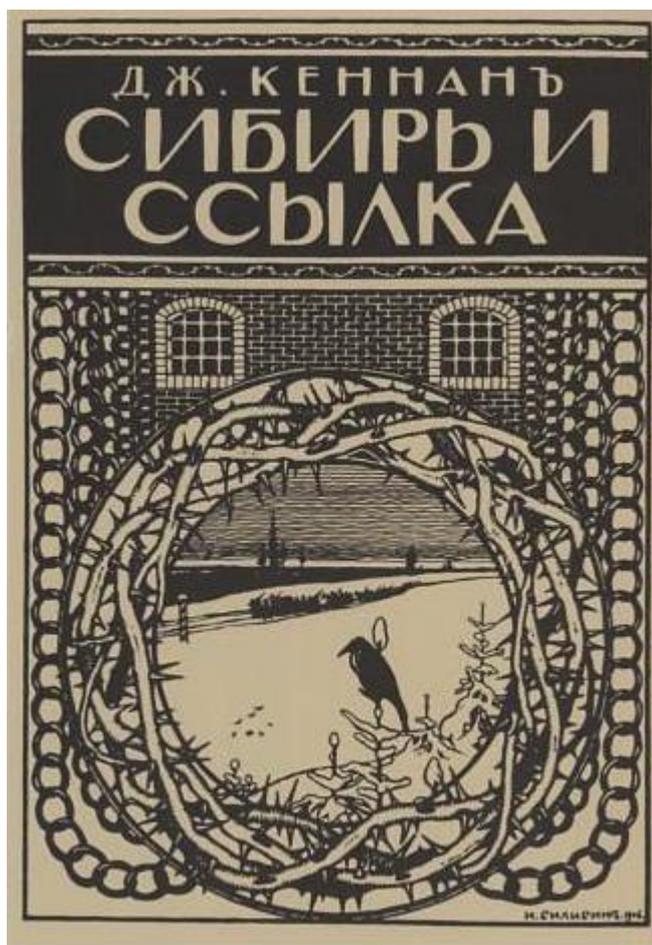
Поделился Кенан с нами и своими впечатлениями, полученными от посещения им Ясной Поляны. Отдавая должное великому писателю, его художественным произведениям, мистер Кенан, как настоящий янки, старался оценить виденное там и с практической точки зрения. «После умственного напряжения Льву Николаевичу, конечно, для отдыха необходима смена в своих занятиях, – говорил он, – но, только, думаю, не пашня: его пахание едва ли полезно для посева. А что касается дочери Льва Николаевича, которая в изящных туфельках сгребает сено, так надо сказать, что эта игра совсем не выгодна».

И всего более интересовало Кенана, что работа с сохой Льва Николаевича, как он слышал в России, является не как отдых, а служит кому-то в поучение. Тут уже начались толкования об идее смирения, сродства человека с землею и прочем. Но возражающие суровому суждению чужестранца сами толковали разно. Вообще людям из страны машин и долларов многое было непонятно, и прежде всего идеалистическое настроение и мечты русской молодежи: таких альтруистов, которые не только свое благосостояние, но и самих себя отдали бы на борьбу за будущее, они в Америке не встречали.

Непонятно им было и то, как среди ссыльных очутились люди в возрасте, люди большого образования, да еще после крупных реформ Александра II, когда такие силы требуются в стране для дела? Как могли они затесаться среди бунтарской молодежи?

Американцам странным казалось, что в России степень «неблагонадежности» определяется не только выступлением против правящих устно или письменно, но что проницательное начальство само «зрит в сердце» тех, кто и молчаливо расходится во взглядах с ними.

Многое из русской жизни им было непонятно. Где понять янки, например, то море тоски, что таится в русских песнях, созданных еще крепостным правом, которыми, как слезами, смывала с души горе несчастная женщина, или песни, в звуках которых переливается и радость, и горе, и мощь и бессилие сына беспредельной равнины. Тем более им трудно было понять таких идеалистов, тоскующих о прекрасном будущем для человечества, как Александр Алексеевич Крopotкин и многие другие.



Издание книги Дж. Кеннана в России, с иллюстрациями И. Билибина

Александр Алексеевич Кропоткин был аристократом духа, и человек большого развития. Он умел подойти к каждому, вести беседы на разные темы с людьми совсем маленьких знаний, и его речи, мысли, всегда были оригинальны, отличались от банальной, скучной практической сметки. В суждениях он не боялся своих противоречий и, как порывистый человек, страстно, искренне стремился отыскать истину. По складу ума это был человек науки. Его труды по астрономии были еще до ссылки отмечены специальной литературой. Во время своего пребывания в Томске он занимался вопросами об изменчивости видов, и настолько серьезно, что у него составила по этому вопросу значительная библиотека, большею частью на иностранных языках. И вообще по своему обширному развитию он был энциклопедистом в смысле научных знаний.

Он был революционером-теоретиком, хотя политическую экономию не считал наукой, так как, говорил он, «под нее нельзя подвести математические основания». Но конспиратором-практиком по своей пылкой искренности, едва ли он мог быть.

Сослан в Сибирь Александр Алексеевич, главным образом, за сношения с эмигрантами за границей, с П.Л. Лавровым, анархистом Элизе Реклю, с которым был в дружбе и, сотрудничая с ним в его работах по географии, открыто бывал у них в свои приезды за границу. Все это было учтено «всевидящем оком» и внесено в книгу живота. И когда Кропоткин вернулся в Петербург, его потянули в Третье отделение, где во время допроса он держал себя очень независимо, утверждая за собой право быть знакомым с кем он пожелает, а такие знакомства, как Э. Реклю и другие считает для себя лестными.

Вообще жандармы много неприятных слов выслушали от него. Конечно, добавлением к вине послужило то, что брат его Петр Алексеевич, будучи пажом его величества, очутился в рядах революционеров, и бегство, среди бела дня, на глазах у стражи брата Петра, что случилось в следующем году после высылки Александра Алексеевича, были главной причиной долгой задержки Александра Алексеевича в Сибири. По докладу государю шефа жандармов Потапова, А.А. Кропоткин был выслан в Восточную Сибирь, в Минусинск на неопределенный срок. Потом по переводе его в Томск, при Александре III, ему был назначен срок, который кончался 9-го сентября 1886 года.

При воспоминании томской колонии, образ Александра Алексеевича Кропоткина невольно вызывает чувство глубокого сожаления. В то время брат его П.А. Кропоткин среди ученых Запада, среди друзей-единомышленников проводил в жизнь устным и печатным словом близкие его духу идеи, выпустил в свет ряд научных трудов, дал много статей общественного характера, освещающих всесторонне жизнь.

В то время как Петр Алексеевич мог полностью развернуть свои способности, внести ценный вклад в сокровищницу человеческой мысли («Взаимная помощь, как фактор эволюции», «Этика», «Великая французская революция», «Исследования о ледниковом периоде», «Записки революционера», «В русских и французских тюрьмах», труды по географии, истории и пр. и пр. – см. музей имени Кропоткина), и, как революционер-мыслитель, пользовался заслуженным почетом и уважением, в это время его «горячо любимый брат» (см. «Записки революционера» П.А. Кропоткина) на протяжении одиннадцати лет переносит мстительную травлю русского правительства.

Ему запрещена переписка с братом, с зарубежными друзьями. Выписываемые им научные книги, о трансформизме, философии, астрономии фильтруются невеждами и многие не допускаются. Ему с семьей ограничивают и так скромные полочки из его собственных средств, бояться, что часть их будет отослана брату-анархисту, который пред всем миром жестоко критикует русское самодержавие. «Будь силен и развивай мощь своей души. Будь силен, будь велик в своих действиях, если хочешь вести жизнь полную и плодотворную», – говорит П.А. Кропоткин (см. музей имени Кропоткина).

А условия жизни Александра Алексеевича беспощадно трепали нервы, и слабела воля по природе болезненно чуткого человека. Власть на местах ссылки мелочными придирками вызвала резкий отпор и со стороны более здоровых, спокойных людей. Так, не довольствуясь каждодневным посещением стражника, приходит, однажды, чин наведаться и поздравить «князя» с праздником. А Кропоткин, всегда искренний, ненавидевший какие бы то ни было подходы, просто-напросто спустил праздничного соглядата с лестницы. Такое же непочтение, хотя бы и к дворняжкам власти, ставится плюсом на черной доске.

Товарищи по ссылке большею частью находили применение своей энергии, имели заработок, участвовали так или иначе в общественной работе, как могли ставили палки в самодержавное колесо, распространяя идеи социализма среди обывателей. А.А. Кропоткин благодаря своей непрактичности, не находил возможности применить свои знания в ссылке, и всегда был среди книг, рукописей без надежды увидеть свои труды напечатанными.

Чтобы бежать за границу, нужны большие средства и ловкость конспиратора, его же ни в какую краску перекрасить не удалось бы. Кроме того он и не решился бы оторвать себя навсегда от России, потому что возвращение было бы невозможно.



А.А. Кропоткин, с фото 1868 г. (из собр. Музея им. П.А. Кропоткина)



П.А. Кропоткин, фото 1864 г.

Огорчало Александра Алексеевича и «неумение жить», как он говорил, сокращать свои расходы до минимума. «Сколько вы, морячка (морячкой он называл меня, так как однажды возвращаясь с Ульяновым с какой-то пирушки, они «плавали» по улицам Томска, отыскивая американца Дюлонга, погибшего по изысканиям в северных морях. Затем, мы удачно с ним пели дуэтом «что за жизнь моряка»), проживаете в месяц?» – спрашивает однажды меня Александр Алексеевич, поглядывая на нашу уютную, благодаря цветам, комнату.*

* Начальник североамериканской экспедиции Дюлонг, корабль которой разбился у устья Оби. Часть экипажа была спасена самоедами, а часть во главе с Дюлонгом замерзла или заболела и погибла. – *См. Н.Г. Гарин-Михайловский. Жизнь и смерть*

«Много, Александр Алексеевич, муж за уроки получает почти шестьдесят рублей, все тратим», – говорю. – «Но ведь это слишком мало для семьи: я на извозчиков иной месяц трачу рублей пятнадцать, хотя очень экономлю! – с искренним недоумением восклицает он. «Ну, у нас этой траты нет, предпочитаем свою пару [ног]. И во всем путаемся с мелочной расчетливостью. Правда, скучно?» – «Не в скуке тут дело, морячка, а в том, что мы неприспособленные к жизни люди», – возразил он с унынием.

Но мы все знали, как он щедро откликается на просьбы человека в нужде, и с особенной радостью шел навстречу в этом отношении возвращающимся из ссылки.

Вспоминается большое собрание в квартире Кропоткина тридцатого августа, в день его именин. Шумно, весело, разнообразно. Народ молодой, интересный. Темы разного содержания чередуются с шутками, песнями. От общей беседы делятся на группы. В комнате хозяина более почтенной публикой ведется речь о беспредельных мирах, о бесконечно великом и малом. Хозяин, как всегда, не довольствуется видимым миром, ему не дают покоя вопросы о смысле жизни, происхождения мира и прочее.

«Может быть, и видимая для нас пустота, воздух, тоже заполнен недоступными нашим грубым чувствам, духовными существами», – говорит улыбаясь Александр Алексеевич. «Ха-ха-ха! – смеются трезвые реалисты – там у вас под окном наверное это духовные невидимки, припрятавшись, подслушивают, что говорят и о чем поют в квартире Рюриковича» (князя Кропоткины – прямые потомки первого князя на Руси Рюрика: Рюрик, Игорь, Святослав... до Ростислава Смоленского. В 1470 году Дмитрий Смоленский за кропотливость действий назван «Кропотка». См. музей имени Петра Кропоткина, Москва. Досаждая русскому самодержавию, П.А. Кропоткин имел основание сказать, что они Кропоткины имеют больше прав на русский престол, чем Романовы).

И надо же было случиться, что как раз в этот вечер «невидимки», пользуясь тем, что внимание хозяев занято гостями, очистили всю их кладовую: сундуки с зимней одеждой оказались пустыми. Все запасы на зиму вместе с банками, мешками исчезли. А хозяйка даже носимую в это время года одежду вынесли в кладовую, чтобы в прихожей дать место одежде гостей. Очевидно, грабеж был не случайный, и все увезено на лошади.

Таким образом семья в шесть человек вся осталась без одежды и без зимней обуви. Приняли все меры, но нашли только пальто няни. «Я уверена, что тут замешана полиция, – говорит Вера Севастьяновна, жена Александра Алексеевича, – когда мы с няней убрали все в кладовую, заходил полицейский за отметкой». – «Ну, тогда, Верочка, нечего и хлопотать: действовали, значит, самые неуловимые воры. В другой раз, если у нас еще будет одежда, в кладовую на лестнице не прячь», – говорит наученный горьким опытом практичный хозяин.

Летом в 1884 году политическим было разрешено поселиться на даче. Красивая холмистая местность верстах в восьми от Томска по реке Ушайке привлекла несколько наших семейств, Волховские, Соловьевы, Кропоткины, Зубок-Мокиевские и другие поселились в деревне Заварзино. Чтобы следить за отпущенными на дачу, в квартире сельского старосты, у которого мы, Ульяновы, занимали избу, поселился вооруженный с ног до головы стражник.

Добродушный, услужливый мужик, снявши амуницию, колот дрова, играл с детьми, сидя на завалинке, и вдруг в одно воскресенье сумел так упиться, что совершенно обезумел: ходит с револьвером по улице и дикими выкриками старается внушить к себе страх, как к власть имущему, и особенно подчеркивает свое превосходство пред сельским старостой и десятским. – «Вы, что? деревня! а я власть, надзор! и над кем еще, понимаете?! и что хочу, то и сделаю... чтобы... у меня!» И вдруг раздается выстрел. Испуганные бегут во все стороны, а озверевший человек входит еще в больший азарт. Но одному опекаемому, А.А. Кропоткину удалось схватить сзади за локти буяна и обезоружить.

С трудом скрутили «власти» руки и уложили в телегу. Долго толковали, что с ним делать, и из опасения подобных выходов, решили отправить в город. – «Как бы не превысить власть», – волновался староста. А «политическая стража» барахталась, барахталась и уснула сном праведника. Спящим и увезли вместе с вооружением, по настоянию старосты не вынули и заряды: «чтобы не заподозрили в чем».

Самолюбие десятника, здорового мужика, оказалось сильно задетым выкриками пьяного и он начал было мстить врагу кулаками. – «Как вам не стыдно! вы такой богатырь, а он пьяный, да еще связанный. Или не слышали, что "лежачих не бьют"», – как всегда рыцарски вступился за «лежачего» Александр Алексеевич, проявляя истинное благородство. И часто приходилось видеть и убеждаться, насколько этот человек был гуманно-благородного нрава.

Жители Заварзина относились к нашей публике очень благодушно. Женщины с удовольствием снабжали молоком, творогом и другими благами деревни. Но вот в один дождливый темный вечер из Томска явилась целая орда полиции, жандармерии с начальством во главе. Вся деревня в тревоге: одних понятых потребовалось десятка два.

Искали, рылись у некоторых до утра и ни с чем отъехали, оставив всех на даче. Но жители после обысков относились уже с опаской. – «Что это – насчет фальшивых денег?» – спрашивает тетка с молоком. Объясняю как могу. – «А, вот что! это еще страшнее. Неужели и соседи (Кропоткины) такие? а сам-то кажется смиренным, хорошим».

В это время томским губернатором был Ив. Ив. Красовский, бывший инспектор московского университета, уже большой старик, благоволивший к политическим, особенно к учившимся в московских учебных заведениях, Волховскому, братьям Мороз и другим. От него, конечно, не могли исходить какие бы то ни было репрессии. Значит, был приказ из центра проверить «благонадежность» сосланных.

За мирной беседой или в горячих спорах А.А. Кропоткин всегда был простым, светлым, доступным. В его глубоких глазах всегда горел огонек искреннего чувства к собеседнику. Он умел смягчить остроту и недовольство спорящих, хотя сам представлял из себя комок нервов.

Сидим мы, однажды, на завалинке около нашей избы и толкуем на разные темы. День ясный, теплый. Кругом тихо. Тут же за деревней начинается могучий сибирский лес. Впереди выступает кедр-великан, ветви которого шатром раскинулись над поляной. На другой стороне деревни вместе с рекой Ушайкой вдаль уходят полосой поемные луга.

– У нас земля черная, негодная для посевов, – говорит подсевший к нам староста – вон, два хозяина немного от скуки засевают, их деды-то расейские, ну и тянет к земле. А живут беднее нас, потому как неподходящая она.

– Чем же вы живете? – спрашивает Кропоткин.

– Мы то? живем сеном, дровами. Тоже плетняк в город доставляем. Но больше сеном. Беда только, покосов все меньше становится: Расея все прет, а мужик тамошний жаден до земли, – плакался сибиряк, который, по его же словам разгуливал на тридцати-сорока десятинах, выбирая, где сочнее трава.

– Раньше-то было беспредельно, – добавляет он.

И долго бы еще плакался «малоземельный сибиряк», так как день был праздничный, но подошел мальчик, живший в соседстве в келье с бабушкой. На нем красная рубаха с розовой заплаткой во весь живот.

– Тетенька, а тетенька! – обращается он ко мне, как к знакомой, – вишь, у меня новая рубаха, одна заплатка. И он тычет пальчиком в заплату, улыбаясь во весь рот. – А бабушка ватрушку испекла, большую.

Мы все рассмеялись.

– Вот оно счастье, – говорит Кропоткин, – и не одни дети от новых заплат приходят в восторг. Вы, морячка, говорите, что природа обидела женщину, свалив на нее главную заботу продолжения рода человеческого? – вернулся он к прерванному разговору по поводу покинутой с ребенком женщины. – Напротив, я нахожу, что природа богато одарила ее, развивая с первых дней своего ребенка, будущего человека, она развивает и свой разум, свою волю, и, не подозревая того, ведет человечество вперед. А все то, о чем хлопочут женщины-революционерки, все это временное и только дополнение к главному высшему назначению (может быть, в каких-либо подробностях я не в точности передаю слова нашей беседы, так как пишу по памяти, но общий характер передаю без малейшего преувеличения).

И разговор перешел к жизни первобытных людей, когда женщина хлопотала об устройстве жилища для беззащитного своего детеныша и хранила «огонь» своего дома.

Много было у А.А. Кропоткина духовной красоты, поэтического. Из русских поэтов он более всего любил Лермонтова, и в иные минуты мог говорить наизусть целые поэмы, как «Мцыри», «Демона» и другое.

Временами Александр Алексеевич был оптимистом по-детски. Однажды велись долгие разговоры по поводу пережитых революций на Западе и о том, что положительного дали они народу. Конечно, как всегда, перешли к положению дел у нас. Мрачные краски сгущать не требовалось, особенно в восьмидесятых годах, и настроение у публики получилось весьма пессимистическое. «А я готов голову отдать на отсечение, – заявляет Кропоткин, – что не пройдет и пяти лет, как мы будем иметь конституцию не хуже английской».

Но прошло еще двадцать лет, на протяжении которых самодержавие душило в рудниках, в тюрьмах, в отдаленных и «не столь отдаленных» местах ссылки цвет своей молодежи, пока наконец не раскачалась масса до смелости, до всеобщей, великой забастовки, когда движение по всей России величественно остановилось, точно говоря – «довольно».

Но Александр Алексеевич Кропоткин не дожид и до этого первого сдвига застоявшейся страны, не дожид и до пробной русской революции, до 1905 года: еще 25 июля 1886 года его нервная система не выдержала, и он навсегда успокоил свое беспокойное сердце пулей.

VI

В полуверсте от города со стороны Елани, среди старого парка, с двух сторон оканчивавшегося глубокими оврагами, в восьмидесятых годах XIX века стоял подозрительной устойчивости отдельный дом без всяких пристроек, кроме маленькой сараюшки-кухни в кустах. Это заимка Квятковского. Отделенный от города большим парком, этот дом зимой мог служить удобным приютом для беглых. В 1885 году решили в этом доме поселиться на летние месяцы, Волховские, Парфенов (местный житель с женой) и я с мальчиком, так как Ульянов уезжал по делам месяца на полтора.

Расположились мы очень удобно: я и Парфеновы имели по комнате, Волховские – две, и большая средняя, оканчивавшаяся стеклянной дверью на балкон, служила нам столовой и приемной. Кругом масса зелени и никакого человеческого жилья. Днем, да в ясную погоду, это очень приятно: теплые, ясные лучи солнца пригревают и живое и растительное царство, пышно распускаются цветы, все кругом точно улыбается, о чем и пернатые наперерыв воспевают. Вечером же, особенно, под осень, когда из темноты рисуются неопределенные силуэты кустов, пней, когда где-то недалеко застонет сова, когда невольно тянет прислушаться к таинственным шорохам ночи, совсем неприятно. А мы, кроме Парфеновых, были не настолько обстоятельными, чтобы иметь занавески для громадных окон, тем более портьеры для дверей.

Парфенов уходил по торговому делу на целый день, часто вместе с женой, уходил и Волховский в редакцию «Газеты». На даче оставались мы с детьми, Александра Сергеевна Волховская-Хоржевская и я. Наслушавшись разных страхов в связи с «варнаками», как сибиряки называют беглых уголовных, первое время нам было жутко и днем, хотя сами еще не видели их. Но скоро убедились, что «варнаки» действительно навещают эти места. «Мама! мама! какие страшные дяди там», – кричит однажды, девочка Волховских. В нескольких шагах от террасы, в круто спускавшемся овраге сидят трое и молчаливо пируют около бутылки. «Не бойсь, вас не тронем», – говорит громадный, весь в лохмотьях «дядя» в ответ на мои тревожные поглядывания из-за кустов.

И последующие дни убедили нас, что эти овраги довольно часто служат местом отдыха для стремящихся на запад из отдаленных восточных мест, так как приходилось видеть одиночек и парами, иногда подавать кружку с водой или кусок хлеба «прохожему», быстрым взглядом оценивающему наше состояние. Днем было еще переносно, но когда вечером наши мужчины слишком запаздывали, мы зорко и опасливо посматривали по сторонам, причем всякие шорохи, стуки чувствительно отзывались на наших нервах. Мужчины над нами смеялись говоря, что эти «зайцы» сами куста боятся, но «у страха глаза велики», и на всякий случай мы имели громадный пистолет и, кажется, с зарядами. Следует прибавить, что хотя никакого смертоубийства на заимке Квятковского не произошло и дети наши хорошо себя чувствовали, я и Александра Сергеевна с радостью вернулись в конце августа в город.

Мы и раньше с Александрой Сергеевной дружили, а жизнь в одной квартире, общее хозяйство, надзор за детьми, еще более сблизили нас. Худенькая, всегда деятельная, как мышка, неслышными движениями все приберет, наведет чистоту, принарядит со вкусом девочек, свою Верочку и Соню (дочь Ф. Волховского от первой жены, Антоновой), за хозяйством присмотрит, и все это делается вперемежку с каким-нибудь переводом для мужа или перепиской статьи для «Газеты». Если же выдается свободная минута почитать, отдохнуть с книгой, то заняты у нее не одни глаза и кудрявая головка: она быстро-быстро, не глядя на работу рук, вяжет чулки, перчатки и прочее. Сшила я на елку одинаковые малиновые рубашки для ее Верочки и своего мальчишка. «Дайте посмотреть», – говорит Александра Сергеевна. А на другой день вечером дети прыгали вокруг елки в вышитых кругом рубашках: всякой другой вышивальщице хватило бы на три дня.



*А.С. Хоржевская (жена Ф.В. Волховского), с фото 1870-х
(из собр. Музея «Каторга и Ссылка»)*



Ф.В. Волховский, с фото 1871 г. (из собр. Музея «Каторга и Ссылка»)

Трогательно заботилась Александра Сергеевна о Феликсе Вадимовиче (Ф. В. Волховский и его жена А. С. Хоржевская были приговорены на вечное поселение, Волховский – по делу 193-х, Хоржевская – по делу 50-ти, и в Томск они попали после мытарств по другим местам) и выполняла все желания своего «старика», хотя его увлекающаяся изяществом и красотой натура не раз тревожила ее взволнованную душу. «Я думаю, что не найдется человека, которому любовь приносила бы только радость, – говорит Александра Сергеевна в беседе "по душам", – и человек без этих страданий, как пища без соли». Но эта «соль» дорого ей стоила.

В минуты воодушевления Александра Сергеевна была оригинально хороша. Ее умное, выразительное лицо сияло радостным светом и речь украшалась хохлацким юмором.

Как-то на святках от мороза наша «вышка» трещала по всем швам. Муж сидел за какой-то работой, а я, притулившись к печке, зябла и ни к чему себя не могла приспособить. В это время входит А.С. [Хоржевская-]Волховская со своим бесконечным вязанием. «Пришла тоску разогнать», – говорит. «Что ж давайте слезами писать петицию к солнцу, чтобы убрал эти чудовищные холода», – отвечаю ей в тон. «Ну, что там холода, когда на сердце жарко. У нас в Малороссии теперь наряжаются, давайте и мы!» – продолжает она.

Сказано, сделано. Она, как южанка, неподражаемо изображала все ужимки, увертки, акцент старого еврея-торговца. Заразили Ульянова, нарядивши его старой бабой с подвязанными зубами, которой хочется выгоднее пристроить свою дочь. Мне помогала хозяйка-молоканка обрядиться в прекрасный русский костюм с массой бус и лент в косе. И мы почти всех своих подняли на ноги, шатаясь весь вечер до позднего. Конечно, сопровождал нас и музыкант с гитарой. В этот вечер Александра Сергеевна была так интересна, остроумна, какую я никогда не видела. Вообще-то она была человеком замкнутым и застенчивым, предоставляя блистать своему Феликсу.

Высокий, сутулый, иногда совсем сгорбленный, со стоящими ершом седыми волосами над высоким лбом Волховский в хмурые минуты производил впечатление дряхлого старика, особенно, когда прикроет свои большие черные глаза. Вообще же его выразительное лицо, на котором ярко отражалось, как малейшее внутреннее переживание, так и внешние впечатления, быстро менялось, не ошибаясь, можно было решить, в каком он настроении. Во время спора, когда он отстаивал свою мысль, его глаза сверкали, метали молнии. Но зато в минуты благодущия, мирной беседы они были полны приветливой доброты, и чувствовалось, что у этого человека имеется неисчерпаемый запас интересного, ценного, поучительного для молодежи (он был значительно старше нас).

Феликс Вадимович был не из тех, которые в пятьдесят лет думают и смотрят на жизнь, как думали в двадцать пять: его мысль всегда работала, богатела. Относясь с юношеским интересом не только к новинкам литературным, к открытиям в научном мире, но и ко всестороннему проявлению жизни, Волховский, как собеседник всегда был душой общества. Причем его острый ум, насмешливое с хохлацкой хитринкой лицо заставляло собеседника внимательно следить за переходами его мысли, настроений, которые иногда своей стремительностью поражали.

Много у него было пережитого. Начиная с ранней молодости (он родился в 1846 году), в шестидесятых годах они с Германом Лопатиным решили распространять хорошие книги среди народа, для чего организовали «Рублевое общество». Потом следовала «прикосновенность» к делу Нечаева, благодаря которой, сидя в Петропавловской крепости, он потерял свое здоровье, а затем сиденье опять в той же крепости и суд по так называемому «большому процессу». Вообще много впечатлений имел он от скитальческой революционной жизни, «жизни с препятствиями», как он говорил.*

* Даем здесь, в виде исключения, сноску про «жизнь с препятствиями», для ее большего понимания:

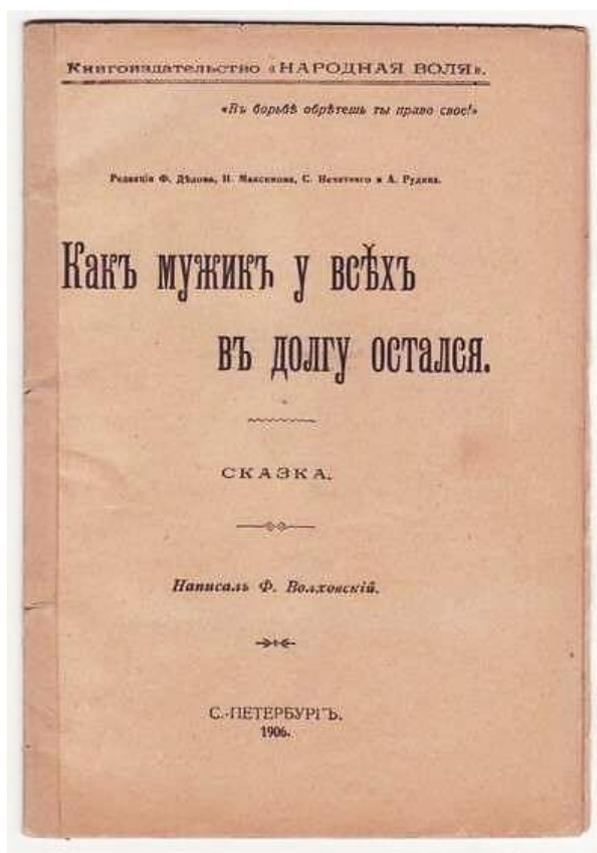
Волховский, Феликс Вадимович, дворянин. Род. в Полтаве в 1846 г. Воспитывался во 2-ой Петербургской и 1-й Одесской гимназиях. В 1863 г. поступил на юрид. фак. Моск. ун-та. В 1866 г. привлечен к дознанию Моск. следств. комиссией по делу 4 апр. 1866 г., как секретарь малоросс. общины (студ. землячество), существовавшей при ун-те в 1863-1866 г.г. Освобожден от взыскания. Вторично привлечен к дознанию выс. учр. следств. комиссией и арестован в нач. февр. 1868 г. по делу о «Рублевом Обществе», организованном им и Герм. Ал. Лопатиным для распространения книг среди крестьянства и его изучения. Содержался при III Отделении, а с 13 июля по 17 авг. 1868 г. – в Петроп. крепости. По постановлению комиссии освобожден от взыскания с вменением ему в наказание содержания под стражей и, после строгого внушения, отдан 17 авг. т.г. на поруки матери с учреждением за ним негласн. надзора. Жил в Москве; принимал участие в моск. кружке самообразования; служил в библиотеке книжн. магазина Черкесова. Участвовал в студенч. движении 1869 г.; был в сношениях с П.Г. Успенским и др. нечаевцами. Арестован 16 апр. 1869 г. в Москве; 15 июня т.г. доставлен в Петербург и в тот же день заключен в Петроп. крепость, в которой находился до 11 июля 1870 г., когда был перемещен в срочную тюрьму. Причислен к первой группе нечаевцев и предан суду особ. прис. Петерб. суд. палаты по обвинению в том, что, умышленно ниспровергнув правительство, совершил для этого подготовит. действия. 15 июля 1871 г. признан по суду оправданным. Вместе с М.О. Антоновой, на которой женился в июле 1871 г., поселился в стан. Барсуковской (Баталпашинского у. Кубанской обл.), а в авг. 1872 г. переехал в Ростов-на-Дону. Во втор. половине 1872 г.; вместе с Чудновским выпускал рукописн. журнал «Вперед». Проживая в Одессе, где служил в городск. думе, примкнул в 1873 г. к чайковцам и был организатором аналогичных кружков в Одессе и Херсоне. Летом 1874 г. находился в близких сношениях с одесскими пропагандистами (Франжоли, Макаревич, Жебуневы и др.).

*Арестован в авг. 1874 г. и доставлен в Москву; 21 ноября т.г., при помощи Вс. Лопатина, сделал неудавшуюся попытку к бегству. Переведен в Петербург и с 14 янв. по 12 дек. 1875 г. содержался в Петроп. крепости, после чего переведен в Дом предвар. заключения. Предан 5 мая 1877 г. суду ос. прис. Сената по обвинению в участии в противозакон. сообществе, в распространении преступн. сочинений и в попытке к бегству (процесс 193-х). На заседании 25 ноября 1877 г. отказался отвечать на вопросы суда и 26 ноября удален из залы заседания. 30 ноября т.г. снова заключен в Петроп. крепость. Приговором 23 янв. 1878 г. признан виновным во вступлении в противозакон. общ-во со знанием его преступных целей и в попытке побега и приговорен к лиш. всех особ. лично и по состоян. присв. прав и преимущ. и к ссылке в Тобольск. губ. По выс. пов. 11 мая 1878 г. приговор утвержден. 18 июля т.г. передан из Петроп. крепости для отправки в Сибирь. 8 авг. т.г. водворен в Тюкалинске (Тобольск. губ.), а в авг. 1881 г. переведен в Томск, в котором пробыл до 13 марта 1889 г. Принимал деятельное участие в «Сибирск. Газете» (подписывался: «Ив. Брут», «В глуши расцветший василек») и входил в состав редакции. В 1889 г. переехал в Иркутск; был систематически высылаем из Иркутска, Читы, Троицкосавска. 16 авг. 1889 г. через Владивосток бежал в Америку; с 1890 г. жил в Лондоне. – **«Деятели революционного движения»***

Процесс ста девяноста трёх («Большой процесс»), официальное название – «Дело о пропаганде в Империи») – судебное дело революционеров-народников, разбиравшееся в Петербурге в Особом присутствии Правительствующего сената с 18 октября 1877 по 23 января 1878 года. К суду были привлечены участники «хождения в народ», которых арестовали за революционную пропаганду с 1873 по 1877 годы.

И в Томске жизнь Волховского была всегда занята, всегда полна, разнообразна благодаря газетной работе. Его здоровый юмор без «греха пером» на ложь, его иногда едкая желчь, отшлифованная в постоянной борьбе за свободу родины от деспотизма, и в узких рамках сибирской прессы сумели проявляться: Феликс Вадимович умел сатирой облечь серьезные вопросы в невинную форму и тонко подхлестнуть кого следовало.

Кроме статей публицистического, а в нелегальных органах революционного содержания, кроме рассказов для пропаганды в народе, как «Сказание о царе Симеоне», «Как мужик у всех в долгу остался», «Друзья среди врагов» и много других, у Волховского было много и детских рассказов, написанных легким, поэтическим языком. Были для детей и стихотворения. Невольно вспоминаются «убаюкивающие» стихи: «Ходит сон близ окон, бродит дрема возле дома, и глядят все ли спят» (это и другие стихи были помещены в детском журнале «Родник»)*.



Нечего и говорить о количестве его литературных произведений за годы изгнания. Немало его стихотворений разбросано по заграничным журналам. Конечно, скитальческая жизнь до конца дней дала определенное содержание и окраску его творчеству.

* «Сказание о царе Симеоне», С.-Петербург, «Народная Воля», 1906: *Жил был на свете царь неправедный. Был он умом горд и к трудовому народу немилостив. Обнищал народ и не стало в том царстве управы ни на богатого, ни на сильного. Пошел стон по всем царским владениям и стало имя царя вроде как пугало. Этого-то царя на охоте с мужиком Иваном Красноперовым перепутали. Стал Иван Дементыч управлять государством честно, по-новому, для пользы народной стараться, но ничего из этого не получается. Министры, придворные – все против него. А прежний царь – Семен то есть – в это время в работниках жил. На досках спал, одежкой укрывался, щи с ржаным хлебом ел...*

Волховский Ф. Друзья среди врагов. (Из воспоминаний старого революционера). С.-Петербург, «Народная воля», 1906г.

Оторванные от родной земли
Живем и умираем мы вдали...
Уж не для нас простор ее полей
Обоза скрип и шелест камышей
Улыбка рек среди низких берегов
И тихий шум задумчивых лесов...

тоскует поэт-дилетант.

В других условиях жизни Феликс Вадимович сумел бы вылить свой недюжинный литературный талант в высоко-художественные формы, которые надолго сохраняют память о поэте, но он мог бы сказать, что ему «борьба мешала быть поэтом». У него не было времени на самосовершенствование, правильное, на развитие литературного таланта.

Будучи в Швейцарии в 1910 и 1913 годах, я имела весточки от Ф.В. Волховского из Лондона, куда он удачно бежал из Сибири. В Лондоне в это время издавалась газетка на русском языке «За народ», предназначавшаяся главным образом для русского солдата. В этой газете Волховский принимал деятельное участие: он не мог жить без дум, без стремлений чем-либо помочь революционному движению в России, его скорейшему торжеству над самодержавием.

В своих письмах Феликс Вадимович с любовью вспоминает о товарищеской жизни в Томске, о пережитом там горе, радостях, вспоминает о разных мелочах. Даже «звонкий» голос поющей «лучинушку» не забыл, все, все его живая память рисует ярко. Но, как всегда, занятый животрепещущими текущими вопросами, он жаждет знать о настроении среди русских рабочих, молодежи, и главное, просит сведений о настроении в войске, что ему необходимо для газеты.

Но, вернусь к заимке Квятковского, к тем мелочам жизни, которых не чужд был и Феликс Вадимович. Надо сказать, что и мелочи жизни ссыльных, их разговоры, шутки, песни, часто проникнуты ненавистью к своим гонителям и стремлением хоть что-нибудь противопоставить их торжеству. Само собой эти стремления сплывали армию недовольных, разбросанных по Сибири, между которыми поддерживались тайные сношения, переписка, взаимная поддержка.

Помню, на заимке понадобилось зашифровать послание. Перевод слов на цифры по данному ключу я могла сделать тщательнее, терпеливее, и Феликс Вадимович засадил меня за работу. В другой комнате Александра Сергеевна что-то спешно переписывала, а сам Волховский переходил из комнаты в комнату и проверял наш труд. «Ловкий же вы человек: нас усадил, а сам только командует! Вам бы подрядчиком по каким-либо работам...» – говорю я. «Вы еще, что тут! бунтовать вздумали? птица небесная». «Где уж бунтовать у такого деспота: стараюсь только клевать падающие зернышки от вашей премудрости». – «То-то, не теряйте времени», – говорит он серьезно. «Знаете, Феликс Вадимович, – говорю, уже закончивши послание, – в 1872 году, когда вас судили по нечаевскому делу, я с ужасом слушала рассказы нашей школьной начальницы о людях, которые в бога не верят и царя не почитают. И когда она в подтверждение своих слов читала в газете «Голос» о ваших преступных делах, я осеняла себя крестным знаменем, как от нечистых из ада». «А теперь не боитесь? У..у», – делает ребячески страшную рожу, детишки в восторге прыгают, хлопают в ладоши. «А по прошествии нескольких лет, – продолжаю я, – узнавши, что ее бывшая воспитанница попала под влияние этих смутьянов, первая ограничила мои права: запретила приходить в ее святилище, очень было мне тогда печально». «Бедная, сколько пришлось перенести! – смеется Феликс Вадимович, – ну не будем грустить! устроим праздник. Знаете что? Я вас угощу хохлацкими галушками, да такими, каких и байстрюк не пробовал. Что там кацапские блины, да лепешки!».

На другой день в праздник он, действительно, приготовил тесто и в сараюшке на плите наварил галушек. Но, Боже мой! Какие это вышли галушки. Ни травоядные, ни плотоядные не могли бы справиться с этими плотными липкими кусочками теста. Сам повар был немало удивлен, и тщательно искал причину неудачи своей стряпни. «Лучше уж пеки литературные блины и блиночки, – говорит Александра Сергеевна, – в другой раз не дам портить муку».

Зато мы удачно несколько раз пекли пироги, по указанию более опытной в хозяйственных делах Александры Сергеевны, тоже из прочного теста с литературной начинкой для отсылки в другие места. В этих мелочах иногда Волховский с удовольствием принимал участие, очевидно они служили отдыхом.

Страдая катаром кишок и другими немощами, Феликс Вадимович лучше барометра предугадывал погоду. Хотя самое «кислое» настроение у него быстро менялось от случайных приятных впечатлений.

Однажды, во время обеда, входит к нам Волховский, согнувшийся, охающий. На его выразительном лице одна мука, тоска. – «Ни к черту не гоюсь! В редакции работы куча, а тут кишки», – негодует он. Уложили на кушетку, напоили теплым чаем. Улегся, успокоился. В это время заходит Н.О. Баранова (в последствии жена Когана-Бернштейна, казненного в Якутске), и наш больной, забывши свои немощи, вскочил и пустился петь соловьем. Надо прибавить, что Баранова в молодости была очень недурна, особенно в малорусском костюме. Все товарищи, конечно, привыкли к таким переменам в настроении Феликса Вадимовича.

В конце 1886 года Александра Сергеевна [Хоржевская-]Волховская заболела затяжной женской болезнью и, опасаясь быть в тягость окружающим, покончила самоубийством. Скромной труженицей прошла свой путь и героически распорядилась своим концом.

Самоубийство А.А. Кропоткина и А.С. Волховской-Хоржевской глубоко взволновали всех нас: мы узнали об этом несчастье уже будучи в России, в Твери, где, по возвращении из Сибири, поселились Языковы, Девель, Шульц, временно Николаевы, мы – Ульяновы, через год В.С. Кропоткина с детьми: после смерти мужа она уехала в Лондон к брату Александра Алексеевича Петру Алексеевичу Кропоткину, где и прожила около года.

Многое воскресает из далекого прошлого. Проходят целые вереницы лиц, событий, как полузабытый сон. Одни выступают из этой галереи ярче со всеми своими манерами, привычками. Одни умением и во временном пристанище создать уют для себя и окружающих, другие жили «на живую нитку», годами себя чувствовали на станции, на пристани.

Невольно вспоминаются хорошие, самоотверженные товарищи – Иван Николаевич и Александра Владимировна Чернявские. Она, воспитанница Николаевской половины Смольного института, куда запросто являлись цари, затем богато обставленная жена профессора, но под влиянием прогрессивной, а потом революционной литературы, радикально ломает свою жизнь, привычки, и идет для пропаганды в народ, в суровые нелегальные условия с неимением угла, часто с недоеданием и другими лишениями. И по пути с революционными тревогами переживает много тяжелого за своих погибавших детей. По дороге, например, в Якутскую область, зимой, куда их пересылали из Западной Сибири, у нее на руках замерзает ребенок. Живя в Томске по возвращении из Якутской области, они оба так привязались к девочке Южаковой (о трагической смерти Южаковой и о том, в каком положении нашли ее девочку, говорится в книге Кенана «Тюрьма и ссылка в России», и в других воспоминаниях – см. «Былое»), что занялись даже украшением своей комнаты: появились картинки, салфеточки.



И.Н. Чернявский, с фото 1877 г. (из собр. Музея «Каторга и Ссылка»)



А.В. Афанасьева-Чернявская, с фото 1880-х (из собр. Музея «Каторга и Ссылка»)

Но и эта привязанность принесла им горе: бабушка-Южакова прислала с юга России своего домоправителя в Томск, и Наташу неожиданно от Чернявских увозят. Нужно было видеть горе этих чадолюбивых людей. «А, что у тебя сегодня в кармане?» – спрашивает, бывало, мой сынишка заходившую к нам часто Александру Владимировну: сама просидит на куске черного хлеба, а без «гостинца» не пойдет в дом, где есть малыши. Но личное горе не мешало Чернявским всегда и везде служить идее социализма. В Саратове, по возвращении из Сибири, уже с совершенно расшатанным здоровьем, Александра Владимировна имела связи с кружками молодежи, которых снабжала революционной литературой и советами, как старый практик. На саратовском кладбище они оба нашли покой и отдых от долгих путешествий по российским «станциям» от Одессы до Якутии.

Время рассеяло нашу томскую компанию, но все вернувшиеся в Россию, или бежавшие за границу, продолжали служить идее социализма, стремились раскрывать глаза людям, указывать на неправду и ухищрения деспотов. Многих уже не стало. Но о всех товарищах вспоминаю я с чувством искренней благодарности за все, что они мне дали, и четыре года, прожитые среди них, считаю самым светлым периодом из моей долгой жизни.

Мое знакомство с В.Г. Короленко

Владимира Галактионовича в первый раз я увидела в конце 1884 года, когда он, возвращаясь из Якутской области, на короткое время остановился в Томске.

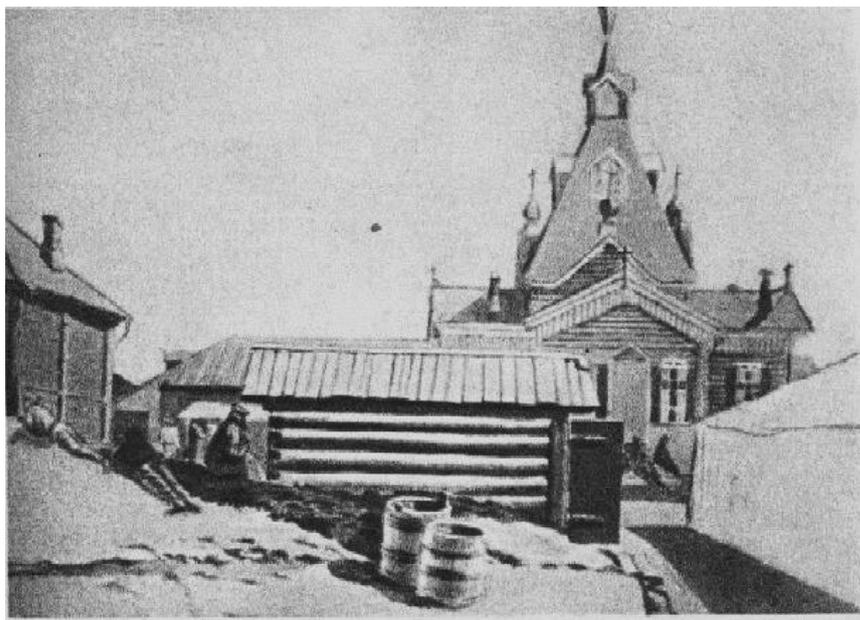


Рис. В.Г. Короленко, двор пересыльной тюрьмы в Томске

Довольно большая колония томских «политиков» собралась, чтобы повидать молодого писателя, интересного человека, который может сообщить много о ссыльных далекого Якутского края. Много через Томск в то время проходило «политических преступников» на восток и обратно: на восток – по большей части партиями, обратно – одиночками. Наша колония особенно живо относилась к идущим в далекий холодный край – обирала себя до крайности в смысле теплой одежды, обуви, так как «там» положение значительно тяжелее и сложнее нашего.

Возвращающихся, окрыленных свободой, встречала с радостью за них и провожала домой – на запад с пожеланиями поскорее пересоздать мир Российский. А Владимира Галактионовича, помню, встретили с особенным интересом и корифеи нашей колонии, как А.А. Кропоткин, Ф.В. Волховский, Станюкович и другие.

В комнате сидело уже человек шесть-восемь, когда в сопровождении одного из томичей вошел В.Г. Короленко. Среднего роста, довольно плотный, стройный, он имел очень привлекательный вид. Темные вьющиеся волосы и такие лучистые, ясные, спокойные глаза, какие редко увидишь. В манере держать себя проглядывало что-то скромное, вдумчивое, простое. Много Владимир Галактионович рассказывал о суровом крае с полудикими жителями, откуда только что выехал, о нравах, обычаях, о сказочном северном сиянии, о длинной холодной ночи.



Рис. В.Г. Короленко, починок Васьки Филенки

Но больше всего о ссыльных, в жизни которых там так много горького. И все в таких скромных по цвету, но значительных красках, что жизнь туда заброшенных рисовалось жестокой правдой. Звуки его задушевного голоса, иногда с тонкими юмористическими блестками, невольно захватывали слушателя. Из жизни ссыльных особенно глубокое впечатление произвел на меня рассказ об одном политическом, бывшем блестящем офицере Т., который так «объякутился», что не нуждался уже ни в свободе, ни в лучших условиях жизни.

«Женился на якутке, влюблен в нее без меры и ревнует не только к каждому приходящему товарищу, но и к обручку, на котором она сидит. А вид супруги такой звероподобный, с таким тупым выражением лица, что остаться в юрте с ней один на один я бы не дерзнул: точно из страшных сказок нелепое чудовище в образе человека», – рассказывал Владимир Галактионович. «Должно быть, влюбленный через призму своего чувства отыскивает нечто, что и обезьяну возведет в идеал человека», – продолжал он.

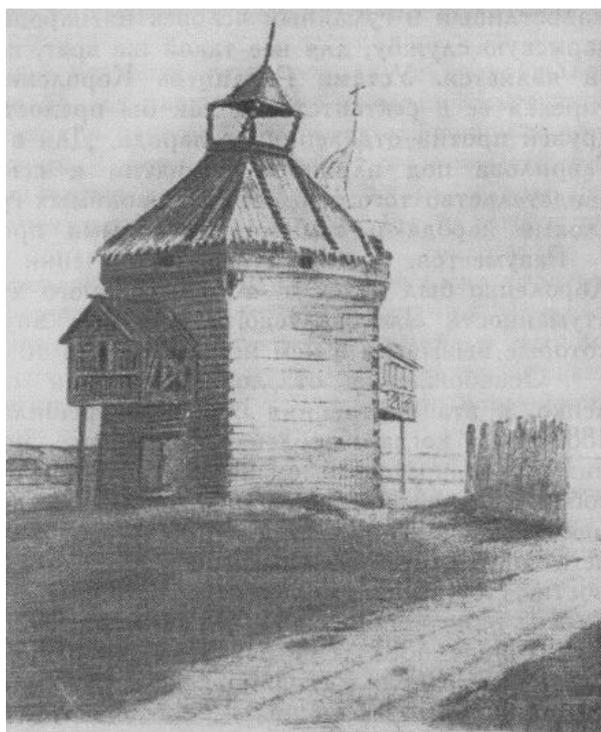


Рис. В.Г. Короленко, старинная башня в Якутске

По просьбе собравшихся Владимир Галактионович, прочитал, тогда еще в рукописи, «Сон Макара». Рассказ произвел сильное впечатление на всех слушателей и содержанием и формой. С удивительной скромностью принимал автор некоторые замечания со стороны слушателей. На вопросы о будущих литературных работах Владимир Галактионович не сразу ответил. «Вывезу из тайги могучую сосну, сделаю из нее музыкальный инструмент, – сказал он улыбаясь, – и будет этот инструмент рассказывать о Сибири, ссыльных, о жителях Якутской области».

На порядки среди инородцев Дальнего Востока Владимир Галактионович сильно негодовал, особенно на то, как беззащитное население обирают. «Табак и водка со стороны русского являются главным средством вымогательства», – рассказывал он.

Приезд Владимира Галактионовича и беседа с ним оставили на томичей глубокое впечатление и надежду на то, что наша литература обогатится большим вкладом.



Рис. В.Г. Короленко. На пути из ссылки, гор. Киренск

В 1891 г. моя семья поселилась в Н. Новгороде, и с первых же дней мы вошли в круг знакомых семьи Короленко и сестры его Марии Галактионовны Лошкаревой.

Должна оговориться, что за пять лет моей жизни в Нижнем, начиная с 1891 года, я дважды продолжительно болела и потому мои воспоминания будут и непоследовательны, и бледны. Кроме того, люди вообще не ценят должно переживаемого момента, как не замечают своего здоровья. В большинстве случаев плохо замечают то ценное, чем владеют, смешивают с повседневностью и теряют его в пространстве. А когда время унесет здоровье и неприбранные памятью жемчужины – с болью в сердце жалеют о них. И так всегда и почти со всеми.

С 1885 по 1891 год имя В.Г. Короленко, как выдающегося писателя, вполне установилось. Читающая публика с радостью бралась за книжку журнала, где помещался тот или иной рассказ его. И ласково-скорбные образы в рамках суровой русской действительности, нарисованные со свойственной только Владимиру Галактионовичу манерой, захватывали уже внимание всех.

Обе семьи жили в то время на Канатной улице в доме [\[городского архитектора Владимира Максимовича\]](#) Лемке – семья Короленко наверху, Лошкаревых внизу.

Кажется на другой же день, по приезде, мы обедали у Лошкарёвых вместе с семьёй Короленко. Обширный стол в продолговатой комнате обсажен вплотную людьми разного возраста: три бабушки – «Вавовчка», мать Владимира Галактионовича – Эвелина Осиповна; баба Лиза, сестра Эвелины Осиповны; и мать Николая Александровича Лошкарёва; дети, мужчины и две молодые хозяйки дома – Евдокия Семеновна, жена Владимира Галактионовича, и сестра его М.Г. Лошкарёва, которые прежде всего заинтересовали меня своим различием и по виду, и по нраву.



В.Г. Короленко с женой Евдокией Семеновной и дочерьми Софьей и Натальей

Одна [(Мария Галактионовна)] – быстрая, говорливая, с блестящими красивыми черными глазами, шумно протестующая на капризы своего баловня-сына и дочек, успевавшая упрекнуть гостя за плохой аппетит, быстро улавливающая разговор «старших», которая впамят вставляет меткое замечание – одним словом живущая в несколько линий; другая хозяйка [(Евдокия Семеновна)], напротив – на вид холодноватая, с сравнительно медленными движениями, с негромким голосом, с ясной спокойной речью. Мне вначале показалось, что и она гостя.

Впоследствии, познакомившись поближе с этим стойким, сдержанным человеком, приходилось удивляться, как спокойно и плавно она умела вести дом, где, кроме своей семьи, всегда кто-нибудь чужой подкармливался, отдыхал. При больших средствах это и немудрено было бы, но семья Короленко всегда жила очень скромно. Однажды, пораженная спокойными, неторопливыми движениями служащих на финляндских железнодорожных станциях, почему-то я вспомнила хозяйку верхней квартиры в доме Лемке: точно никто ничего не делает, а само собой движется.

В конце стола сидели Владимир Галактионович, его брат Илларион Галактионович – «дядя Перчик» и мой муж [Алексей Николаевич] и под аккомпанемент детского лепета беседовали о постановке библиотеки Всесословного клуба, кажется, самой богатой в то время в Нижнем.

Мой муж развивал мысль о систематическом каталоге и о составлении указателя журнальных статей, и Владимир Галактионович горячо поддерживал эту мысль, вставляя свои замечания и подчеркивая брату, который был старшиной этого клуба и в ведении которого была библиотека, чего особенно следовало добавить перед общим собранием клуба. Видно было, что библиотечному делу он придавал большое значение и находил, что самое важное уметь вести библиотеку и быть руководителем читающей публики, особенно молодежи.

«Дядя Володя» был в семье, как я заметила в первый раз, а потом и убедилась в этом, примиряющим, сдерживающим элементом. Любя его, к нему прислушивались и дети. Он богатством и красотой своей души смягчал неизбежные трения, умел шуткой, простым словом погасить возникшее между членами семьи недовольство, успокоить расходившегося. Затем мне приходилось видеть и слышать Владимира Галактионовича несколько лет, и получаемые впечатления быстро вывели его из среды довольно многочисленных знакомых в Нижнем в то время.

Правда, мы были ближе к более левым по направлению, к более демократически настроенным. Но кружок около такого большого таланта и человека, с великим отзывчивым сердцем, приковывал внимание всех. Владимир Галактионович стоял выше партийностей, и к нему, как к огоньку, стремились все. В нем как-то все претворялось в правдивую красоту. Что-то спокойное, ясное, о чем тоскует часто душа уставшего человека, чувствовалось около Владимира Галактионовича. Слова его точно просвечивали внутренней лаской. Сам искренний, правдивый, он и на других влиял облагораживающе. Там, где жестокий, мало развитый, не считаясь с человеческой личностью, грубо оттолкнет – Владимир Галактионович, напротив: в отношениях с окружающим у него всегда была трогательно бережливая манера. А при нужде юмористической шуткой остановит и нахала, и лгуна. Но я глубоко уверена, что не найдется человека, которого бы он обидел.

Владимир Галактионович был удивительный рассказчик. Он приковывал внимание слушателя к тем картинам, событиям, с которыми делился, особенно после своих поездок в более интересные места Нижегородского края. Он горел переживаемым и этим горением, художественной простотой и своеобразными меткими штрихами очаровывал слушателя.

Помню один из вечеров после всем известного Мултанского дела: сидели четыре-пять человек у Владимира Галактионовича и с напряженным вниманием слушали о всем пережитом им там, в глуши Вятской губернии, на месте преступления. Невольно рисовалась картина за картиной этого темного дела: и кусочки близ дорог и тело несчастного выпотрошенного человека. А с глубокими нотами голос рассказчика переводил умственный взор слушателя вслед за действиями злой воли, опутывавшей невинных и беззащитных.

Владимир Галактионович, как человек впечатлительный и нервный, был особенно потрясен Мултанским делом. Он, не замечая того, повторял пережитое перед вновь и вновь приходящей к нему публикой. В описываемый вечер он дважды рассказал о нем с такой нервной силой, что за его здоровье было страшно.

Удивительные бывали вечера друзей у Короленко, когда собирались Анненские, Елпатьевские и другие. Талантливые каламбуры, остроты, замечания сыпались каскадом и часто покрывались веселым здоровым смехом. Уж если «распустят своих собачек», шутя друг над другом, так всем присутствующим достанется, только успевай отпарировать. Особенной остротой отличались Николай Федорович Анненский и Мария Галактионовна Лошкарева.



Оправданные мултанцы и их защитники. Стоят слева направо: В.Г. Короленко, Н.П. Карабчевский, М.И. Дрягин, П.М. Красников, фото Н.А. Патенко, 4 июня 1896 г.

И всем приятно, всем весело. Даже почтенная и сдержанная А.Н. Анненская (детская писательница) от взрывов смеха часто за бока хваталась. А у Владимира Галактионовича и шутки отличались большой мягкостью, отточенностью. К ним и веселая компания относилась как-то бережно, точно боясь пропустить слова его. Смеялся Владимир Галактионович очень заразительно, бросая серебряные блески в общую чашу веселья.



Александра Никитична Анненская, урожд. Ткачева



Николай Федорович Анненский



Сергей Яковлевич Елпатьевский

Воспоминания из разнообразного прошлого, настоящего переживаемого и предполагаемого будущего сменялись, перекрещивались. Но никогда не услышали бы на этих вечерах злостного осуждения для осуждения – клеветы. Эти вечера давали дух бодрости, живительный отдых и вытягивали из обывательщины. О чем только тут не говорилось! И о литературе, политике, науке, о жизни с ее слишком сложными задачами и пр. и пр. И ни одной шаблонной фразы. Много поучительного могли почерпать в этих беседах и общественные деятели того времени.

Ценная картина сохранилась бы, если бы человек с художественным пером и умением говорить языком тех, кого он изображает, воспроизвел бы беседу этих друзей, так талантливо скрашивавших блесками своего остроумия скорбное и радостное в жизни.



Людмила Ивановна Елпатьевская, урожд. Сокологорская

Особенной привлекательностью обладал Владимир Галактионович еще потому, что при своем высоком, тонком развитии ко всем относился просто, сердечно, как свой родной. Для него все были нужны, особенно если они в нем нуждались. Конечно, были случаи, когда и эксплуатировали его. Явится, например, какой-нибудь несчастенький пропойца, зная доброту Владимира Галактионовича, и печалится, что вот (де) и место получил, остепенившись, да нет пиджака. А, получивши пиджак, через день-два осторожно через забор сада, чтобы домашние Владимира Галактионовича не увидели, выпрашивает сапоги, но сам уже опять в одной рваной рубашке. А Владимиру Галактионовичу трудно не выполнить чью бы то ни было просьбу.

«Человек рожден для счастья, как птица для полета», – говорил Владимир Галактионович, и вспоминая его жизнь по полученным впечатлениям, по воспоминаниям других, а самое главное знакомясь с его произведениями, убеждаешься, что он действительно был счастлив, счастлив в страданиях за других. Он всегда с удивительной бодростью отзывался на чужое горе. Он всегда был на посту и чутко узнавал, где и чем может оказать помощь. Расскажу случай со мной.

Летом в 1892 году, возвращаясь пароходом из Казани, я дорогой заразилась холерой и в Нижний приехала в самый разгар ее – 20 июля, когда эпидемия была в зените своей разрушительной работы – умирало по сто и более человек в сутки. В этот день был крестный ход. Магазины и все торговые учреждения закрыты. Настроение в городе угнетенное. Все в испуге сторонятся друг друга, боясь заразиться. Вернувшись домой, я почувствовала себя очень плохо, а на другой день началась мучительная сухая холера.

Как раз в этот день у мужа случился приступ сильной головной боли, и он лежал почти без памяти. Прислуга на дворе «языком зацепила», а дети четырех и девяти лет плуτούν на улице: им интересно следить, как возят холерных в приемный барак, тут же за углом на Немецкой площади. Вижу, проснулся маленький [Юра] и, держась за решетку кровати, беспокоится, просит помощи, а я не могу справиться с собой.*

* Здесь у Анастасии Петровны получилась некоторая хронологическая нестыковка: эпидемия холеры в Нижнем Новгороде действительно случилась в 1892 г., но сыновьям Николаю и Сергею летом этого же года было уже соответственно 11 и 5 лет (а младшему Юрию в июне 1892-го стукнул годик).

И в этот момент входит Владимир Галактионович. Окинувши озабоченным взглядом картину, он сразу определяет, в каком положении находятся люди, и прежде всего бережно поднял малыша и удовлетворил его требование. Попробовал было разбудить мужа, но увидел, что тот и не спит, а страдает от боли. Тихо потрогал мою голову, чем-то еще прикрыл меня, так как я страшно дрожала. Привел с улицы мальчиков, прислуге сделал внушение и скрылся. А через некоторое время пришел опять, но уже с доктором и с сестрой милосердия, которую с большим трудом, как после мы узнали, добыл в главном бараче – во дворце губернатора. Затем пришел по его же просьбе и доктор С.Я. Елпатьевский.

В то время как другие оберегают себя и своих близких, принимают предупредительные меры, сидя дома за горячим чаем, Владимир Галактионович наведывается – не нужна ли кому его помощь. И, конечно, в эти тревожные дни он заходил ко многим.

Осложнения после этой болезни надолго приковали меня к постели, и доброе, дружеское отношение вообще этой семьи я никогда не забуду. Бывало, зайдет Мария Галактионовна «с легким завтраком» к выздоравливающей и подкрашивает его длинной беседой, пока из дома не появится посол за ней. Память у Марии Галактионовны была прекрасная, легкость языка поразительная, а о живости воображения и говорить нечего.

Помню однажды подсел Владимир Галактионович к беседующим «сибирским язвам», поболтал, посмеялся и говорит, соболезнуя о сестрице: «Ах, Машина, Машина», – как он часто называл свою сестру Марию Галактионовну, – «окухарничилась ты совсем, а ведь из тебя непременно должен бы выйти толк. Вот будешь отвечать за то, что зарыла всяким мусором талант».

Однажды Мария Галактионовна сообщила, что Володя кончил очень красивый рассказ и назовет его «Лес шумит». Но ни слова не обмолвилась о том, что многие ее замечания брат полностью принял.

Мария Галактионовна действительно была талантливым и интересным человеком. Но ее, как женщину-мать, затащили мелочи жизни.

«Лес шумит» с его чудными поэтическими образами из старого недоброго времени был принят с восторгом. Правда, публика ждала от Владимира Галактионовича большого произведения, рассуждая, что если в мелких рассказах так мастерски очерчены образы, то в крупном – есть где развернуться. Но жаждущие крупного произведения забывали, что ему некогда было спокойно сидеть за письменным столом и развивать только художественное: суровая действительность требовала его на службу живому, страдающему человеку.

Однажды за чаем у Козловых зашел разговор вообще о художественных произведениях и о том, как властно жизнь вместо чисто художественного выдвигает вопросы утилитарного характера, вопросы временные, в решении которых впрягает и художников пера. Владимир Галактионович между прочим выразил ту мысль, что иногда простая корреспонденция, освещающая ту или иную неправду жизни, ценнее, необходимее художественного произведения, и писатель погрешил бы против своего времени, отказавшись уделить на нее часть своего внимания.*

– Вот и меня упрекают за трату времени на корреспонденции... Да я, кажется, больше корреспондент, чем художник, – прибавил он.

* По-видимому, хозяевами дома были Евгений Иванович и Евгения Яковлевна Козловы, которые ранее упоминались как члены организации «Черный передел».

Е.И. Козлов. Член киевского кружка. Принимал участие в организации убийства князя Кропоткина. В 1879 г. присоединился к чернопередельцам. В 1882 г. выслан в Зап. Сибирь. – narodnaya-volya.ru

Жена Е.И. Козлова – урожд. Рубанчик, родилась в уездном городе Бахмут, нынешнем Артемовске Донецкой обл.

Скромность у Владимира Галактионовича доходила до крайности. Он точно боялся, чтобы другие не заблуждались на его счет, не приписывали бы ему лишнее. Меня, помню, заинтересовал вопрос – есть ли у писателей-художников свое любимое произведение, как, например, у матерей бывает любимое дитя?

– Ну, конечно, есть, – ответил Владимир Галактионович.

– А вам что больше всего любо из ваших рассказов? – спросила я.

Он внимательно посмотрел, но не сразу ответил.

– А на меня самое сильное впечатление произвел ваш рассказ «В дурном обществе», – продолжала я. – Может быть потому, что и у меня был дедушка, который любил так же крепко, как Тыбуцкий Марусю...

Хотела что-то еще сказать в оправдание своего положения, но, взглянув на него, замолчала. А он с таким хорошим выражением в лице смотрит и говорит:

– Представьте себе, и мне больше всего нравится этот рассказ. – И он улыбнулся. – Но вы напрасно себя перебили. Продолжайте. Я очень люблю маленькую Марусю и Валека и ценю Тыбурция за любовь к ним.

С трогательной нежностью относился Владимир Галактионович к своей матери Эвелине Осиповне. Он не только любил ее, как свою родную, но точно бережно старался залечить все раны ее от прежних страданий.

Правда, Эвелина Осиповна была очень привлекательна: как зачарованная печалью, тихая в движениях, сердечная, добрая к окружающим. С постоянным вязанием для когонибудь одеял, ручных мешков и пр. Ее тонкий акцент родного польского языка, сохранившийся до старости, музыкально смягчал ее тихий говор. А чуткое сердце сына улавливало все движения души матери и отвечало на них с любовью.

Помню, отправились мы целой компанией в паноптикум, расположившийся на Новобазарной площади. Масса всевозможных восковых фигур. Отделение с орудиями пыток, изображение истерзанных тел и много другого, дергающего нервы зрителей. В другом отделении панорамы. Вот проходят картины, изображающие страшного бога, огненную пасть пожирающего бесконечные вереницы парами скованных друг к другу военнопленных. Стройно идут они под ударами бичей в пасть Молоха. Эта картина, очевидно, заинтересовала Владимира Галактионовича, перед нею он остановился дольше.

– Молодые, сильные быстро сокращают шагами последние моменты жизни, – сказал он задумчиво. – И весь ужас их в том, что не за что уже уцепиться надежде. А знаете, – обратился он к стоящим рядом, – нельзя с уверенностью сказать, что кривые пути истории не повторят и это ужасное...

Изображение жизни женщины в разных ее возрастах, насколько мне помнится очень художественно исполненных, заинтересовали всю компанию.

– Не правда ли, эта седовласая фигура удачнее всех. Она положительно живет, – говорит Владимир Галактионович, остановившись перед «зимой» женщины. – Впрочем, мне думается, что бодрая «зима» самый интересный период из ее жизни. По «зиме» видно – хороша ли была женщина и богата ли она духовными дарами, – продолжал он.

Тут стояла Эвелина Осиповна, опираясь на руку сына, и он с гордостью посмотрел на нее: правда, очень привлекательное живое изображение «зимы» женщины.

Вообще отношение к женщине у Владимира Галактионовича было иное, чем у других мужчин: вдумчивое, сердечное, полное отсутствие, если можно так выразиться, легкомыслия, что, впрочем, сказалось и во всех женских образах его рассказов, от «девушки с Волги» [(в повести «С двух сторон»)] до Эвелины в «Слепом музыканте». Если приходится ему указать на какие-либо погрешности женщины – рядом следует и объяснение причины их жестокой зависимости от жизненных условий. Точно религиозно-сыновнее чувство руководит им в отношении к женщине вообще.

Кстати, об отношении Владимира Галактионовича к вопросам религиозного чувства. Вспоминая слышанные разговоры его, слова на эту тему, мне думается, он не был чужд мистического настроения.

Однажды, вечером, в саду у Лемке, осуждали резкий церковный трезвон, которым церковь Трех святителей встречала возвращающуюся икону [Владимирской-]Оранской божьей матери с хождения по домам. Осуждали и «грубо промышляющих», которые не считают нужным благопристойнее обставить это хождение. Досталось и тем, кто принимает.

В доме Короленко икону принимали, и как раз в тот день она была у них «для бабушек», говорила Мария Галактионовна.

– А мне жаль, что в наших церквях такой грубый, бессмысленный трезвон, – говорит Владимир Галактионович. – Этот «звон вечерний», не только не породит «много дум», как говорит поэт, а наоборот – мешает и думать и говорить (Церковь от дома, где жили Короленко, в нескольких шагах). Мало у нас культурных людей среди священнослужителей, а могли бы упорядочить многое около церкви.

– Ну, этих ошалелых, прославляющих хриплыми голосами богородицу, не переделаешь, – возразил ему один из сидящих. – Меня больше удивляют те, кто принимает их. Потом, наверное, они дерутся между собой, деля пятаки...

– Все это верно и очень печально, так как показывает степень культурности народа, – заметил Владимир Галактионович.

– Вы говорите таким тоном, точно эти обряды нужны, необходимы народу? По-моему и лучше, что так грубо, не чисто: скорее все сбросится. К чему все это? – продолжал тот же голос.

– Трудно сказать, что нужно, чего не нужно. А мне в детстве и в ранней юности религия с ее обрядами давала хорошие поэтические переживания. Правда, то было в юго-западном крае, где резкие приемы востока смягчались католическими тонами, – говорил Владимир Галактионович. – Иногда мне жаль, что мои дети пройдут мимо этого переживания. Невольно вспоминается, с каким трепетным чувством мы, дети, ожидали праздника – Пасху, Рождество. А для наших детей они стали суше, бледнее...

И Владимир Галактионович, охваченный сумерками теплого вечера, вспоминал детство, чистую веру, когда «религиозное настроение уносило, как плавная река», в неведомое, прекрасное.

Владимир Галактионович говорил образно, красиво, как всегда, а в этот раз, помнится мне, и с легким сожалением, как о чем-то хорошем, но утраченном.

Помню вечер в Растяпине на крыльце дачи Короленко. В это время Владимир Галактионович с семьей приехал на дачу в Растяпино из Петербурга. Раньше мы все проводили лето «шабрами» [(соседями)] в этой же деревне. Много приходилось слышать на разные темы, но все ушло, рассеялось в пространстве. Этот же вечер, когда я попала в Растяпино, случайно из Самары уже, помню хорошо.

Ясный, сухой, без тумана, что бывало редко в этом селении, расположенном на низком берегу Оки. Владимир Галактионович, должно быть, довольный дневной работой, с наслаждением отдыхал, любясь мирной сельской картиной, обвеянной чарами летних сумерек. Вечно прекрасный купол неба, усеянный яркими звездами, сказочно опускался тут же за лесом. Голоса деревни смолкли, и в редких окнах мелькали огоньки. Ночь царственным опахалом спешила успокоить, приласкать уставших. Все погружалось в дремоту. Сидевшие на ступеньках крыльца перекидывались фразами, словами попеременно с молчанием и точно прислушивались к чему-то таинственному.

– А все-таки люди напрасно отыскивают что-то за пределами видимого: все просто и ясно, только материя вечно повторяется, – заговорила Е.Я. Козлова, определенная атеистка. Но и ее фраза потонула в сумерках.

– А у меня вот нет таких определенных решений, – сказал, помолчавши, Владимир Галактионович. – Вы в своей ясности на мир божий смотрите, как на собственную квартиру, верующий же с благоговением пользуется гостеприимством Великого Хозяина, а я... должно быть, вопрошающий... Историческое изречение гласит: «кто не за меня, тот против меня», но есть еще вопрошающие, – повторил он.

К детям Владимир Галактионович относился по-особенному, как-то деловито, со стороны казалось – суховато. Но лицо его при общении с ними показывало, сколько тепла и ласки в его душе к будущим людям. Любуясь детьми, как цветами жизни, он внимательно отыскивал возможности будущего в каждом.

Однажды, ребята разыгрывали в лицах сказочку – кот, козел, да баран, и на свое представление позвали старших из дома Лемке. Был и Владимир Галактионович. Дети так увлеклись своими ролями, что и забыли о гостях: барахтались, мяукали, рычали. И старшие за самоваром вели свой разговор. Только Владимир Галактионович остался с детьми. Он подавал им реплики, подсказывая следующие действия и, что называется, подливал масла в огонь. Но вот, уставши от возни, уселись все рядом и начали выкладывать перед Владимиром Галактионовичем свои познания в виде басен, стихотворений, прибауток. И затянулось бы это взаимное увлечение надолго, если бы хозяйка дома не позвала детей к своему столу. Но Владимира Галактионовича мысль о детях очевидно не покидала.

– Скажите мне, чем объяснить, что малыши так охотно берут памятью и с увлечением рассказывают совершенно недопустимые их возрасту вещи? – говорил Владимир Галактионович, присоединяясь к старшим. – Вот сейчас шестилетний пузырь с таким выражением рассказал «Гусара» Пушкинского, что я развел руками. Но есть ли то стремление с детства к неизведанному, непонятому?, – продолжал он.

– Это безусловно интересный вопрос, и думаю, что в будущем в этой области для психологии возможны богатые перспективы, – говорил отец «пузыря».

– Ну, конечно, будете, как капусту на грядках, растить ученых, художников, артистов... – смеялась Мария Галактионовна.

– Особенно любопытно, – продолжал Владимир Галактионович, – наблюдать за проявлением роста души детей в семьях, где есть мальчики и девочки. Поведите, например, такую смешную компанию на прогулку. Мальчики стараются камень подальше забросить, на дерево повыше забраться, или исследовать норку кого-либо земноводного, а девочки спешат нарвать цветов и украсить ими свои головы.

– Ну, что ж, отсюда только хороший вывод напрашивается: все прекрасное, художественное поддерживается на земле женщиной, а всякое озорство исходит от мужчины, – шутила Мария Галактионовна.

С каким любовным вниманием отнесся Владимир Галактионович к «сборнику в пользу голодающих», сочиненному ребятами, которые озабоченно хлопотали, чтобы и им заработать на хлеб голодным в Лукояновском уезде, где в то время он устраивал столовые. Владимир Галактионович беседует с «авторами», советует, шутит. И дети понимают, что в его к ним отношении кроется не только любовь большого, взрослого человека к маленьким, но и вера, что они тоже делают нужное, серьезное дело, что и к ним он относится с уважением.

Горячо отзываясь на все общественные явления жизни, неся на себе постоянный гнет политического строя, Владимир Галактионович все же не был сторонником крайних мер революционного движения.

Однажды шел разговор о письме М.К. Цебриковой к Александру III*. Я, между прочим, рассказала, как Цебрикова часто журила группу молодежи в Петербурге за то, что они шли не тем путем, что де только эволюционный путь правильный, а всякая конспирация губит зря молодые силы. Но вот молодые вернулись уже из Сибири, а она старенькая пишет из Кадникова, Вятской губернии, иронизируя над собой: «ошиблась, – говорит, – немножко и сию хотя не в столь отдаленных местах, но в дыре ужасной. Вы теперь смеетесь там над "разумной старостью"».

– Только блаженные, как М.К. Цебрикова, могут думать, что ласковыми письмами сдвинешь царских особ на путь уступок», – говорит Ив. Ив. Сведенцев-Иванович – писатель-народник**. – Им тепло и от слишком теплой жизни они и разум потеряли. Расшатать эту крепость можно только взрывами, бомбами!.. За просьбу оглянуться на свои дела, выраженную в такой деликатной форме, они старого, заслуженного в глазах общества человека сажают в тюрьму, ссылают к черту на кулички! – горячился уже Иван Иванович, расхаживая по комнате и размахивая руками.

– Да у вас, Иван Иванович, жару хоть отбавляй, – пошутил Владимир Галактионович, – а я больше с ней согласен. Я нахожу, что крупные потрясения всегда много приносят осложнений. Историю народа круто не повернешь, как коня за узду. Правда, не было примера, чтобы верхи добровольно без натиска снизу сдавались. И правда, что у нас эволюционный путь еще крепче закрыт, но все же революционный путь – жестокая необходимость.

– Что же, вы будете пробавляться ласковыми прибаутками там, где требуется динамит? Хороши революционеры! Мало вас таскали по тюрьмам и ссылкам... – продолжал Иван Иванович укоризненно.

– Обо мне, что говорить, – прибавил, помолчавши, Владимир Галактионович. – Какой я революционер. Это сплошная ошибка нашего правительства, которое втягивает мирных культурных работников на путь борьбы... И все мои путешествия на север и восток надо отнести не на счет моей революционности, а на счет недомыслия того же правительства...

Владимир Галактионович, всегда готовый вложить свои силы на счастье, помощь ближнему, всю жизнь был жрецом и жертвой идеальной человеческой любви. «Угрюмые берега жизни» не сломили его энергии, и до конца дней своих он «налегал на весла», веря, что «все-таки... все-таки впереди огни!».

* Напечатанное в 1889 году в Женеве, в Вольной русской типографии «Открытое письмо М. Цебриковой к Александру III» (относительно внутренней политики царского правительства) нелегально распространялось в России. В этом письме обращено внимание и на произвол, царивший в русских тюрьмах и на каторге.

Цебрикова, Мария Константиновна (1835-1917). Слушательница Цюрихского ун-та. По возвращении в Россию была подчинена надзору. Имела связи с грузинским и сибирским революционными кружками. Автор рассказа «Дедушка», имевшего большой успех среди рабочих. В Париже в 1889 г. напечатала открытое письмо Александру III. – narodnaya-volya.ru

** Сведенцов (Иван Иванович, 1842-1901) – талантливый беллетрист, писавший под псевдонимом Иванович. Недолго состоял в военной службе. Его симпатичные по задачам беллетристические произведения печатались в «Отечественных Записках», «Вестнике Европы», «Русской мысли» и других изданиях. Критики подчас упрекали С. в том, что тенденция его произведений довольно азбучна; С. отвечал: «Я не виноват, если эту азбуку забывает общество; мой долг заставляет меня неустанно напоминать об этой азбуке». Лучшими произведениями С. считаются: «По тюрьмам (очерки из недавнего прошлого)», «Пришел да не туда», «Никеша очнулся», «Будильник». Собрание сочинений его вышло в Москве (1897-98). – *Из Интернета*

В Самаре

Весной 1897 года мы, Ульяновы, переселились из Нижнего Новгорода в Самару, куда Ульянов был приглашен сотрудничать с «Самарской газетой».*

Я с детьми направилась весной по Волге. Весь путь наслаждались мы волжским раздольем и весенней свежестью природы. Хороша, могуча Волга весной во время разлива! Все мели, все плешины покрыты водою, и плавно, празднично несет она, в свою очередь подчищенные, подкрашенные пароходы. По-весеннему ласково освещает и солнышко все окружающее. Особенно хороши Жигули, одетые яркой зеленью разных оттенков.

Каждый день вы слышите на пароходе мощные, разудалые напевы, восхваляющие «Волгу матушку», и невольно вспоминаются предания о делах давно минувших дней: вот «Царев курган», что давным-давно по приказу властителя Орды, захотевшему полюбоваться могучей рекой и всей окрестностью, быстро вырос на низком берегу: «каждый воин», как говорит предание, принес только по шапке земли, так велика была рать татарская. Там Стенька Разин дарит Волгу персидской княжней-красавицей, а там два брата корыстолюбца обращены в утесы и так далее.

Но вот и «Самарские ворота» – высокие холмы, подходящие с обоих берегов к самой реке: точно Волга в далекие времена, завоеывая свой путь, пробила горные массивы, чтобы опять направиться к югу. За «воротами» по левому берегу начинаются дачные места с выглядывающими из зелени разного вида и фасона дачками. А за ними сама Самара.

Трудно передать тот контраст, который представился нам, подъезжающим к городу: только что выплыли из обновленной весенним водами природы, а впереди большой город окутан, как будто белесоватой пылью. С парохода смотрим со всем вниманием: не то земля горит и обильным дымом скрывает от зрителей все, что она обрекла на гибель, не то упало с неба дымчатое облако и поглотило город.

* Во время работы в Нижнем А.Н. Ульянов удостоился критического отзыва В.Г. Короленка:

Ирония, сарказм, даже негодование – все это орудия законные, но все это должно бить в определенное место и не расплываться слишком широко. Когда здесь наши с Вами знакомые работали в «[Нижегородском] Листке», меня ужасно огорчали некоторые заметки А.Н. Ульянова по адресу, например, земства. Какое-то огульно-насмешливое отношение, как бы с некоторой высоты. Земство не земство, дума не дума. Между тем – земство в общем нимало не хуже печати в общем, нижегородское земство не хуже нижегородской печати, и если есть над чем посмеяться, то укажите, над чем именно, памятуя, что в этом земстве есть люди, которые свое дело на своем месте выполняют, может быть, лучше, чем мы свое. – Из письма А.М. Пешкову-Горькому, 12 мая 1895 г.

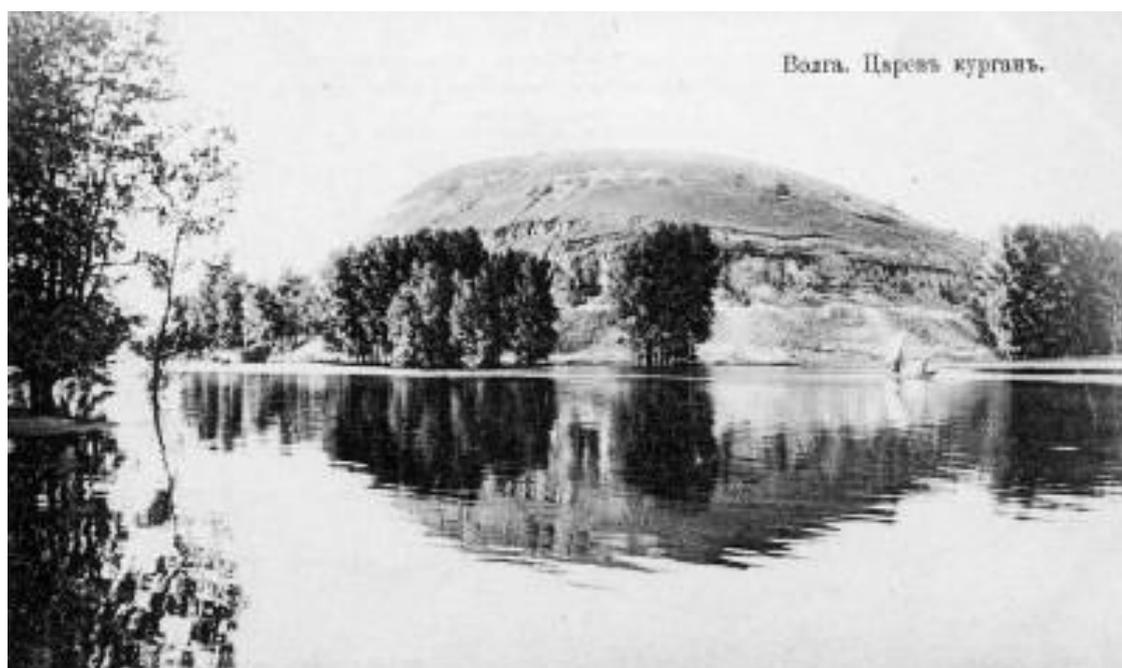
Что касается «Самарской газеты», то это была крупная провинциальная газета прогрессивного направления, издавалась с 1884-го по 1906 г. Она была основана антрепренером самарского театра И.П. Новиковым. Все доходы, приносимые ею, использовались на театральные дела. В 1894 г. Новиков продал «Самарскую газету» местному купцу С.И. Костерину. Новый издатель привлек к сотрудничеству в ней ряд прогрессивных журналистов. История «Самарской газеты» интересна тем, что она явилась колыбелью творчества не одного русского писателя. С февраля по декабрь 1894 г. в газете работал Е.Н. Чириков. Здесь он печатал свои небольшие рассказы, фельетоны и «Очерки русской жизни» за подписью Е. Валин. Е.Н. Чириков был непосредственным предшественником Горького в «Самарской газете» по двум отделам — очерка и фельетона. В «Самарской газете» начиналась литературная работа М. Горького. Он приехал в Самару по совету В.Г. Короленко никому не известным писателем. Сначала вел отдел «Очерки и наброски», а затем и отдел фельетона «Между прочим». С 31 марта по 14 апреля и с 11 июля по 1 октября 1895 г. Горький редактировал газету. На страницах «Самарской газеты» опубликовано свыше 500 различных публицистических произведений Алексея Максимовича и свыше 40 рассказов. С 1896 до начала 900-х гг. в газете работал Скиталец, продолжая эстафету, принятую от Горького. Скиталец, вел отдел фельетона «Самарские строфы», печатал свои стихи. На страницах газеты в разные годы печатались Н.Г. Гарин-Михайловский, А.А. Востром, критик Чехихин-Ветринский. Сюда присылали свои произведения Короленко, Куприн, Мамин-Сибиряк. В 1906 г. газета была закрыта за участие в революционных событиях. – *Из Интернета*

«Что это дым или пыль?» – спрашиваем у публики. Оказывается, мельчайшая пыль от известкового камня, которым замощены улицы Самары. И в сухое жаркое лето это обычное явление. А тут рядом, за Волгой тихо покачивают вершинами могучие осокори, пышный дуб, липа, серебристый тополь, благоухают в чистом прозрачном воздухе.

Но делать нечего, приходилось и нам погрузиться в эту белесоватую мглу – путь окончен, хотя расставаться с паромом не хотелось, особенно детям.



Жигули (дореволюционная открытка)



Через несколько дней мы наняли квартиру, адрес которой (Дворянская, 5), наверное, долго был памятен многим путешествовавшим в те годы по делам конспирации. Но постараюсь быть последовательной. Первыми знакомыми в Самаре были немногие из возвратившихся ссыльных – Ливановы Александр Иванович и Вера Ивановна, Долгов Николай Степанович и сотрудники «Самарской газеты». Эта газета редактировалась Алексеем Алексеевичем Дробыш-Дробышевским, который по возвращении из ссылки до конца дней работал в поволжских газетах – в Казанских и Нижегородских.



*Слева направо: Анастасия Петровна, Юрий, Николай (с собачкой) и Сергей Ульяновы
фото ~1897 года*



А.И. Ливанов, с фото 1874 г. (из собр. Музея «Каторга и Ссылка»)



Слева направо: неизвестная, А.П. и А.Н. Ульяновы (последний – под вопросом)

Но из Нижнего Дробышевский с некоторыми своими сотрудниками, наводившими в «Нижегородском листке» критику на «священные действия» нижегородской власти, должны были рассеяться, и Дробышевский с Ульяновым перекочевали в Самару, хотя Дробышевский, как редактор, был в высшей степени осторожным и предусмотрительным.



А.А. Дробыш-Дробышевский, с фото 1880 г. (из собр. Музея «Каторга и Ссылка»)

Однажды эту осторожность с большим огорчением я испытала на себе. В 1899 году, провожая сына [Николая] в столичный вуз, я пробыла там больше недели, знакомила сына с городом, припоминала сама и радовалась встречам со старыми уцелевшими знакомыми. Между прочим, побывала у Марии Павловны Лешерн, которая в это время жила у Калашниковой пристани, заведовала хозяйством Общества одиноких женщин.

Узнавши, что я знакома с составом редакции провинциальной газеты, Мария Павловна ухватилась за мысль напечатать стихотворение В.Н. Фигнер, проникшее на свободу из стен Шлиссельбургской крепости. Кажется, называлось оно «К матери»:

Если товарищ, на волю ты выйдешь
Всех кого любишь, увидишь, обнимешь
То не забудь мою мать!
[Ради всего, что есть в жизни святого,
Чистого, нежного, нам дорогого,
Дай обо мне ты ей знать!]
Ты ей скажи, что жива я, здорова
Что не ишу я удела иного –
Всем идеалам верна... и т. д.

«Номер газеты, где будет напечатано стихотворение, – говорила Мария Павловна, – мы сумеем переправить, а Вере Николаевне будет очень приятно. В столице этого сделать нельзя», – убеждала меня Лешерн. Я согласилась испробовать. Но, увы! на мои просьбы, убеждения, что печатаются более яркие стихи, Алексей Алексеевич противопоставил свое твердое суждение: «газету, безусловно, закроют, а многие ли поймут – откуда и от кого оно»...

После Н. Новгорода, где был такой подъем в публике, оживление, особенно когда были В.Г. Короленко и его друг Н.Ф. Анненский с его составом в статистическом бюро, около воскресных школ, народного дома и прочее, Самара показалась тихой, нудной, люди в ней чужие и дела их не интересные.



М.П. Лешерн-фон-Герцфельдт, с фото 1882 г. (из собрания Коммунист. Академии)

За первые годы жизни там памяты только вечера у судебного следователя Я.Л. Тейтель, на журфиксах которого можно было встретить самую разнообразную публику – положительное смешение «племен, наречий, состояний: бывали тут и судейские и путейские, бывали из учительского мира, медики, газетные работники».*

* Открытый дом Тейтеля описан Горьким в подробностях, начиная с убранства и кончая характеристиками людей, в нем бывавших. Среди них – потомки декабристов, марксисты, демократы, либералы, прокуроры, журналисты. Никто из них не скрывал ни своих мнений, ни убеждений. Министр юстиции, получив подробный доклад о доме Тейтеля, пригласил его якобы для того, чтобы разобраться в его гостеприимстве, и предложил ему повышение по службе при условии крещения. Путь вверх был открыт. На самом же деле это повышение должно было избавить Самару от неугодного судьи. Тейтель, не колеблясь, резко ответил министру: «У человека должно быть что-нибудь непродажное. Я не торгую своим Богом...» – **Из Интернета**

Вполне солидный возраст Тейтеля нимало не мешает ему делать привычное дело, которому он посвятил всю свою жизнь: он всё так же неутомимо и весело любит людей и так же усердно помогает им жить, как делал это в Самаре, в 95-96 годах. Там, в его квартире, еженедельно собирались все наиболее живые, интересные люди города, впрочем – не очень богатого такими людьми. У него бывали все, начиная с председателя окружного суда Анненкова, потомка декабриста, великого умника и «джентльмена», включая марксистов, сотрудников «Самарского вестника» и сотрудников враждебной «Вестнику» «Самарской газеты», – враждебной, кажется, не столь «идеологически», как по силе конкуренции. Бывали адвокаты-либералы и молодые люди неопределённого рода занятий, но очень преступных мыслей и намерений. Странно было встречать таких людей «вольными» гостями судебного следователя, тем более странно, что они отнюдь не скрывали ни мыслей, ни намерений своих. Когда появлялся новый гость, хозяйева не знакомили его со своими друзьями, и новичок никого не беспокоил, все были уверены, что плохой человек не придёт к Якову Тейтелю. Царила безграничная свобода слова. Тейтель сам был пламенным полемистом и, случалось, даже топал ногами на совопросника. Красный весь, седые, курчавые волосы яростно дыбятся, белые усы грозно ощетились, даже пуговицы на мундире шевелятся. Но это никого не пугало, потому что прекрасные глаза Якова Львовича сияли весёлой и любовной улыбкой. – **Максим Горький. О Гарине-Михайловском**



Яков Львович Тейтель

Писатель Гарин-Михайловский, как путеец строивший тогда Сергиевскую железную дорогу, иногда читал на этих вечерах свои произведения еще в рукописях. Удивительные то были собрания: «столы браные» уже не вмещали «званных» и незванных, и публика ходила по всем комнатам, сидела, где удавалось, и шумно вела беседы на разные темы. Хозяева только заботливо спрашивали «удобно ли».*

* У Тейтеля я и познакомился с Николаем Георгиевичем Михайловским-Гариным. Подошёл ко мне человек в мундире инженера путей сообщения, заглянул в глаза и заговорил быстро, бесцеремонно: «Это вы – Горький, да? Недурно пишете. А как Хламида – плохо. Это ведь тоже вы, Хламида?». Я сам знал, что Иегудиил Хламида пишет плохо, очень огорчился этим, и поэтому инженер не понравился мне. А он пиявил меня: «Фельетонист вы слабый. Фельетонист должен быть немножко сатириком, а у вас этого нет. Юмор есть, но грубоватый, и владеете вы им неумело». Очень неприятно, когда вот так наскочит на вас незнакомый человек и начнёт говорить правду в глаза вам. И – хоть бы ошибся в чём-нибудь, но не ошибается, всё верно. Стоял он вплоть ко мне и говорил так быстро, как будто хотел сказать очень много и опасался, что не успеет. Он был ростом ниже меня, и я хорошо видел его тонкое лицо, украшенное холёной бородкой, красивый лоб под седоватыми волосами и удивительно молодые глаза; смотрели они не совсем понятно, как будто ласково, но в то же время вызывающе, задорно.

«Вам не нравится, как я говорю? – спросил он и, точно утверждая своё право говорить неприятности мне, назвал себя. – Я – Гарин. Читали что-нибудь?». Я читал в «Русской мысли» его скептические «Очерки современной деревни» и слышал о жизни автора среди крестьян несколько забавных анекдотов. Сурово встреченные народнической критикой, «Очерки» весьма понравились мне, а рассказы о Гарине рисовали его человеком «с фантазией». «Очерки – не искусство, даже не беллетристика», – сказал он, явно думая о чём-то другом, – это было видно по рассеянному взгляду его юношеских глаз. Я спросил: правда ли, что он однажды засеял сорок десятин маком? «Почему же непременно – сорок? – как будто возмутился Николай Георгиевич и, прихмутив красивые брови, озабоченно пересчитал. – Сорок грехов долой, если убьёшь паука, сорок сороков церковей в Москве, сорок дней после родов женщину в церковь не пускают, сорокоуст, сороковой медведь самый опасный. Чорт знает, откуда эта сорочья болтовня? Как вы думаете?».

<...>И не скоро привык я к его барственной щеголеватости, к «демократизму», в котором мне сначала чудилось тоже что-то показное. Был он строен, красив, двигался быстро, но изящно, чувствовалось, что эта быстрота не от нервной расшатанности, а от избытка энергии. Говорил как будто небрежно, но на самом деле очень ловко и своеобразно построенными фразами. Замечательно искусно владел вводными предложениями, которые терпеть не мог А.П. Чехов. Однако я никогда не замечал у Н.Г. свойственной адвокатам привычки любоваться своим красноречием. В его речах всегда было «словам – тесно, мыслям – просторно». – *Максим Горький. О Гарине-Михайловском*



Николай Георгиевич Михайловский-Гарин

Около этого времени большое оживление внесли в самарскую жизнь организованные губернские комитеты по вопросам сельскохозяйственных и промышленных нужд. Публика точно тронулась с точки замерзания и, как будто, немного осмелела. Несмотря на преобладающее большинство бюрократического элемента и членов толстокожего происхождения, на собраниях отдельными кучками толковалось, что причины крайнего упадка экономического положения края – это непосильные налоги, бесправие населения, убивающее всякую инициативу в народе, над которым в то время еще тяготело телесное наказание. Суждения на эти темы долго продолжались и в частных домах.

Года через полтора по переселению в Самару, мне благодаря семейным обстоятельствам, пришлось все свое внимание направить на усиленный заработок – на уроки, работу по статистике. Только встречи с Долговым, с Ливановыми, с А.В. Пановым давали в виде отдыха интересы и впечатления иного характера.

Александра Васильевича Панова, вскоре после нашего отъезда, выслали из Нижнего, и он направился тоже в Самару. Нельзя обойти молчанием этого стойкого пропагандиста социалистических идей. Скромный, замкнутый по натуре, Панов, тем не менее, быстро приобретал друзей и на новом месте, среди которых неуклонно вел свою линию.

Сын сельского дьячка, кончивший Костромскую семинарию, Александр Васильевич, как выдающийся по способностям юноша, попадает стипендиатом в Казанскую духовную академию. Но с ранней молодости он понимает всю несправедливость, всю ложь, которой окутан темный, забитый нуждой народ, и решает свою жизнь посвятить раскрытию этой лжи. Он, как Вера Николаевна Фигнер (см. энциклопедический словарь, 7-й выпуск, 40-й том, стр. 461), взял из Евангелия высокие принципы и отдал себя всецело, до конца дней на служение ближнему.

Не придавая значения намеченной начальством для него профессорской карьере, Панов, преследует другую цель – быть полезным безграмотному народу. Набирая возможно больше платных уроков параллельно со своими курсовыми занятиями, он покупает популярную, полезного содержания литературу, и весной, как богач, обильно снабженный книгами, отправлялся на каникулы – на Унжу, в село Илешево Костромской губернии Кологривского уезда. Там, работая в поле наравне с крестьянами, Панов упивался своим заветным делом – обучением и развитием односельчан, а где возможно и пропагандой социалистических идей.

– А что, если бы вас, Александр Васильевич, по окончании академии посвятили в архиереи? – спрашиваю его однажды.

– Я для того только принял бы этот сан, чтобы в самую торжественную церковную службу, обратясь к народу, раскрыть ему всю фальшь, которой отцы церкви вместе с деспотами затуманили идеи Христа, идеи братства и равенства, – ответил он.

Но окончить академию Панову не удалось: за несколько дней до получения диплома он был арестован в связи с организацией казанских студентов, и написанная им диссертация (история папства за XIX столетие) породила только излишнее сожаление среди профессоров, что «пропал такой способный человек».

С этого времени жизнь Панова до конца дней проходит то в тюрьме, то под надзором полиции и в невольных переселениях из города в город.*

Простудившись в сырой, холодной камере в одно из сидений, Александр Васильевич понял, что жестокий недуг не пощадит и его крепкий и сильный организм: явилась одышка, кашель, неправильное сердцебиение и другие признаки чахотки, но на такие пустяки некогда было обращать внимание – «кругом слишком много дела».

* Жизнь Александра Васильевича Панова была короткой. Он прожил всего 38 лет. Но самое главное дело своей жизни Александр Васильевич успел совершить. В 1902 г. он составил один из самых популярных в России рекомендательных указателей книг для домашнего чтения «Домашние библиотеки». Тотчас после издания этот указатель занял прочное место в русской рекомендательной библиографии. По распространенности среди читателей дореволюционной России, по силе влияния на молодежь «Домашние библиотеки» Панова оставили позади прочие рекомендательные пособия, в том числе и нелегально изданные каталоги 1880-х годов.

<...>Александр Васильевич Панов родился в 1865 г. в семье священнослужителя в небольшом селе Костромской губернии. В двухлетнем возрасте лишился отца, с шести лет прислуживал в богатом доме. Семья оказалась в бедственном положении. К счастью, через некоторое время его удалось устроить в духовное училище на казенный счет. Училище, а затем Костромскую семинарию он заканчивает на отлично и в 1887 г. поступает в Казанскую духовную академию. По окончании академии А.В. Панова ждала научная деятельность. Его, как способного студента, предполагали оставить при академии для подготовки к профессорскому званию по кафедре истории, но за 17 дней до получения диплома он вместе с несколькими товарищами был исключен из академии за участие в нелегальном народническом студенческом кружке самообразования.<...>

В 1892 г. он был выслан в Нижний Новгород под гласный надзор полиции. Здесь произошло его знакомство с А.М. Горьким, который очень ценил А.В. Панова и не раз оказывал ему помощь. Он заведовал в нашем городе лучшими библиотеками: книжным собранием демократического Всесословного клуба и частной библиотекой А.И. Попова. В 1897 г. из Нижнего Новгорода Александра Васильевича в административном порядке высылают в Самару, а затем в Саратов. В 1902 г. после десяти лет ссылки он получает право свободного передвижения и возвращается в Нижний Новгород. Здесь он провел свой последний год жизни. Это был тяжелый год, наполненный важными событиями. Александр Васильевич активно работал в организованном А.М. Горьким «Книжном музее». Так назывался книжный магазин при газете «Нижегородский листок», который занимался распространением изданий «Знания» и других демократических издательств. Панов вел ответственную переписку с рядом городов и с границей, в том числе, и по вопросам запрещенной литературы. Деятельность Музея вызывала серьезные подозрения охранного отделения полиции. После публикации в октябрьских номерах «Нижегородского листка» за 1902 г. статьи Панова «Домашние библиотеки» он фигурировал в донесениях охранки, как автор «тенденциозного списка», подбор литературы в котором был «...сделан с очевидной целью воспитать читателя в смысле сознания неудовлетворенности существующего порядка вещей».<...>

Тяжелая болезнь (туберкулез, которым Александр Васильевич заболел еще в дни своего первого тюремного заключения) оборвала его жизнь. Умер А.В. Панов 5 декабря 1903 г. в Нижнем Новгороде, в маленькой квартирке на улице Полевой (ныне ул. М. Горького). В последний путь его провожали все руководители нижегородской социал-демократической организации – О.И. Чачина, муж и жена Пискуновы, В.А. Ванеев, Я.М. Свердлов и другие. Среди венков, возложенных на могилу А.В. Панова, был венок и от А.М. Горького. – **А.Л. Корнилова. А.В. Панов – нижегородский публицист, библиограф и общественный деятель. //«Панорама библиотечной жизни области. №4, 2010**

В один из благонадежных периодов своей жизни Панов занимал место заведующего в нижегородской библиотеке, представляющей собой богатое для провинции книгохранилище, где, между прочим, его предшественник А.Н. Ульянов, по возвращении из Сибири, составил систематический каталог и указатель журнальных статей за много лет.

Как в Нижнем, так и в Самаре, Панов быстро завоевал симпатию молодежи. К нему шли с доверием за указанием, что читать и как относиться к книге вообще. Для себя крайний ригорист, он тратил все свои заработки на книги, в которых хотя бы эзоповским языком, проглядывала ценная, демократическая идея, и со старанием распространял их, где только находил чтецов. Так, зная, что у меня чрез учительский мир были связи с деревней, однажды он сделал мне именной подарок – притащил шесть экземпляров романа «Борьба за право» (этот роман одно время был запрещен).*

Работая по статистике народного образования в самарском земстве, Александр Васильевич в то же время помещал в повременных изданиях свои статьи и корреспонденции, особенно в «Праве», защищая бесправных. За корреспонденции в «Праве» он был выслан и из Самары.**

Кажется, в Ставропольском уезде около 1900 года произошло потрясающее по своим подробностям дело между совершенно обезземеленными крестьянами и графом Орловом-Давыдовым, на латифундиях которого могла бы поместиться вся Швейцария и еще остались бы большие обрезки. Панов, со свойственной ему правдивостью, описал все действия «законной власти» в лице Самарского губернатора Бренчанинова. Не умолчал и о том, как жестоко секли престарелых «зачинщиков» деревни Борковки, которые с молитвой и с зажженными свечами решили запахать небольшой клочок от «божьей земли»***.

За эти корреспонденции, помещенные в «Праве», Панову опять пришлось искать место жительства, за исключением столиц и университетских городов.

Панов поселился в Саратове, где скоро образовался около него кружок молодежи. Завязались и конспиративные сношения, так как целью его жизни были дела, имеющие отношения к борьбе с деспотизмом во всех видах.

* По-видимому, речь идет о немецком писателе Карле Эмиле Францоze (1848-1904).

Самое характерное из его произведений — роман «Борьба за право», где изображена борьба приниженого русинского племени [(украинцев-земледельцев)] за свои права против австрийской бюрократической машины, поддерживающей крупных помещиков; ярко рисуя общественный и государственный строй Галиции, роман страдает крайней романтичностью в изображении храброго, умного, самоотверженного героя романа, крестьянина Тараса, являющегося главным борцом за право, а также и некоторых других героев. — Энциклопедия Брокгауза и Ефрона

** По-видимому, речь идет о еженедельной юридической газете «Право», выходившей с 1899 г. в Петербурге.

*** Крестьяне села Мордовские Борковки обвинялись в том, что с целью обратить в собственность сельских обществ Русской и Мордовской Борковок, землю, находившуюся во владении графа Орлова-Давыдова и расположенную близ деревни Русская Борковка, на которую названные сельские общества присваивали себе непризнанное за ними судом право собственности, они 1, 2 и 3 июня 1899 г., вопреки явно выраженной воле управляющего именем графа Орлова-Давыдова Бека, в присутствии оставленного им в поле приказчика Подсевалова и несмотря на запрещения полиции и земского начальника, выехали с сохами на вышеозначенную землю и насильно ее распахали в количестве около 150 десятин.<...> — **Начало речи Н.П. Карбчевского в защиту интересов гражданского истца, графа А.В. Орлова-Давыдова.**

Между прочим, находясь под надзором, прикрепленный к месту жительства, Александр Васильевич берет на себя доставить юбилейный адрес Н.К. Михайловскому от саратовцев с массой подписей, с содержанием горячих стремлений провинции выбиться из цепей самодержавного рабства*.

То были года, когда настроение свободомыслия в публике росло, крепла смелость. Когда стремления подпольно-революционной братии быстро распространялись и утверждались в массе. По своему мировоззрению Панов был последователем народофильской программы и прямых наследников ее – социалистов-революционеров.

Получивши право на свободное передвижение, Панов переключался опять в Нижний Новгород, где начал хлопотать об издании своего каталога «Домашняя библиотека». Уже безнадежно больной, когда призрак смерти витал над ним, он деятельно редактировал, дополнял, зная, как необходим систематический указатель по всем отделам знания, особенно для деревни. Спешно просматривая вновь вышедшие популярные книги, он искренне негодовал на свою немощь: «Кругом так много дела, с такою радостью люди стремятся к знанию, развитию, а я вот лежу».

5-го декабря 1903 года этого скромного, но чрезвычайно ценного человека, твердо стоящего лет двадцать на посту служения народу, не стало: замученный условиями русской жизни, он умер не достигши еще сорока лет.

«Самарская газета», редактированная Дробышевским, а потом В.А. Кудрявцевым, носила оттенок народнического направления. И сотрудничали в ней большей частью высланные из столиц или окончившие срок ссылки за Уралом и других местах. Другая газета – «Самарский вестник» Реутова, была направления материалистического. Разница в направлениях, как всегда, порождала полемику.

Кроме того в те годы революционно-настроенная молодежь и партийная публика переживала время горячих споров, пререканий, нередко и нареканий, особенно с появлением первых номеров «Революционной России», органа вновь образовавшейся партии социалистов-революционеров.

В это время я работала в статистическом бюро самарского губернского земства. Около статистики вообще и во все времена ютился прогрессивный элемент, особенно молодежь, внимание которой тянулось к «подполью». Заведующий статистическим бюро П.В. Пегеев, очень деликатный человек, но не столь яркой окраски социал-демократ, как его помощники – П.П. Румянцев, Пав. Ил. Попов, А. Гр. Шлихтер и другие, с трудом проводил, как ответственное лицо, руководящие по работе нити.

Статистическая работа была в периоде собирания подворной описи в уездах и первоначальной разработки материала. Но и на этой почве было немало столкновений: одни смотрели на мужика, как на существо с мелкобуржуазным укладом, другие полагали, что при строительстве счастливого будущего крестьянин со своей общиной и послужит главной базой.

* Михайловский, Николай Константинович (1842-1904). Виднейший публицист народнического направления. В 1869—1884 гг. главный сотрудник и соредатор «Отечественных записок», редактор журнала «Русское богатство». Участвовал в органе «Народная Воля». В число членов партии не входил, но был близок с многими видными народолюбцами. Вел непрерывно борьбу с марксистами, всячески обосновывая народничество. Эсеры считают его основоположником своей партии. – с сайта «Народная воля»

Сюжет с доставкой юбилейного адреса в Петербург возник в ноябре 1900 г., по случаю 40-летия литературной деятельности Н.К. Михайловского.

Социал-демократы переживались стадия так называемого «экономизма», о чем главным образом и трактовалось тогда в их печати. Брошюра Циммермана-Гвоздева «Ростовщичество и кулачество, как полезный элемент в деле пролетаризации крестьянина» была у всех, по крайней мере самарцев, тогда на языке*.

В свою очередь «Искра» – заграничный орган социал-демократов, начиная, кажется, с 25-го номера, щедро подливал масла в разгоревшийся огонь среди молодежи: вообще везде шли горячие споры на тему – чей путь правильный.

Невольно вспоминается неприятный эпизод с этими спорами. По какому-то поводу собрались у Кудрявцева Вл. Андр. человек десять-двенадцать, все публика своя – эсеровского направления или сочувствовавшая им. Только сотрудник газеты Сапожников пришел с неизвестным публике человеком, потом оказавшимся нелегальным социал-демократом.

Поговорили «о том, о сем» и, как всегда, перешли на злободневные вопросы. Кажется, у Асеева – техника с элеватора, оказался последний номер «Искры», где по обыкновению смачно критиковались и старые (бывшие народовольцы), и молодые последователи эсеровской программы.

– Вы что говорите о нападках «Искры»? А у вас их нет? Прочитайте, например, в шестом номере «Революционной России». Там, вместе с программой террора, мало ядовитостей на социал-демократов? – волновался молодой человек, пришедший с Сапожниковым.

– Тут нет никаких выходов против партии, нет высмеиваний! Вот читайте и убедитесь, – говорит один из присутствующих, бросая на стол маленькую брошюру, где была отпечатана на тонкой бумаге и программа террора. Каждый из защитников своей программы горячо доказывал ошибки идейного врага. А в это время в столовую – проходную комнату сразу с двух сторон вваливаются жандармы.

– О! брошюрка... – думала я, – всех обвинят в принадлежности к террору, – и незаметно, в суматохе передвижения, надвигаю на нее тарелку с колбасой.

Приказ – сесть по местам. Около сидящей публики поставлен страж. У дверей стоят понятые. В соседней комнате обыскивают одного за другим мужчин. У меня сверлит мысль, что сделать с брошюрой: взять в карман рано, будут еще обыскивать, да и жандарм, стоящий по другую сторону стола, зорко посматривает. Но мелькнула мысль, и я решила публику поить чаем.

– Екатерина Васильевна, – обращаюсь к хозяйке, – чай очень жидок, можно подварить? И получивши чайницу, удачно отвлекаю внимание стража в другую сторону вопросом «что вы там, господа, делаете?» и спешно брошюру запихиваю в чайник, сверху обильно засыпаю чаем и заливаю кипятком, но делаю это так быстро, что замечают только сидевшие рядом Сапожников и за мной на окне Протопопов.

– Может быть, подогреть самовар? – спрашивает хозяйка.

– Ну, зачем, он и так еще шипит, – отвечаю и усердно разливаю в стаканы и опять заливаю чайник, чтобы скорее сошла краска с бумаги. А публика пьет да похваливает, особенно обысканная, ничего не подозревая.

Обыск был поверхностный. Жандармы интересовались только сотрудниками «Самарской газеты», а нас всех, обыскавши, отпустили.

– Ловко же вы это проделали, – говорит провожавший меня до дому Протасов (впоследствии он был членом в Государственной думе от Николаевского уезда [Самарской губ.]).

– Но если бы эту брошюру захватили – едва ли нас, Василий Васильевич, так скоро выпустили по домам, – говорю. – Да на всякий случай и теперь следует навести порядок.

* Речь идет о книге Романа Эмильевича Циммермана (1866-1900, псевд. Гвоздев) «Кулачество-ростовщичество: его общеэкономическое значение» (издание Гарина, 1898).

Но в эту ночь никого, кроме газетных работников, не тревожили. И нелегальный благополучно уехал из Самары. А для меня этот вечер прошел особенно счастливо: в моей комнате на комод лежал экземпляр только что полученной газеты «Революционная Россия». Всегда до трусости осторожная, на этот раз, приготовивши кому-то передать, забыла захватить и теперь радовалась, что нехватила и что так все кончилось.

Надо сказать, что моя квартира на Дворянской 5, где я жила с детьми семь лет, помещалась в монастырском подворье. Первое время монашки, занимавшие квартиру внизу, не раз спрашивали – какой мы секты и вообще опасались. Но, как аккуратные плательщики, оказывавшие иногда незначительные услуги темным, полуграмотным женщинам – мы стали терпимы, а потом к нам привыкли.

Такой случай окончательно победил их: из монастыря (Вознесенского или Воскресенского, в 150 верстах от Самары) присылается с письмом тоже полуграмотная монашка. По случаю радостной встречи письмо отложили в сторону и не поторопились исполнением наказа. Дня через два обращаются ко мне за разъяснением. Оказывается, нужно застраховать семь или восемь билетов первого внутреннего займа на первое июля. А у них в распоряжении только конец сегодняшнего дня – 30 июня. К счастью успели застраховать. И надо же было случиться, что два билета попали в тираж. Таким образом я спасла монастырю около восьмисот рублей. И меня не только укрепили, как квартирантку, но сбавили с квартирной платы (с 18-ти до 16-ти рублей), и терпели, пока сама не уехала, несмотря на весьма неприятные для них осложнения с моей квартирой, как увидит читатель.

В точности не помню, с какого времени у меня в Самаре завязались сношения с конспиративно-разъезжающей публикой и с какого времени моя квартира стала служить для некоторых станцией, иногда для встреч и местом, куда привозилась изредка революционная литература.

Правда, были старые знакомые в Саратове, Твери, Москве и в других городах, и с возрождением партии социал-революционеров как-то само собой отыскивались люди сочувствующие этой организации, которыми так или иначе и пользовались. Мою квартиру спасало столько лет от наблюдателей главным образом то, что она имела два хода – один непосредственно в мою квартиру, другой – чрез монастырский двор, на который я имела право, как на черный ход. Особенно женщины, да в темных платочках, могли ходить сколько угодно.

Насчет монашек я была совершенно покойна: они были уверены, что ко мне приходят только по делам службы. А две из них были вполне преданы мне и всегда готовы спрятать, что требовалось. Мест для прятки у них было достаточно. Часто и теперь вспоминаю моих милых помощниц – Васену и Пашеньку. Сколько раз они спасали меня от беды.

С моей стороны публике был сделан строгий наказ, чтобы раньше четырех-пяти часов дня ко мне не приходите. Конечно, были нарушения. Приходит, однажды, ко мне на службу знакомая девушка-соседка и шепотом сообщает, что приехал гость и хочет сейчас же меня видеть. Неудобно но ухожу.

– Мама, мама! – встречает меня в прихожей мой малыш, – в твоей комнате сидит весь седой, усы длинные, но ты не бойся, это так, это Зеленский.

Увидевши Евгения Осиповича, я громко рассмеялась: седой парик, усы и борода на юном почти лице с черными блестящими глазами. В Самаре ему, правда опасно было показываться: в ней он жил и состоял под надзором полиции, но в гримировке переборщил.

– Вы подождите смеяться. Обсудим прежде, как бы мне повидаться со своими, – говорит Зеленский, – так стосковался о них, что рискнул. Я верю, что вы устроите.*

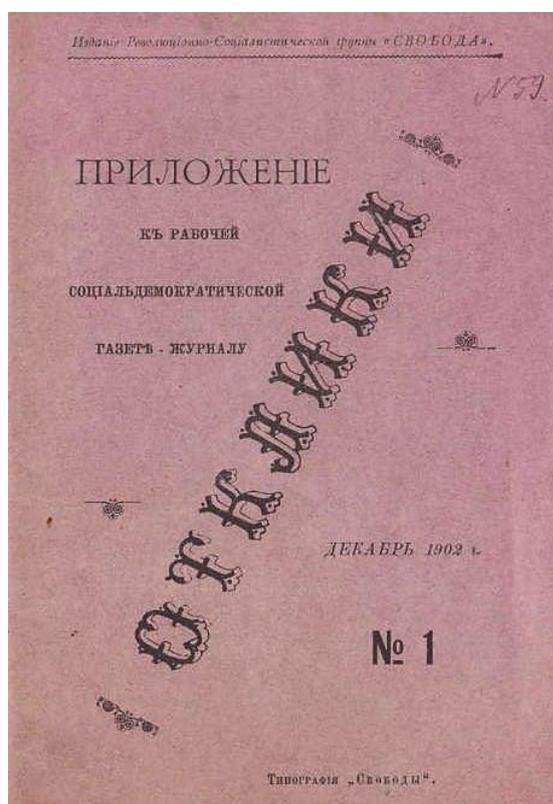
– Что же мне с вами делать? Моя квартира весьма ненадежная. До вечера вас куда ни то спровадить надо. Толкнусь к Матову, – но тут же явилась другая мысль, и я решила испробовать козырный ход. Иду к знакомому управляющему Торгово-Промышленным банком Медведеву, большому либералу по своим воззрениям.**

Прихожу и слышу, как он своим зычным голосом пробирает кого-то у себя в кабинете. Ну не в добрый час попала, думаю. В это время выходит из кабинета красный, как вареный рак, почтенного вида человек, а за ним и Медведев.

– Вы ко мне? – спрашивает, и, очевидно, догадывается по моему лицу, что при других говорить не буду, приглашает в кабинет.

Говорю, что нужно дать приют и что в сущности это небезопасно.

– Но почему с такой просьбой обращаетесь ко мне? Ведь ваша братия нас, либералов, и к придверию вашего будущего царства не допустит, как нечто нечистое, – смеется он.



К выпуску этой брошюры был причастен Е.О. Зеленский (публиковал в Женеве политические брошюры под псевдонимом Л. Надеждин)

* В Интернете содержится весьма скудная информация по сему персонажу: организатор Революционно-Социалистической группы «Свобода», близкой по взглядам к эсерам, саратовский [революционер] Евгений Осипович Зеленский, псевдоним Л. Надеждин, (1877-1905). Группа была образована в Швейцарии и прекратила свое существование в 1903 г. Издала единственную брошюру – **«Приложение к рабочей социал-демократической газете-журналу «Отклики» (единственному вышедшему номеру). Декабрь 1902 г. №1**

** Много шума наделала стачка приказчиков. 1 февраля 1905 г. на своем собрании 328 приказчиков разных торговых предприятий [Самары] решили добиваться 11-часового рабочего дня и избрали комиссию во главе с журналистом А.И. Матовым. <...>От имени комиссии управляющий отделением торгово-промышленного банка А.С. Медведев сообщил, что губернатор передал хозяевам требования приказчиков, но ответа не получил. <...>В тот же день владельцы торговых заведений согласились сократить рабочий день до 11,5 часов, предоставлять прослужившим более трех лет двухнедельный ежегодный отпуск. 15 марта приказчики вышли на работу. – **Из Интернета**

– Да потому, что нужно надежное пристанище, а потом я знаю вас за человека отзывчивого и умеющего в крутую минуту не считаться с разными верованиями и программами.

– Ладно. Ведите, кто там у вас.

В сумерки, побродивши по захолустным кварталам около Самарки, Зеленский (Е. О. Зеленский в революционно-конспиративном мире был известен как «Надеждин») был водворен в служебной комнате для приезжающих по делам банка, где и пробыл дня три со своей женой и маленькой дочкой. И впоследствии не раз приходилось обращаться к Медведеву и не напрасно.

Мне, в то время пассивной участнице в делах конспирации, приходилось спорадически выполнять волю других и с чувством глубокого почтения относиться к людям, которые отдавали себя всецело на борьбу с самодержавием. Хотя я всегда была против террора, но не могла не восхищаться тем высоким чувством, той решимостью, с которой человек идет положить жизнь свою ради идеи, за других, и верила, что в таких случаях только высокий душевный подъем, особенная чистота жертвенности руководит человеком.

Около этого времени я познакомилась со старой народоволкой и убежденной террористкой против самодержавного центра – Брешко-Брешковской. Екатерина Константиновна впервые зашла ко мне, кажется, в конце 1900 года, хорошо не помню. Я в это время страдала от дикой боли – в этот день мне варварски содрали на большом пальце ноготь. Вдруг слышу добрый, «ятный» голос подходящей ко мне почтенного возраста женщины.



Е.К. Брешко-Брешковская, с фото 1882 г. (из собр. Музея Революции СССР)

– Ну, что охать да вздыхать? лежать теперь некогда, работы кругом по горло, – начала она с места в карьер на свою тему.

Где я ее видела? думалось мне.

– Весточку принесла тебе от приятельницы из Саратова. Все живут, не охают, на хорошее надеются, – продолжала она.

Я окончательно вспомнила, кто это. Раньше лично я не знала Екатерину Константиновну, видела только ее карточку и слышала, конечно, о «бабушке русской революции». И вот какое счастье, если бы только не болел мой палец. Но она сразу принялась утихомиривать мою боль: дала хорошую порцию валерьянки, устроила больной ноге повыше ложе и, право, сразу мне стало легче.

А затем, около кровати очутился стол с чаем, и полились интересные речи. Все домашние давно спали, а две фантазерки мысленно переехали в мир лучшего будущего и наводили порядки в нем, как в своей квартирке: никакие препятствия не встречались на пути наших фантазий. Я, конечно, больше слушала. Много она рассказывала о своих переживаниях в каторжных работах, о людях, с которыми ее сводила судьба на жизненном пути. И я, в сущности робкая при встречах с новыми людьми, подошла к ней с радостью, точно знала ее много лет.

Пробыла у меня «бабушка» на этот раз дня два, не выходя из квартиры. Познакомилась кой с кем из самарцев и, как всегда, оживленно беседовала. С этого времени Самара стала подходящей станцией на путях Екатерины Константиновны.

Энергия, с которой «бабушка» стремилась все захватить, всех распропагандировать, действуя «ласками и сказками», была поразительна. У нее была жажда всех поставить на свою линию. Однажды, зашел разговор о Степанове (Степанов С., бывший в ссылке на Дальнем Востоке), служившем тогда за Волгой в имении Ушковых. У «бабушки» сейчас же явилось желание использовать его для партийных дел.

– Съездим, девонька, к нему. Деньги очень нужны, а он, я знаю, парень отзывчивый, да и немало получает, как управляющий такого громадного имения, – говорит Екатерина Константиновна.

– Ой, ничего не выйдет: у него жинка строгая, – говорю.



Из всего великолепия бывшего имения купцов Ушковых в с. Рождествено сохранился спиртзавод и кое-что еще, но не усадьба (современное фото)

– Нельзя так мрачно смотреть на людей. Он не юнец, жинка тут ни при чем, – с обидой в голосе за Степанова говорит «бабушка».

– Съездим, увидим.

Был праздник. Съездили, хорошо прогулялись. Но возвращаясь от Степановых, «бабушка» всю дорогу ворчала и ахала: ах, эти женщины, и чего только они не сделают с мужчинами.

Все ее посещения ко мне сходили благополучно, а мы обе были уверены, что «старенькая гостья» не возбудит ни в ком подозрений, хотя она в это время была неувеличимым бельмом в глазах охраны. Но в конце концов чуть не случилась большая беда.

С «бабушкиной» легкой руки эсеровская публика стала чаще заглядывать на Дворянскую, 5, чаще привозилась революционная литература, и у нас самарцев прочнее завязывались сношения с деревней, с учительским миром, особенно чрез братьев Петрова-Скитальца. Один из них – Валериан, учительствовал в Царевщине, а другой в Симбирской губернии – за Волгой. Кроме того, у Николая Степановича Долгова были связи с крестьянами-возчиками пшеницы с разных уездов в самарские амбары.

С приездом Елены Ивановны Аверкиевой на жительство в Самару моя жизнь стала полней, интересней. Помимо того, что это был для меня дом, куда я могла во всякое время, будучи в плохом настроении «пойти», зная, что примут задушевно, родственно – кроме этого Елена Ивановна, всегда смелая, ровная с добродушной усмешкой ко всяким невзгодам относящаяся, вообще действовала на людей успокаивающе, бодряще.



Е.И. Прушакевич-Аверкиева, с фото 1874 г. (из собр. Музея «Каторга и Ссылка»)

В Самаре она очутилась потому, что из Саратова, где находилась под надзором, попросили убраться. Саратов в те годы считался гнездом нелегальщины, и Елена Ивановна, конечно, знала всех партийных товарищей, так как сама была глубоко идейным человеком. Мы быстро с ней сжились, сроднились. Часто виделись, делились печалью и радостями.

Живя очень скромно, поддерживали друг друга морально и материально. Летом, после моих служебных часов, иногда сядем в ладейку и айда в Симбирскую губернию, на пески. Изредка пред праздниками за Волгой проводили и ночи среди природы, что было большой радостью для детей.

Интересны были и зимние вечера, проведенные с Еленой Ивановной. У нее так много впечатлений от прошлого, о том как она юной девушкой была охвачена партийной работой. «Я ничего по-ученому в социализме не понимала, но чувствовала, что среди этих людей правда и самый настоящий смысл жизни», – говорила она о времени своей работы в тайной типографии и вообще, когда с радостью стремилась отдать себя на конспиративные дела. В комическом виде представила свой «фиктивный» брак ради спасения Александра Николаевича Аверкиева. «А в результате этой "фикции" вот шесть девчат и сын», – смеялась она.

Сидим, однажды, за самоваром и вспоминаем публику, которая обрекла себя всецело на конспиративно-революционные дела и мотается по лицу земли без приюта, без угла, преследуемая по пятам, и так стало их жаль, так не ловко за свой уют, что в этот момент, казалось, ни от какого рискованного дела не отказалась бы. Вспоминая, кого знала, Елена Ивановна назвала Лебедеву Марью Осиповну.

– Нет, такой не знаю, – говорю я.

– Ну, так еще узнаете.

– Мама, а ты еще забыла про Гуси! – кричит из своего угла ее девочка Нина, игравшая там в куклы с сестренкой Таней. Но в это время кто-то помешал нашей беседе.

На другой день в воскресенье заходит ко мне незнакомая женщина с сумочкой и называет себя той самой Марией Осиповной, о которой вчера вечером вспоминала Елена Ивановна.

– Я от «бабушки» вам поклон привезла и гостинец, – говорила она обычную в таких случаях фразу, так как новое лицо всегда приходило от кого-нибудь.

Снявши ветром подбитое пальтишко и такую же прохладительную шляпу, хотя на улице было весьма морозно, Мария Осиповна, озябшая, беспокойная на вид, быстро рассказывала, где и когда видела Екатерину Константиновну, спрашивала, как живем в Самаре, есть ли тут своя публика и прочие. Причем имела такой вид, что она очень куда-то спешит, или жалеет каждую минуту, проведенную не в движении, не в делах конспирации. Ее большие серые глаза и в те минуты точно искали, чем бы она могла быть полезной, с удивлением присматривалась к тому, как люди могут жить спокойно, оседло, когда кругом так тревожно, так мало людей при настоящем деле.

Таково было впечатление от этого конспиративного почтаря. В то время, о котором я говорю Мария Осиповна жила (кажется) постоянно в пути, перевозя поручения, литературу, и подозрительно, был ли у нее свой угол, где бы она могла отдохнуть, обогреться основательно. Бывало, проходит месяц, другой – Мария Осиповна не показывается. «Ну, должно быть, стряслась беда», – говорим с Еленой Ивановной. Но, глядишь, она тут как тут: иззябшая, во всем заношенном. А ночку отдохнет, обмоется и опять летит в путь по поручениям, опять скроется в волнах конспиративной жизни.

Устраивались в моей квартире этой налетной публикой встречи, свидания. Помню, был и Азеф, виделся с «бабушкой» и еще с кем-то. «Мне этот человек не нравится. Особенно глаза неприятные», – говорю вечером, оставшись с Екатериной Константиновной.

– Глупая ты, девонька, по наружности судишь людей: это один из деятельнейших членов партии, и притом человек, который делает за пятерых, – убеждает «бабушка» с волнением.

У каждого в прошлом много разных встреч, событий, переживаний, и, как бы бедно ни жил человек в смысле полученных впечатлений, краски пережитого очень разнообразны. Выпадает на долю иных и большее счастье, выпадает и великое горе. А между этими гранями краски жизни меняются, перемещаются.

Невольно вспоминаются события приблизительно одной окраски, одного характера - это жандармские обыски. Обысков в общем пережито не мало. Начались они с молодых лет – в Петербурге и продолжались почти во всех городах, где приходилось жить. И всегда-то они связаны с волнениями, а то и с увозом того или иного члена семьи. Но особенно увеличивается тревога во время обыска, когда в квартире присутствуют гости, тем более, если среди них окажется «нелегальный». Хозяин обыскиваемой квартиры готов, кажется, вылезти из своих границ, и нервы его напрягаются, как струны: из слов, действий, распоряжений ворвавшихся врагов, из самого, кажется, воздуха улавливается возможность обморочить их, провести, обмануть. И, боже мой, сколько радости потом, когда они, не заметивши игры, не заметивши, что у них, как говорят, на носу деревня сгорела, уходят с чувством исполненного долга. Невольно вспоминается один из таких обысков.

Хочется думать, что все присутствовавшие тогда на нем, хотя и рассеяны по белу свету, но живы, и, прочитавши эти строки, еще раз порадуются благополучному исходу того обыска.

Первый обыск у меня в Самаре был благодаря жильцу – Петру Гавриловичу Кузнецову (П.Г. Кузнецов по направлению социал-демократ большевик, умер в Москве в 1926 г.). Второй раз орда ворвалась в четыре часа утра и стремительно рассыпалась по всем комнатам. Полезли на чердак, в кладовую. Ни книгами, ни тетрадями не интересовались, а высматривали под кроватями, в шкафах, всматривались в спящих детей, и так же скоропалительно исчезли, без всякой письменности. После я узнала, что кто-то в пути удрал. Дело плохо, думала я: значит кто-нибудь записал адрес.

Но вот обыск 28 апреля 1901 года. Я занимала квартиру во втором этаже, состоящую из четырех комнат. Внизу жили монашки. Занимавший у меня комнату Кузнецов, газетный работник, уехал в Казань и комната не была еще прибрана от массы листков, брошюр, земских и думских докладов и прочего бумажного хлама.

В указанный день как раз приехал мой старший сын [Николай] из Петербурга, изгнанный технолог после казанской истории*, приехал с двоими товарищами, высланными в Самару – Чарушиным и Аносовым. Сына, как работавшего раньше по подворной описи в самарском статистическом бюро, пригласили в тот же вечер на собрание статист[ик]ов, а я с гостями беседовала и чаевничала. Гости были очень интересные: с одной стороны прибывшая молодежь рассказывала о событиях последних дней в Петербурге и о том, как усердно трудилась полиция, с царским приспешником фон-Валем во главе, вразумить нагайками молодое поколение, и о том, как вступились за молодежь почтенные люди из общества, и что из этого воспоследовало.

* Собравшиеся 4 марта 1901 г. в Петербурге около Казанского собора студенты требовали возврата «академических свобод» и протестовали против «временных правил» 1899 г., позволявших, в частности, отдавать в солдаты студентов, обвиненных в антиправительственной деятельности. В январе 1901 г. 183 студента Киевского университета были отправлены в солдаты. В ответ на это в феврале-марте во всех университетских городах произошли демонстрации и «забастовки сочувствия». Участники манифестации в Санкт-Петербурге у Казанского собора были жестко разогнаны городскими и казаками. Среди демонстрантов были убитые и раненые. – *Из Интернета*



Студенческая демонстрация у Казанского собора 4 марта 1901 г.

О всех этих событиях мы провинциалы знали из газет, но кому не известно, как эти сообщения фильтровались цензурой. А тут сами участники. Передавалось живо, с подъемом, как только что пережитое. Так ярко рисовалось движение вперед, верилось, что теперь ничем не удержать этого желанного движения, что «молодой зеленый лес» шумит, упорно мыслит, живет. Рассказывалось с таким молодым задором, что битая и загнанная в полицейские дворы молодежь казалась победительницей.

С другой стороны гостями были двое стариков – один житель Самары Н.К. Мединцев, тоже с особым настроением в этот вечер, так как у него за пазухой имелись свеженькие первомайские прокламации, отпечатанные на беленьких и розовых листках: и провинциалы, значит, могут показать, что и они не лыком шиты, и они не спят. Тем более, что эти гостинцы отправлены в Уфу и Златоуст, где рабочая армия значительна.

Но самой интересной гостьей, для молодежи особенно, была старая народница Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская. Живая, энергичная, она со всюю страстью призывала в этот период молодежь и стариков в ряды борцов против разнузданного царизма. Только за день перед этим она приехала из Перми, где виделась «со своим народом».

– Ну, теперь уже я отдохну у тебя, как следует, – говорила она, снимая свое незатейливое одеяние. Она всегда была без багажа, и безнадежно было бы снабжать ее чем-либо дорожным: она все равно приспособит и подушку и лишний платок то больному ребенку, то старику немощному, а сама она еще так сильна, что «нежиться и стыдно».

– Устаете вы, вероятно, от постоянного путешествия? – спрашиваешь ее, бывало.

– Что ты, девонька, да велики ли мои года? – удивляется она, и в голосе звучат такие молодые нотки, что невольно чувствуешь, как много еще сил у этого человека, пережившего столько волнений.

Надо прибавить, что дня за три-четыре одна из «разъезжающих тружениц», как мы называли их, привезла чемоданчик брошюр и газет. Хотя в подворье у меня были прекрасные прятки, все же лишним грузом для беспокойства в часы обыска служила литература. Кроме того, сын, уходя на собрание, сказал: убери мама, мои записки, небольшой пакетик, там на столе. Но с гостями я эту просьбу забыла.

Прибывшие студенты не знали, кто эта почтенного возраста женщина, и сначала с любопытством, а затем с напряженным вниманием слушали «бабушку», которая со свойственной ей живостью говорила о том, что как в больших центрах, так и в глухих провинциях, недовольство существующим охватило всех трудящихся, и что сейчас энергичная работа в смысле пропаганды социалистических идей будет продуктивнее, чем когда-либо.

С живым юмором, между прочим, преподавала краткие советы в смысле конспирации. «Вот на днях, – говорила она, – привязалась тень поганая. Что ему, думаю, от старушонки надобно. Пройдя два-три квартала, присела у ворот на скамеечке. А он, негодяй, на другой стороне улицы остановился, закуривает. Ну теперь – кто кого, думаю, и поплелась садом мимо собора, а поравнявшись с воротами его, начала усердно молиться опираясь на палку. И что бы вы думали? как черт от ладана, отстал. Вот ведь, деточки, как иногда приходится увертываться», – закончила «бабушка».

После чаепития, «бабушка» с Медынцевым уселись в сторонке, на кушетке, а молодежь осталась у стола. Между прочим, студент Чарушин вынул из кармана тужурки записку с именем и адресом одного самарского социал-демократа и спросил, как найти его. Давши ему объяснения, я посоветовала бумажку уничтожить: «адреса и имена следует брать памятью или записывать знаками, себе только известными», прибавила я. Чарушин послушно порвал бумажку и тут же, смочивши, скатал шариками.

Делая замечания по поводу чужих имен и адресов и перетирая чайную посуду, я услышала тихий звонок и быстрые шаги девушки, спешившей из кухни коридором, чтобы открыть дверь. «Должно быть, сын вернулся», – думала я. Но в это время открывается дверь и чужие, грозные люди целой толпой ввалились и заполнили всю прихожую. Мы застыли на своих местах. Впереди жандармский ротмистр фон Петипаж – высокий, с выпуклыми глазами на длинной физиономии. За ним товарищ прокурора, жандармы, полиция, понятые.

Сочетания всей преступности моей квартиры в этот момент ярким букетом нарисовала мне память. Вспомнились и записки сына «там на столе». Если бы кто прикоснулся в это время к моему стулу – понял бы, до каких размеров может доходить биение человеческого сердца. «Бабушка тут! Что же это будет?» – невольно воскликнула я мысленно. А ее характерный лоб, обрамленный седыми волосами, мог подсказать каждому, видевшему ее портрет, кто она.

– Вы Ульянова? – спрашивает меня ротмистр, – на основании статьи (кажется 129 или 29) у вас я должен произвести обыск. Прежде переписать присутствующих, – говорит он и раскрывает портфель.

– Сколько холоду напустили, – говорю громко, – накиньте на себя, а то совсем расхвораетесь, – обращаюсь к «бабушке», подавая ей большой платок. Она точно поняла мою мысль и прикрылась с головой. А свою фигуру с их приходом согнула до ветхости.

– Как старушку-то звать? – спрашивают меня, так как она «не дослышала» их вопроса (после обыска она говорила, что «с момента их прихода я отдалась твоей воле: стала глуха и нема»). Называю первым попавшимся на память именем, кажется, Екатериной Петровной Власовой, но сразу же и забываю.

Переписавши всех, даже детей, начали выводить мужчин отдельно каждого в другую комнату для обыска карманов, одежды, вплоть до белья. Вижу первым пошел Медынцев и скоро с улыбкой вернулся, плотно усевшись на старом месте, на кушетке. «Значит, прокламации не попали». После узнала, что успел на время обшаривания его персоны засунуть под кушетку. Появилась какая-то баба, безрезультатно обыскала нас с «бабушкой».

– А ты тоже Ульянов? – спрашивает высоченный ротмистр маленького сынишку, стоящего у стола с книжкой.

– Да, Ульянов. А вам что? – в свою очередь спрашивает удивленный мальчик.

– Ну-ка, покажи, какую книжку читаешь.

Но, очевидно, тут же устыдился: посмотрел на переплет, внимательно на мальчика и вернул книгу. Потом, посоветовавшись с товарищем прокурора, начали обыск с дальней комнаты, рядом с кухней, в которой, как сказано выше, было разбросано много бумажного хлама. Очевидно этот хлам особенно заинтересовал их. Нам всем приказано сидеть на местах. В дверях поставлен дюжий рыжий жандарм с маленькими сверлящими глазками.

– Скажите ротмистру, что я не подпишу протокола, если обыск будут производить без меня, – говорю я жандарму, – пожалуй, найдут чего и нет.

Получаю разрешение пройти в ту комнату, и по пути в прихожей набрасываю на себя накидку: почему-то холодно, говорю вслух, а в голове соображение – «авось понадобится».

Обыскивающие сосредоточенно просматривают разные бумажки, брошюры, значит, обыск протянется долго, так как в квартире книжного материала много. У меня гвоздит в голове одна мысль – убрать с глаз «бабушку» и не допустить их сейчас в маленькую комнату – продолжение прихожей, где на столе лежат какие-то записки сына [Николая].

Обыск комнаты подходит к концу, взяты какие-то два исписанные листа.

– Господин ротмистр, пожалуйста, обыщите теперь комнату там за столовой, – прошу я невинным голосом, – дети должны лечь спать, одному рано в реальное, а другой не совсем здоров.

Просьба уважена, и искатели перекочевали в указанную комнату. Ротмистр с товарищем прокурора, рассевшись в столовой за столом, рассматривали подаваемые им с полок этажерки книги, тетради, записи.

Вот две книги – Иеринга «Борьба за право» и Токвиль «Старый порядок и революция» – приводят в смущение ценителей литературной благонадежности: преступные книги или? – спрашивают глазами друг друга. Я еле сдерживаю улыбку.

Но в это время оглядываюсь назад в обыскиваемую комнату и сердце мое сжалось от страха: околоточный с глупо виноватой рожей тщетно старается открыть «бабушкину» ручную сумочку. «Что там? вдруг паспорт, значит, катастрофа неминуема. Все равно», – и я стремительно подхожу к нему: не ломайте замок! сама хозяйка откроет, – говорю и быстро отбираю у него сумку, а переходя комнату, успеваю под накидкой ее открыть. Заслоненная мною от жандармов, «бабушка» незаметно вынула свернутые бумажки. «Видите как просто!» – говорю, возвращая сумку только с носовым платком (паспорт, как оказалось, в сумке был настоящий, выданный ей на проживание в Восточной Сибири, как лишенной прав дворянства, на имя крестьянки села Зуева, Иволжинской волости, Селенгинского уезда, Забайкальской области Екатерине Константиновой Брешко-Брешковской).

– Вон сколько их тут! – говорит в это время товарищ прокурора, высыпая из старой рукописи, действительно, много чистых почтовых марок. Очевидно, случайно сохранилась плата за корреспонденции еще – мужа.

– Это хорошо! – говорю я не то в ответ находке, не то только что содеянному с сумкой.

– Вот видите, – прибавляет ротмистр, глядя на марки.

– Что вы хотите сказать, что нет худа без добра? – спрашиваю я и, борясь со своим волнением, вхожу в шутливый тон.

– А где ваши остальные гости? – вдруг обращается ко мне ротмистр, смотря прямо в глаза.

– Ваш осведомитель, очевидно, ошибся, или не туда вас направил: мои гости все налицо.

Опять шуршание перебираемых бумаг, книг. Спаленку осмотрели, навалили кучу книг на комод, на пол – полный беспорядок, точно после пожара.

– Эта комната больше не понадобится вам? – спрашиваю. – В таком случае, Юра, живо спать, а то завтра опять чихать да кашлять начнешь. А вы, бедная, старенькая, в какую кашу попали. Вас сейчас, пожалуй, не выпустят. Идите, ложитесь на мою постель.

– Что вы, сударыня, я измажу там все, возражает она слабым голосом.

– Ну, не велика беда, потом вытрясем.

И она, опираясь на мою руку, волоча ногами, поплелась в спальню. Засунувши под тюфяк содержимое «бабушкиной» сумочки и уложивши малого и старенькую, я прикрыла к ним дверь.

Начали обыскивать столовую. «Тут ничего не может быть, – думаю, – только бы кушетка оказалась чистой от свеженьких прокламаций». А в голове сверлит другая забота: какие там записки на столе? Но блеснула мысль и я озабоченно прошу у кого-нибудь спичку, чтобы осветить маленькую комнату, куда сейчас должны перейти искатели. Делаю все шумно, открыто. По пути замечаю, что публика уж слишком накурила: «дышать нечем», и мне удается, поставивши в комнате лампу, быстро взять со стола и подпихнуть под накидку маленький, отдельно лежащий, пакетик. Но показалось, что рыжий дьявол заметил что-то, и я поспешила положить пакет в открытый шкаф в прихожей, прикрывая его дверку, а проходя мимо жандарма, демонстративно вытирала руки носовым платком.

Между тем, из столовой вся орда перешла в маленькую комнату. Там на стуле целый тюк с книгами – это еще не разобранный багаж сына, но я вполне уверена, что в нем чисто. Ротмистр с помощниками впились в тетради, чертежи с вычислениями, думая, очевидно, отыскать план дворца или тюрьмы для коварных целей, и не скоро поняли, что эти вычисления и чертежи касаются только технологии.

Передняя половина квартиры была очищена и огонь погашен. Только при свете луны выступал произведенный там беспорядок. Но в коридоре, против двери продолжал стоять рыжий жандарм и очень он мне мешал. В задней комнате молодежь с понятиями над чем-то громко смеялись. Иду туда и шепотом прошу Чарушина и своего реалиста пройти в столовую и поднять там возню: «мне так надо», – добавляю. Минуты через две ребята, действительно, подняли возню на славу. Вижу и жандарм повернулся к ним, смеется, а это мне и на руку: один момент и пакетик из шкафа очутился под накидкой.

И я спешу в столовую, громко выражая негодование: «нашли время поднимать возню, да и больные тут спят». «Ты, мама, с ума сошла?» – шепчет реалист, не понимая моих действий. А я быстро прохожу к «спящим», запикиваю под тюфяк пакетик и так же быстро возвращаюсь к дверям комнаты, где продолжают искания. У меня точно гора с плеч упала. «Только бы скорей ушли», – думалось.

В это время полицейский, стоявший у парадной двери, вводит в квартиру человека. «Ваша бродь, человек пришел». «Ладно. Живо обратно на пост!» – приказывает бродь. Это сын вернулся с собрания. Он отыскал меня глазами и дал понять, что «чист», не беспокойся (де) за меня, и попросил прежде всего вымыть руки, чем удивил нас всех.

Потом объяснил, почему: «Подхожу к дому, а в открытых дверях полицейский с папироской. Ну думаю, тут плохо. Прошел мимо, за угол, приподнял на мостовой камень и подложил порванные бумажки, заметки о собрании и сразу же от рук отвратительно запахло». Его обыскали и потребовали дать объяснение некоторых чертежей. А, затем, очевидно, уставши, искание продолжали без особенного усердия. Увидевши еще шкаф с книгами в прихожей, ротмистр пришел в ужас: «однако какие у вас книжные запасы».

– Что бы вам было над чем потрудиться, – смеюсь я.

Небрежно осмотрели шкаф, сундук, кухню и прочее и потребовали всех подписаться под протоколом. Опять сердце бьет тревогу. Но слава тебе создавшему недогадливых людей: спящих – мальчика и «старенькую» не потревожили, а может быть и забыли.

Вся банда удалилась. Закрыта за ними дверь, и мы все собрались в столовой. Даже малыш не спал и своим маленьким сердцем трепетал за маму.

– Да ты у меня просто полковник! Знаешь, девонька, самый страшный момент этого обыска – когда ты у них мою сумку вырвала, – говорила «бабушка», крепко меня целуя.

– Качать ее! – смеется молодежь.

А «полковник», так разнервничалась, что потребовались холодная вода и валерьянка.

– Ты только сплеховала, когда припрятала и пакетик: точно распряглась и тон переменяла. Если бы они были поумней, могли бы догадаться, что что-то произошло. Ну, будем радоваться, что они такие дураки.

Всю ночь я не спала: вдруг вернутся. Но утром удалось «бабушку» благополучно устроить в более безопасной квартире.

Долго я не могла успокоиться после этого обыска. Много лет спустя в дружеской беседе меня просили рассказать самое страшное, пережитое мною, и я не могла определить, что страшнее – этот обыск или та ночь, когда мы – муж, я, маленький сын и дочь только случайно не легли под ножом убийцы.

В последние годы не раз приходилось слышать от заезжавших в Самару рассказы с разными вариациями о том, как «бабушка» попала на обыск, причем по рассказам одних в Казани, других в Киеве, и мне, слушая эти басни, приходилось вместе с говорившими охать и ахать: скромность присутствовавших на этом обыске испытана, как говорят, на все сто процентов.

В 1902 году весь состав статистического бюро за придирчивое отношение управы, особенно ее правого крыла, к заведующему П.В. Пегееву и вообще к статистике решил забастовать – подать в отставку.

Но, как всегда бывает, ушли трое-пятеро, в том числе я, хотя по статистике еще долго имела сдельную работу, служа уже в Торгово-Промышленном Коммерческом банке.

В банке, как во всех тогда учреждениях, гнезился уже революционный элемент. Особенно выделялся среди малокультурных банковских служащих социал-демократ Иероним Казимирович Пиотровский. Конечно, и он, как все социал-демократы, отрицательно относился к «утопистам-народникам», которые «свою расплывчатую», как он говорил, «насчет мужиков программу подбадривают террористическими вспышками». И где только мог подчеркивал свое неблагоприятное к социал-революционерам отношение. Впрочем такое отношение не мешало им совсем иначе принимать тот или иной удачный террористический акт.

Невольно вспоминается сцена в банке в половине июля 1904 года. Подходит утром Еронимыч (как звали за глаза Пиотровского бухгалтера банка) с оживленным лицом и без иронии поздравляет с удачным делом – убийством Плеве.

Блестящие радостью глаза Пиотровского очень поразили меня, так как накануне был разговор и он убежденно трактовал, что «партия социал-революционеров своими террористическими вспышками только тормозит последовательное шествие социал-демократии к социализму, что он, Пиотровский, не может себе представить, чтобы на убийства отдельных лиц могли пойти люди да еще высоко морального облика в полном своем рассудочном состоянии». Но дело 15 июля 1904 года, совершенное Е.С. Созоновым [(убийство министра внутренних дел Вячеслава Константиновича Плеве)], удовлетворило и этого принципиального противника террора.



Остатки кареты министра Плеве у Варшавского вокзала, фото Карла Буллы

Должна прибавить, что все споры с социал-демократами не мешали в общем жить мирно и по-товарищески помогать друг другу: передавать литературу, делиться когда требовалось, паспортами и прочее. Помню, как и мне пришлось прогуляться с одной девицей вечером около казарм и макаронного завода, разбрасывая прокламации, напечатанные социал-демократами по какому-то поводу. Были случаи, когда и социал-демократы распространяли эсеровскую литературу.

После убийства Сипягина Балмашевым, по пути в Сибирь, заехал ко мне Мельников и, между прочим, передал пачку прокламаций по делу этого акта. Я очень задумалась, взять ли на себя распространение их или отказаться : я ведь не способна пойти на такое дело, так честно ли поощрять в других такие мысли, думала я, старательно зашивая в каркас шляпы Мельникова, кажется, адреса. Сам он сидел у стола и что-то писал, и когда кончил, я покаялась ему в своих мыслях.*

* По-видимому, речь идет о следующем персонаже. Мельников Михаил Михайлович (1877-?), революционер, террорист. Из мещан, счетовод-чертежник; с 1896 г. – студент Горного института в Петербурге; в 1898 г. арестован по делу петербургского народовольческого кружка, два года находился в тюрьме, потом был административно сослан под гласный надзор полиции на 3 года. Бежал с места ссылки, стал ближайшим помощником Гершуни в создании Боевой организации партии эсеров.

Эсер-террорист Степан Балмашёв застрелил министра внутренних дел Дмитрия Сергеевича Сипягина 2 апреля 1902 г. в Мариинском дворце, где тогда находился Комитет министров.

– Но, ведь вы не призываете к террору всех, а только помогаете разъяснить, понять это явление в русской жизни, – резонно вразумлял меня Мельников. «Это, пожалуй, верно», – устыдившись, согласилась я. И к моему сугубому стыду и радости эти прокламации распространялись и чрез социал-демократов, так как содержание их ярко рисовало самодержавный гнет.

– Однажды, пред пасхой в разговоре с Чарушиным, отбывавшим в Самаре воинскую повинность в качестве вольноопределяющегося, мы коснулись «солдатской памятки» Толстого. «Устроим подарки, – говорю ему, – пошлем памятку в виде красного яичка солдатам. Только не надо в вашу роту, догадаются откуда идет». Сочувствие встречаю полное. Чрез несколько дней, с помощью товарища социал-демократа Газенбуша состряпали на гектографе экземпляров 50.

Чарушин принес имена солдат. Нацарапали на конвертах полуграмотным языком адреса, наклеили марки и поручили отъезжающим на праздники знакомым семинаристам духовной семинарии побросать в почтовые ящики на разных железно-дорожных станциях. Прodelка удалась как нельзя лучше. Только в конце праздников в казармах поднялась буча – обыски, допросы, так как некоторые адресаты представили «письма» по начальству. Но кончилось ничем: солдаты, действительно, не ведали, откуда и кто наградил их листками.

Усиленно работая, днем на службе, а вечером либо урок или сдельно по статистике, я дошла до сильного малокровия мозга. Доктор Крылов припугнул меня идиотизмом, если я не дам себе отдых. Дело было пред масленицей, и я захвативши малыша, поехала в Москву к Ал. Ив. Мороз, где меня усиленно «лечили» театрами, блинами и многими другими вкусными вещами, так что через две недели я вернулась на службу совсем здоровой.

Но чрез год службы в банке мне опять потребовался отдых. К счастью подоспел маленький летний отпуск. Н. Ст. Долгов, служивший в железно-дорожном правлении, добыл мне с детьми даровой билет до Златоуста, и мы покатили. В вагоне сразу же выветрились заботы о службе и обо всем прочем. Не отходя от окна, наслаждались мы воздухом полей и любовались широким раздольем.

Передавать впечатления от этой поездки, особенно о своеобразном городке Златоусте с окружающей его чудной природой, о заводах, где мы с удивлением рассматривали, как в это аду, около страшной пасти, доменной печи с расплавленным железом свободно распоряжается человек, передавать трудно, да и такие сторонние впечатления заняли бы слишком много места.

Хочется сказать несколько слов о самарских полях. Ранней весной перед вами лежат бесконечные полотна правильно черного бархата: ни камней, ни глины, ни песку – чистый чернозем. К концу лета над этим бархатом стоит уже стройный соломенный лес.

Полные колосья с крупным золотым зерном скромно склоняют свои головы, поддерживая друг друга, чтобы не упасть до земли, ждут своего сеятеля. И раскинулась волнующаяся золотистая нива под лазоревым небом, как прекрасная декорация, восхваляющая труд человека. Воистину классическая картина, увидевши раз которую никогда не забудешь.

Только диссонансом лежат на этом фоне то тут, то там жалкие селения, избы которых беспорядочно разбросаны, как стога старой соломы или кучи серого навоза. И топчутся около них, как гномы, творцы этой классической картины. Нигде я не видела таких убогих крестьянских селений, как в Самарском краю. Правда, здесь нет строевого леса. Но нет его и на юге России, что не мешает беленьким малороссийским мазанкам приветливо выглядывать из своих садочков.

Жители же Самарского края – разные инородцы, как обреченные на тьму и нищету, тянули свое жалкое существование изо дня в день в то время как их «золото» поражало своей добротностью чужие края.

Дом, где я квартировала, находится около хлебной площади, которая оканчивается неказистыми низенькими амбарами. К этим амбарам поздней осенью и зимой, иногда целыми ночами, тянулись обозы с пшеницей на лошадях, волах и верблюдах. Тут же на площади проверяли вес зерна и ссыпали в амбары. Наблюдающий эту картину с площади пришел бы в крайнее удивление: ссыпают в амбар день, два, три, а он все кажется пустым.

Но стоит перейти на другую сторону, посмотреть на эти постройки со стороны Самарки, притока Волги, и недоразумение сразу разрешится: длинный ряд амбаров плотной стеной прилепился боком к крутому откосу Самарки, каждый представляет собой глубокое вместилище, вроде колодца, верхняя часть которого и видна с площади. Со стороны Самарки эти амбары, высотой десяти-пятнадцати саженой, представляют собой странные, точно охраняющие город от нападения врагов, сооружения.

Весной, когда Самарка во время разлива поднимает громаднейшие баржи до самых амбаров, начинается ссыпка зерна для отправки по назначению. От амбара в люк баржи протягивается желоб. В амбаре открывается затвор, как ставня, и вы видите, как это золото – пшеница течет в новое помещение, течет, как быстрый ручеек, в баржу, могущую поглотить двести и более тысяч пудов!

С некоторыми возчиками пшеницы Николаевского, Бузулукского и других уездов были связи у Н. Ст. Долгова. Я передавала ему подходящую литературу, и каждый раз слышала просьбу – «нельзя ли еще интересных книжечек».

– А на сигарки они не тратят их? – спрашиваю Долгова.

– Может быть, иное и жгут. Но я видел до того замусоленные книжонки, что трудно уже и слова разбирать, значит во многих руках побывали, – говорит он.

Но вот однажды и мы получили от них «печатное слово»: два-три листочка. Передавая мне, Долгов хитро улыбнулся. Днем некогда было посмотреть, а вечером, когда зашли два-три человека, я вспомнила и предложила прочитать крестьянское творчество. Приготовились слушать, но чтец, Чарушин, что-то смущенно молчит, краснеет и поглядывает на молодую девушку, Парамову. Оказалось, что свое негодование против урядников, земских начальников и всяких «кровопийцев» выражено в таких ярких красках, так густо уснащено «батюшками» и «матушками», что действительно читать в слух было рискованно.

– Вот так прокламация! – смеется как раз вошедший Пиотровский, – что, распропагандировали мужика? он вам еще не так пропишет, – злорадствовал ярый социал-демократ.

Хотя мы много смеялись, рисуя как авторы трудились над этим произведением, но были все приятно удивлены.

– Этак то они скорей поймут: у каждого свой язык, а то ваши листовочки больно мудрено пишутся и деревня в них плохо разбирается, – говорит знакомый из села Екатериновки, кустарь-шапошник, по направлению толстовец. С этим толстовцем у меня оказался общий знакомый в Москве – Лев Павлович Никифорович, примыкавший тогда к этому же течению. Первое время толстовец из Екатериновки сильно старался обратить меня в свою веру. Но, увы! через год сам исповедовал программу социал-революционеров со всеми ее заповедями, и чрез него расходилась революционная литература в деревню.

Видала моя квартира и Григория Андреевича Гершуни. Это было весной 1903 года. Мы только что закончили обед. Две медички, занимавшие у меня комнаты, ушли к себе. Я убирала со стола.



Руководитель боевой организации эсеров Г.А. Гершуни

В это время входит молодой человек и спрашивает, можно ли увидеть Ульянову? «К вашим услугам», – говорю.

– Я Гершуни. Вы, вероятно слышали обо мне от «бабушки»? Она сказала, что вас можно застать только после четырех часов. Вы не отдыхаете после службы? – быстро проговорил Григорий Андреевич.

– Нет, пожалуйста. И я от «бабушки» о нем слышала, как о человеке выдающемся, ценном организаторе партии социал-революционеров. Слышала и от Елены Ивановны Аверкиевой. «Вот они Гуси какого вида», – невольно вспомнилось его конспиративное имя в устах девочек Аверкиевых. И в ожидании, что скажет, смотрю в его бездонные голубые глаза, которые казалось целиком поглощали и видели тебя насквозь. И с нахлынувшим доверием потянулась к нему рука.

Правда я немного растерялась, как всегда пред «большим» человеком берет оторопь, но его симпатичное лицо, простые откровенные речи о делах совсем не простого характера, сразу вызвали и меня на откровенность. Я сообщала, что в Самаре в сущности нет сплоченной организации. Так, спорадически привозится литература. Можно сказать, стихийно, без всякого усилия, завязывались знакомства и в городе и в деревне, особенно с учителями. Усадила его за стол, предложила пообедать. Он не отказался, а после щей и творожников, выпить чай.

За чаем говорили о том, кто и из какой среды есть свои люди. Вот в Земской управе, говорю, среди статистов социал-демократов целая уйма. Подождите немного, у нас будет еще больше. Очень он смеялся рассказа, как я с социал-демократами размножала и распространяла Льва Толстого памятку среди солдат, как наводнили письмами казармы. Точно с луны на праздник десятки солдат получили приветствия с призывом (помог вольноопределяющийся Чарушин). И это хорошо, надо пользоваться всем, чтобы власти не думали, что мы сгинули.

Слушая Григория Андреевича, я невольно люблюсь его ясными, детски чистыми глазами. Слушая тебя, о чем либо, он точно со светильником проникал в душу, и его умное, приветливое лицо сразу завоевывало полное к себе доверие и расположение собеседника.

После этого посещения, Григорий Андреевич в короткое время заходил несколько раз. Однажды, желая, очевидно, принять вид человека беспечного, ничем в настоящий момент, кроме весны, не интересующегося, пришел с букетом весенних цветов и сам в светло-сером костюме, была в это время и другая публика. Я знала, что наезжающей публикой затевается серьезное в связи с расстрелом рабочих в Златоусте и очень не желала, помня инцидент с «бабушкой», чтобы вечером в мою квартиру «опасная» публика приходила. На всякий случай осмотрели с сыном-реалистом ход через окно уборной на крышу, с которой можно было спуститься в чужой двор. Но этот выход мог быть использован только в отчаянную минуту.

Спустя некоторое время, прихожу со службы, а прислуга, открывая дверь, с улыбкой шепчет: «уже гость ждет, давно сидит». Оказывается Григорий Андреевич Гершуни сидит в кресле. Уставшее, бледное, но очень оживленное лицо.

– Слышали? – спрашивает он.

– Сейчас узнала, если вы говорите о Богдановиче (Богданович – уфимский губернатор пристрелен членом боевой организации партии социал-революционеров 06.05.1903 в городском саду среди бела дня), и бесконечно радуюсь, что все участники скрылись, – говорю.

– И это хорошо. Но главное, что удачно наказан негодяй, с волнением говорит Гершуни, другие задумаются, прежде чем так расправляться с рабочими, как он поступил с ними в Златоусте.

– Ну, таких негодяев, как Богданович, так много, что на место одного найдутся сотни других. Я-то больше всего радуюсь, что ушли, «наказали», как вы говорите, и концы в воду.

– Ну-ну, я ведь знаю, как вы отказывались от страшных прокламаций, – улыбаясь говорит Гершуни.

Значит, Мельников посплетничал, с обидой подумала я.

В это время с новостями приходит Аверкиева Ел. Ив.

– А, Гуси! Ну, вот хорошо! А то пропадут и беспокойся за них, – воскликнула она.

В разговорах на разные темы провели часа два-три. Мы с Еленой Ивановной очень убеждали Григория Андреевича остаться, отдохнуть в нашем краю: за Волгой в селе Рождествене в громадном имении управляющим был свой человек, о чем сказано выше. Притом он раньше говорил, что в случае нужды серьезной – «гостя спрячу». И там, действительно, можно было отдохнуть и затеряться. Но Гершуни категорически отказался: не до отдыха, работы выше головы, и товарищи ждут, говорил он.

Спустя несколько лет узнали мы, что Гершуни из Саратова направился в Киев, но, не доезжая станции, был арестован по указанию Азефа (?).

Речь Григория Андреевича Гершуни на суде ярко обрисовало, каким путем русская действительность доводила энергичных, искренних людей до убеждения, что в борьбе с самодержавным деспотизмом необходим был и террор.

В марте 1908 года он умер в Швейцарии, похоронен в Париже на кладбище Монпарнас при громадном стечении интернациональной массы народа.

Заканчивая свои краткие воспоминания о Самарской жизни, я вижу, как много интересных переживаний, встреч не отмечено из того периода: целой вереницей проходят лица преданных делу революции, идее достижения будущего равенства, как семья Агаповых, Медынцев Н.К., Сумгин М.И., Ростковский Е.П., Пелшины и другие, которых из моей памяти не изгладит и время.

Хочется прибавить, что немало тяжелых переживаний выпадает на долю людей и пассивно, так сказать, участвовавших в делах конспирации. Нервы временами натягивались, как струны.

Однажды после обыска – в квартире полный разгром, а я сижу утром у топящейся печки и с горькими слезами жгу невинного содержания, ценные только для меня, письма. Главное, вынимаю из прятки и туда же в печку. В это время входит молодой человек – Мих. Ив. Сумгин.*

– Что с вами? – спрашивает он с тревогой.

– Не хочу, не хочу, чтобы они читали! – и захлебываясь слезами, продолжаю бросать в печь письма. – Когда они, проклятые, перестанут залезать в чужую душу?

– Полно, успокойтесь, вам еще напишут, – говорит Михаил Иванович, поглаживая меня по голове, а конец и им настанет. Теперь смешно вспоминать, а тогда это участие быстро меня успокоило. Трагическое и комическое на пути каждого рядом живут.

Последний обыск в подворье, причина которого выяснилась спустя месяца два-три, был менее тщательный. Сидим мы с Ник. Ст. Долговым и мирно беседуем о пьесах Чехова, которые в ту зиму часто ставились на самарской сцене. На столе разложено серое сукно, выкройки и я, как всегда вечерами, беседуя с публикой, штопаю, починяю, а в этот раз крою, метаю и примеряю мальцу ученическое одеяние. Вдруг звонок и опять «гости». В квартире у меня всегда чисто: для писем и другой мелочи в дверях прекрасная прятка, никому и в голову не придет. Опять та же процедура. На этот раз набрали целую кучу писаной бумаги – открытых писем – картинок, портретов, чуть ли ни с детских лет полученных, если на них какое-либо написание, и прочего невинного хлама, все заномеровано, связано в пачки.

А утром на службу в банк явился страж и пригласил меня следовать за ним в жандармское. Там уже разбирают мое добро, разбирают тщательно, долго, с требованием некоторых объяснений, хотя я сразу заявила, что это все такое домашнее, больше детское, что и объяснять нечего. Копались долго, после чего меня посадили в какой-то закуток.

Оказалось после, что обыск у меня и статист[ик]а Шестакова произведен по предписанию Московского жандармского управления с приказом «арестовать, если обыск обнаружит что-либо преступное». После проверки набранного на обыске, очевидно, они справлялись телеграфом – как поступить, так как в бумагах ничего преступного не нашлось. Только поздно вечером меня выпустили. Все взятое на обыске отправили в Москву.

Прихожу домой, а там с детьми сидят Пиотровские – Казимир Иеронимович и его жена и обсуждают, как распорядиться с квартирой: мальчишек они решили приютить у себя.

Спустя месяца два приглашают на допрос. Вижу и мой хлам из Москвы возвращен. Оказывается усердный конспиратор (Акрамовский), участник Учительского союза, записал мой адрес полностью, прибавивши, что «Ульянова служит в банке».

Обычные стремительные вопросы, заранее утверждающие мое знакомство с Акрамовским, следуют один за другим.

* Сумгин Михаил Иванович (1873-1942). Родился в дер. Крапивка Лукояновского уезда Нижегородской губернии. Из крестьян. Окончил Лукояновскую гимназию, учился на физико-математическом факультете Петербургского университета, исключен в 1899, выслан на родину. С 1902 эсер. Был выслан в Якутию, затем в Амурскую область. В 1907 высылался за границу взамен Тобольской губернии. С 1911 начал изучение явлений вечной мерзлоты. Возвратился из ссылки после Февральской революции. В 1917 председатель исполкома Нижегородского Совета, губернский комиссар. Делегат III и IV съездов ПСР, избран в ЦК, левоцентрист. Участник заседания Учредительного собрания 5 января 1918 года. В 1918 вышел из ЦК из-за несогласия с тактикой вооруженной борьбы против большевиков. В 1920-е занимался наукой, с 1939 заместитель директора Института мерзлотоведения АН СССР. Умер в эвакуации. – *Из Интернета*

Надо прибавить, что в Самаре в то время не было адресного стола и паспорта требовались только сдающим квартиру или комнату, чем я и воспользовалась, и в ответ на слова «если вы с ним не знакомы, почему же он записал ваш адрес?», с недоумением посмотрела на вопрошавшего и говорю: «может быть, адрес-то мой, но нужна была не я – я сдаю комнату, а иногда и две». Жандарм даже привскочил: «может быть, может быть! Как фамилия жившего у вас летом?»

– Летом? Летом у меня никто не жил: монашки ремонтировали квартиру. Впрочем, нанял было какой-то молодой человек, дал задаток три рубля, да так и не явился. А фамилию его совершенно не припомню. Да, вероятно, и не спрашивала: так какой-то смугленький, смиренный паренек – из конторщиков должно быть.

– Вы утверждаете, что Акромовского не знаете?

– Совсем не знаю, и никакими тайными делами не занимаюсь. А с таким умником, который так бесцеремонно распоряжается чужими адресами, я и лапти с ним плести бы не стала: вишь расписался – «служит в банке».

Хотя дело оказалось пустяковым вообще, но меня отдали под надзор полиции, очевидно благодаря предыдущим обыскам, а может быть благодаря сделанному Азефом указанию на мою квартиру.

Идиот, которого ко мне приставили, ходил за мной по пятам: каждое утро провожал до банка, а после четырех часов являлся, чтобы проводить до дому.

Но осенью 1904 года я вновь переселилась в Нижний Новгород, где и живу до сего времени.

Приложение

Впечатления, полученные мною от поездки в Саровскую пустынь

От Арзамаса на тряской телеге, которая может разбить нутро даже бревну, мы дотащились, наконец, до села Кременки, проехали от 3-х часов утра до 8-ми вечера только 57 верст, осталось еще восемь. За этим селом вскоре начинается уже Саровский лес. Волнение невольно охватило от мысли, что там впереди, среди дремучего столетнего бора, увидим иной мир, мир, где люди преследуют и иные задачи, где нет и не должно быть честолюбия, зависти, нет ссор, борьбы друг с другом. Где со смирением выполняются все послушания. Современность обрекла эти обитатели на уничтожение, как гнезда обмана и лени. Но она – современность – проглядела тот упорный труд, какой проводился в этих трудовых коммунальных хозяйствах. Вся насущная работа у них строго распределена между членами коммуны. Рассчитан каждый час, и для отдыха выделено так мало времени, что миряне, несомненно, взбунтовались бы.

Часы башни над входными воротами в монастырь отмечают тихим звоном каждую пройденную минуту, точно говоря: «спеши человек, не вернешь и минутку». У них, действительно, время рассчитано до минуты.

В Саров мы (в количестве 5-ти человек) прибыли 27/VI по старому стилю, впереди предстояли два праздника – воскресенье и Петров день в понедельник, и, может быть, благодаря этому с разных сторон по дорогам и тропочкам тянулся народ, чтобы поклониться преподобному Серафиму (что значит пламенному).

Чтобы отдохнуть около него от житейских невзгод и огорчений, чтобы выплакать все наблевшее около святых останков того, кто и при жизни не отгонял от себя, изломанных жизнью людей, кто каждому находил утешение и давал совет по силе его.

Особенно много мордвы в своих оригинальных костюмах с громоздкими головными уборами. Идут издалека, пользуясь тем, что еще не настала страдная работа в полях.

«Сколько верст прошли?», – спрашиваю молодую женщину с красным рогатым убором на голове.



Надвратная колокольня с часами



Женщины в национальных костюмах, в ожидании прибытия Николая II, 1903 г.

«Она не умеет, – отвечает другая со слезящимися глазами, – мы не все по-русски говорят. А прошли доселева боле ста верст. Из Нижегородска волость».

«Часто здесь бываете?»

«Иной, каждый год. Если можно и больше», – заговорили и другие, но русским языком владеют плохо все.

«Эта хоть ба больно хорошо! Не мог работать, ломит все, а сходил и сила стал. И-и; как хорошо!» – заявляет высокая, тощая с желтым сморщенным, как старый пергамент, лицом.

И все они, особенно мордовки, спешат, толкаясь, приложиться к мощам по несколько раз. Публика самая разнообразная. На лицах некоторых столько пережитых страданий, столько тоски, что невольно вспоминаешь слова поэта: «о ней и небо плачет и буря песни поет». Миллионы прошли по тем дорогам и тропочкам, ища утешения в этой обители, и очень многие ушли примиренные с жизнью. Несомненно, и неверующие с умилением вспоминают Саровскую пустынь уже по одному тому, что там, среди чужой природы, обвеянной сказаниями о святом старце-созерцателе, душа каждого отдыхает от суеты мирской.

О храме и все, что в нем, я не касаюсь, это свято, неприкосновенно, и запечатлевается в сердце каждого инако. Не могу умолчать только о хоровом пении: простые мотивы, стройный могучий хор с задушевными нотами тенора долго будет звучать в душе каждого, кто слышал это пение.

В тот же день сходили в ближайшую пустыньку. Дорога идет по берегу речки Саровки. По другую сторону, да и за речкой, тянутся хвойные леса. Кроме того разросшиеся липы и тополя, которыми обсажена дорога, своею тенью заботливо прикрывают от солнцепека постоянно движущуюся взад и вперед толпу. Во многих местах по дороге устроены колодцы, над ними ниши с иконой богородицы или распятие И.Х. Этим [знаком](#) отмечены места, где отдыхал в пути преподобный.



Вид часовни на св. источник преподобного Серафима

В самой пустыньке, где много ключей холодной прозрачной воды, устроена купальня, и жаждущие получить исцеления, принимают душ прямо бьющего ключа. В часовенке, где то же обилие ключей, наполняют бутылки и кувшины освященной, удивительно прозрачной водой, которая потом увозится и уносится в разные концы России. Мне пришлось вести разговор со странницами из Перми, Пскова, Одессы и Саратова. Нечего и говорить, что из более близких губерний они всегда встречаются там. На лужайках, около часовенки и купален всегда народ: отдыхают, едят, а иные, бывшие в пути двое-трое суток, и спят тут. Раньше существовали даровые помещения-гостиницы и для неимущих отпускались даровые обеды. Более имущий мог за 25 копеек в сутки иметь помещение с кроватью, с полной ее обмундировкой и с кипятком. Теперь все это уничтожено, хотя построек в монастыре достаточно, но ими распоряжается уже монастырь.

Только на третий день нашего пребывания в этом чудном краю, мы в сопровождении о. Иерофея отправились верхней лестной дорожкой в дальнюю пустыньку, дорожкой, которой любил ходить преподобный, как сообщил нам сопровождавший нас о. Иерофей. На этом пути особенно ясно представляется умственному взору великий пустынный и созерцатель природы, видевший мудрое величие Бога и в малой былинке.

Столетний могучий лес тихо покачивает своими вершинами, ласково навевая дрему. Внизу тихо не шелухнет. Только изредка прожужжит лесная пчела, перелетая с цветка на цветок, которых так много на лестных полянках. То тут, то там скромно выглядывает из свежей зелени ягодка земляники. А скромные гиганты в два обхвата величаво поднимаются в высь, точно говорят нам, что только там истина, мир и благовение.

В дальней пустыньке, отстоявшей от монастыря в четырех верстах, народу не меньше, чем в ближней и в купальнях (в этой пустыне преподобный провел около 15-ти лет одинокой жизни).



Общий вид пустыньки преподобного Серафима



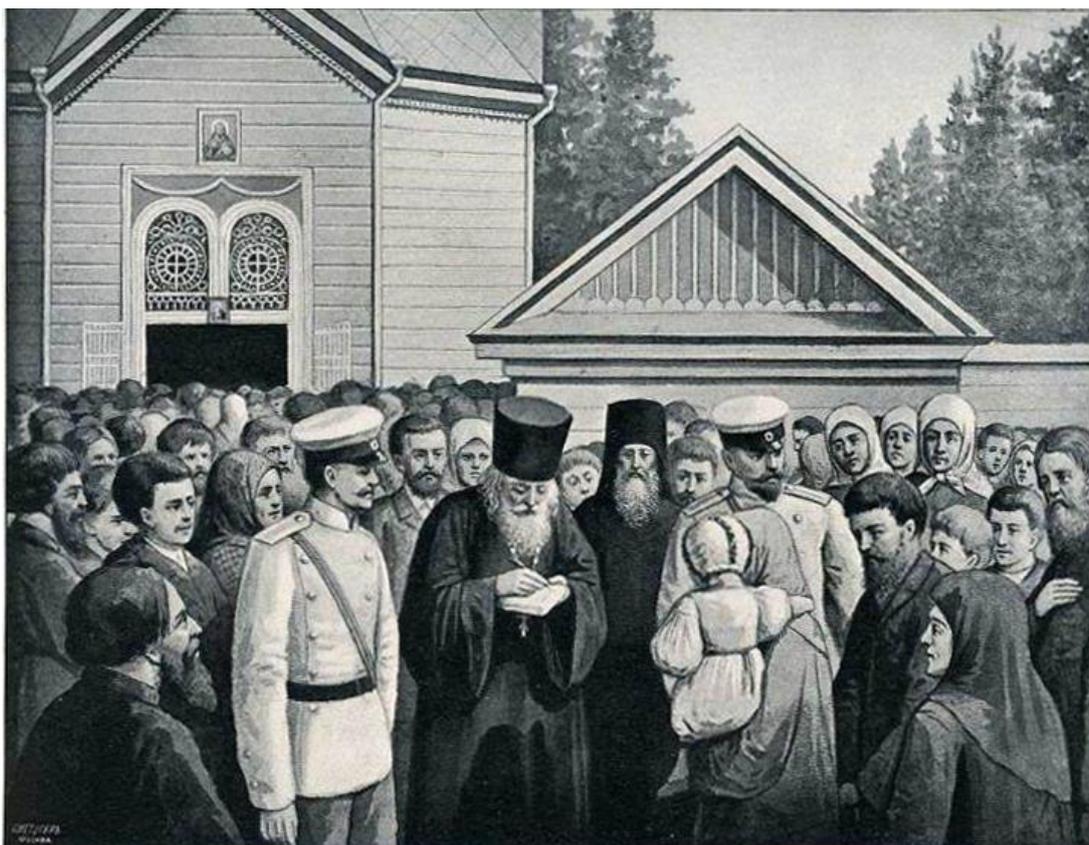
Внутренний вид пустыньки преподобного Серафима

В келье-часовне служат молебны. Женщины украшают цветами иконы и большие изображения преподобного. Поют, переживают духовный подъем. Другие с благоговением осматривают места пустынной жизни святителя – келью в горе, где с трудом может встать человек среднего роста, камень, на котором он молился и прочее. В стороне, под деревьями группа женщин довольно стройно поет величье великому пустынножителю. В другом месте тихо рассказывают друг другу, что знают о подвижнике, о чудных делах, связанных с его именем. И все с радостными, праздничными лицами. Среди паломников особенно много москвичей.

В дальней пустыньке постоянно живут два старых монаха. Они приветливо отвечают на все вопросы, с которыми к ним обращаются.

«Вот и хорошо, что ты пришла сюда», – говорит о. Афанасий, глядя добрыми глазами и поглаживая меня по плечу. «Наш преподобный ласковый, пожалеет и одиноких и страдающих», – продолжает старец, указывая на большое, художественно выполненное изображение преподобного Серафима. С картины, точно живые ласковые глаза смотрят на вас и провожают с благословением.

После молебна наша компания попросила у старцев дать нам самовар, и в шагах 50-ти от домика мы устроили чаепитие. Пригласили и хозяев. Один – о. Афанасий – присоединился, а другой остался на посту давать указания и объяснения пришлым людям. «Как у вас тут хорошо. Не рассталась бы! А воздух-то какой!» – говорит молодая девушка из нашей компании.



*Иеромонах Афанасий записывает случай исцеления слепорожденного у св. источника
(фото из Альбома видов Саровской пустыни, 1900-е годы)*

«Днем, действительно, хорошо, жаль уходить. Но ночью тут страшновато: в этих дебрях наверное и медведи водятся», – говорю я.

«Верно, верно. Да еще какие матерые», – подтверждает о. Афанасий. «Но они у нас смиренные. Еще преподобный Серафим их смирил», – улыбаясь прибавляет он.

«А вы попросите о. Афанасия рассказать, как он встретился лицом к лицу с мишенькой», – говорит (наш чичероне) о. Иерофей. Мы, конечно все пристали к о. Афанасию с просьбой рассказать это событие. Налили поскорей ему чаю, подложили яичко с хлебом, чтобы он, подкрепившись, приступил к повествованию.

«Вишь вы какие любопытные. Ну да уж расскажу».

И дед, не прикасаясь к чаю, приготовился рассказывать. Мы присмирели. Его умные, пронизательные глаза окинули всех нас с едва заметной улыбкой.

«Было это в позапрошлом году, в ноябре, – начал он с волнением в голосе. – Только что выпала свежая пороша. Первые снега не совсем прочные, еще слезливые, липкие: вот возьмет, да и растает и нога в него мягко садится. После обедни пошел я в лес, чтобы надрать лыка – лапотки-то всем нужны, и к нам приходят больше всего в них, и иной раз в таких стоптанных, что только бросить. А зимой то времени много и без дела скучно. Ну вот и пошел. Далекое-то и не следовало бы идти, потому как день короткий, но прошел я с версту и поболее от дому – все выбираю подбортней лыко. Смотрю, начинает смеркаться – пора и домой, да и лыка набрал довольно. Осмотрелся, чтобы уходить, а кругом то все одинаково – и кусты и деревья под один лад – куда двинуться и не знаю. Я стал рассматривать следы. Но с лыком так много натоптал, что и не могу разобрать, откуда пришел. Вижу, неподалеку лежит большущее дерево, бурей с корнем выворочено. А на его корень как раз упала вершина другого дерева. И вершина та густо-густо засыпана свежим мягким снегом. Мне и приди в голову, что мой путь лежит по ту сторону упавшего дерева. Спешно подхожу, потому как в лесу начало уже темнеть. Перешагнув это я бревно, а мне точно прямо в ухо как заревет! аж воздух задрожал. Взглянул я в сторону вывороченного корня, а из под него лезет громаднейший рыжий медведь, и все ревет, ревет, да так громко, что страсть. Что со мной стало – уж и не помню: только как стоял я пред ним, так и свалился на спину и ноги вытянулись».

Но в голове ясно, что пришел конец. "Погибаю, Господи! твори волю твою". А все прочие мои чувства отошли, замерли. А он крадется до меня, яки тигра лютая и все ревет, ревет. Вот уж около моих ног, лежащих недвижимо. Но вдруг случилось странное: как только его морда коснулась моих лаптей, он вихрем отлетел прочь, точно его бурей отбросило и понесло дальше. Вершина упавшего над корнем дерева обдала его снегом, как пухом, а он стрелой несется прочь.

Я встал. Вижу жив, цел. Радость охватила меня несказанная. Но тут же дух искушения вошел в мою голову и зашевелились мысли: эге! Думаю, значит, Мишка-то засел уже на зиму в берлоге и сердится, что его потревожили, след к нему проложили. И страсть, как захотелось мне посмотреть в берлогу, узнать, что там у него за хозяйство ?

Но в это же время точно кто-то во мне самом заговорил и ясно так : "не любопытствуй, жив и иди". Послушался голоса изнутри, переломил свою охоту и пошел. Хотя от страха и холода дрожу, но радуюсь: беда схлынула! жив, слава тебе Господи! Ан нет, рано зародовался: впереди то ждало еще худшее. Иду это я, тороплюсь, уверен, что иду, куда следует. Кругом темно. Иззяб, издрожался, но скоро, думаю, буду дома, отогреюсь. И вдруг чувствую, что мои ноги в болотину погружаются. Я назад. Иду в другую сторону. Ноги мокрехоньки, зябнут. А предо мной опять болотина. Тело холодеет и от холода, и от страха, опять напавшего на меня. Да и дух во мне еле держится. Силой заставляю себя, двигаться. Но куда не двинусь – впереди болото. Измаялся, одеревенел весь. Руки и ноги так окоченели, ровно их у меня и нет: пальцы уж не сгибаются.

Прислонился я к дереву и взываю: "Господи! ты видишь, что пропал я? А ты можешь спасти, если захочешь, пожалей, спаси! Но заветов тебе никаких не дам: бб лет сулил всякие обещания и не выполнял, все обманывал, будет. Спаси, ты можешь".

Но милости с его стороны не было. Двигаться я уже не могу, чувствую, что тут у дерева и останусь. Пришли мне в эту минуту на память мои давно умершие родители, вспомнил деревеньку, где вырос и других родных. Потом, точно выплыло откуда-то лицо брата – монаха Сергея. Этот юродствующий брат жил у нас в монастыре и имел странную любовь собирать и тащить в свою келью всякий хлам: старые рогожки, тряпки, кости, черепки битой посуды – все что откапывал на помойной яме. Подбирал бросовых кошек, котят, и все это сваливал в кучу, в угол кельи. Грязь, запах от его кельи, бывало страсть какой невозможный: подойти нельзя. Братья, которые жили рядом, жалуются игумену, что дышать нельзя. А на юродствующего брата никакие уговоры не действуют. Прикажет игумен монахам силой келью вычистить. Двое-трое держат Сергея, а другие лопатами выгребают из кельи зловонный хлам. А он – Сергей-то, истошным голосом кричит: караю! грабят! Но пройдет день-другой – он опять за свое.

Маялись с ним долго, и кончилось тем, что выселили из монастыря на лесной кордон. Но пропадет, бывало, на несколько дней и опять появится. А как-то по зиме пропал и пропал, да так и не явился. Летом уже нашли его косточки в лесу у дерева.

Так, вот этот брат Сергей и представился мне в смертный час, да так ясно, как живой. Я даже протянул к нему руки: «помоги, брат! видишь, я так же погибаю, как и ты погиб».

В это время я сдвинулся с места и ... вдруг вижу, что стою на просеке. Тут я сразу понял, где нахожусь и как попасть домой.

Вот какое чудное дело случилось!

Скоро и добрался до дому. Брат, с которым живем тут в пустыньке, стащил с меня все мокрое, согрел чаем и закутал шубой. Рассказавши ему в кратких словах, что со мною случилось, я несколько успокоился, перестал дрожать и скоро заснул. А утром встал здоровешеньким, ровно со мной ничего и не приключилось: даже насморка не было. Вот, все это случилось со мной грешным.

Я крепко желал в это время, чтобы не разболтать, где видел медведя и не навести на него охотников: ведь вместо благодарности сотворил бы ему зло. Слухи все-таки прошли, но в ту зиму охоты на медведей в этих краях не было. Да и снег еще растаял, так как настала оттепель.

Вот, хорошие люди, что случается. А теперь по милости Божией, я с вами буду и чай пить в нашем лесу, – продолжал он, набожно осеняя себя крестным знамением. – Заслужил что ли?»

Так закончил свое повествование о. Афанасий и подвинул к себе стакан с чаем. Рассказывая он заметно волновался – очевидно, еще не улеглось пережитое.

Поблагодаривши за рассказ и гостеприимное к нам отношение, мы распрощались с о. Афанасием и со всем окружающим.

«Будете живы – не забывайте места угодника Божия», – говорил старец.

«А вы все-таки далеко за лыком не бродите, а то Мишенька и в серьез рассердится», – советую я.

Обратно к монастырю мы шли более краткой дорогой, чрез ближнюю пустынь. Здесь среди сосен идет уже проезжая дорога, с утопанными рядом тропами. То и дело попадаются встречные молодые и старые, мужчины и женщины. Но женщин значительно больше. Лес подчищен и виднее его стройность. У самой дороги отмечено, где молился на камне преподобный.

«Почему на камне?» – спрашивает мальчик лет 12-ти, должно быть, свою мать. Ответа не слышала. Да едва ли ему понятен смысл молитвы на камне. Ему еще не известна борьба с чисто физическими силами и требованиями тела, а всем нам грешным непонятно то молитвенное состояние, когда великие пустынники не ощущают боли, если стояли на гвоздях.



Внутренний вид часовни и камня, на котором молился преподобный Серафим

В следующие дни впечатления повторялись, но обвеянные сказаниями о жизни великого подвижника и повторные с радостью воспринимались.

Были в келье, где о. Серафим, после пустынной жизни в лесу, принял затвор. В ней он и умер. У его могилы, везде просто, уютно, с его изображениями. Кругом народу и много, но движения и говор сдержанный – не слышно резких звуков. Даже серебрянный звон колоколов разливается мягкими волнами.

Очень интересна громадная столовая с изображением отцов церкви. Наверное, может вместить до трехсот едоков сразу. Кухня с громоздкими печами и плитами, где готовилось на шесть-восемь сот человек (теперь на 150) – все чисто, аккуратно прибрано.

Ходили и кругом обители и очень дивились, что ее внешний вид своею фундаментальной прочностью напоминает старинные замки или крепости. Так, например, укрепленный спуск, лестница и стена около церкви Крещения Господня. История говорит, что в тысяча трехсотые годы, во время татарского ига, на этом месте существовал татарский городок Сарокмыч. Когда иго татарское было сброшено, этот город был тоже разрушен и с течением времени место это пришло в запустение. Осталось от него только несколько крепких каменных оснований от зданий замков.

И только в 17-м столетии на старом запущенном городище первыми пустынноиками (Исакий, Ларион, Герасим, Феодор) основана Саровская пустынь. Впрочем, об истории возникновения и усиления этой обители существует много печатных изданий. Моя задача закрепить мои кратенькие впечатления.

Жизнь монастыря совсем отличная от нашей, особенно интеллигентской. В два часа утра они уже на молитве – утренняя. Непосредственно за ней ранняя обедня, потом молебен у раки преподобного и тут же поздняя обедня. В три часа дня вечерня, а пред праздниками в 6 часов всенощная, в будни – правила. Ведущие работы по хозяйству послушники то же рано должны вставать.



Братская трапезная

Вообще так мало дается времени для отдыха и сна в монастыре, что приходится удивляться, как люди выдерживают. А когда они владели большими хозяйствами, обязанности на каждом лежали еще более тяжелые. Что еще поражало нас, так это бодрое, постоянное воодушевление в делах их: служат изо дня в день, и вы слышите свежесть в голосе, лице, движениях. Нет, в этой жизни о лени, в чем их огульно обвиняют, говорить не приходится. Конечно, как и во всех областях жизни, и тут найдутся лентяи и карьеристы, так же, как и везде, высокое положение часто людей портит.

Я часто задавалась вопросом, что заставляло молодежь уходить от мира? Расспрашивала, и почти всегда оказывалось, что причиной было какое-либо несчастье. Несчастье действует на людей различно, смотря по силам их нравственных и умственных способностей: одни, махнув рукой, летят по наклонной плоскости, другие, напротив, крепнут духом, ломают все старые пути, а иные стремятся и подальше от людей. Я не говорю о тех, которые имеют определенное стремление посвятить себя молитве и глубокому воздержанию.

Особое настроение навеивает церковная служба в Саровской обители: стоишь с закрытыми глазами и кажется тебе, что ты не в церкви среди массы людей, а в бесконечно дремучем лесу, где, слившись с могучим хором, просишь небо водворить на земле мир и правду.

На этом «впечатления» обрываются.

Нижний в преданиях

Предисловие

К составлению предлагаемой брошюры «Нижний в преданиях», меня, как члена рассказчиц с 1920 по 1926 гг. в школах, библиотеках, детских домах, в интернате слепых, большей частью потерявших зрение на войне, главным образом побудили просьбы слушателей, после того или иного сообщения о прошлом нашего города, указать литературу о нем.

Но на этом пути я встретила с непредвиденными затруднениями: доступного материала для своих аудиторий не нашла. С трудом приходилось самой отыскивать на ту или иную тему, роясь во многих старинных трудах. Архивный же материал, переполненный именами, хронологией, представляет собой только сухой справочник для историков и совершенно не интересен для малокультурного слушателя.

В настоящее время Нижний Новгород-Горький быстрым темпом развивается, как значительный индустриальный центр и как научный пункт со многими специальными учебными заведениями. Его население и занимаемая им территория с каждым годом увеличивается. Все это в высшей степени интересует современников. Но человеческий ум не удовлетворяется, как поденка, только настоящим моментом, он стремится узнать и прошлое, в данном случае о том, как стал быть «Нов-Град-Нижний», и потому является нужда в доступном историческом материале, который должен ознакомить читателя о положении нашего города и в прошлом.

Надо надеяться, что молодые силы извлекут из архивных недр стародавние переживания Нижнего Новгорода, каждая пядь которого была залита человеческой кровью. А в ожидании тех ценных трудов, я решила на кратком историческом трафарете вставить народные предания, творимые параллельно с историей жизни города.

История Нижнего чрезвычайно сложная, но туман времени скрыл страницы те от современников, и с уверенностью можно сказать, что 80-90% из живущих в нем не скажут – кому и зачем понадобилось такое грандиозное сооружение, как кремль. Самое большее, если обыватель равнодушно посмотрит, как местами этот великан разрушается. Может быть, тут же мелькнет у него мысль «хотя (де) и старый кирпич, а пожалуй на кладку печей годится».

Между тем, зная при каких диких нравах, жестоких экономических и рабских для народа условиях, каких настойчивых усилий и человеческих жертв стоило предкам утвердиться на Дятловых горах – и наши современники с большим вниманием отнеслись бы к этому общему наследству, с большим усердием принялись бы к обновлению его при новых условиях жизни.

Краткие страницы предлагаемой брошюры заканчиваются 1905 годом – первым революционным сдвигом нашей обширной родины – России.

А. Ульянова

Источники, которыми пользовалась при составлении:

1. Храмцовский. Описание Н. Новгорода. Изд. Нижегород. губ. типогр., 1857 г.
2. Рудаков. Древняя история.
3. Сборник сообщений, описей, дел и документов. Изд. губ. правления, 1805 г.
4. Мельников-Печерский. Путеводитель по Нижнему. Изд. губ. правл., 1896 г.
5. Он же. На горах и в лесах (рассказ «Балахонец»).
6. Звездин А.И. Нижегородское поволжье и Н. Новгород. Изд. 1908 г., Н. Н.

7. Кабанов, проф. Его статьи в «[Нижегородской] Земской газете» за 1910 г. (видимо, Киприан Андреевич).*

* В истории нижегородской провинциальной науки, Нижегородской губернской ученой архивной комиссии (далее – НГУАК) особое место занимает Андрей Киприянович Кабанов. Он много и старательно занимался поиском и публикацией документов, относящихся к средневековой отечественной истории. О его биографии известно мало. До недавнего времени можно было говорить, что биография А.К. Кабанова «пресекалась» революцией 1917 г. и установлением в Нижнем Новгороде Советской власти.

В этом отношении характерна краткая статья о Кабанове в библиографическом словаре «Историки России...», составленном А.А. Чернобаевым. Статья о А.К. Кабанове, написанная С.В. Симановским, составлена, в основном, по материалам словаря В.Е. Чешихина (Ветринского). Из статьи С.В. Симановского следует, что А.К. Кабанов, родившийся 8 (20) сентября 1876 г., закончил историко-филологический факультет МГУ в 1903 г. Дата смерти отсутствует. Приведены основные вехи нижегородской страницы биографии А.К. Кабанова: с 1903 г. – сверхштатный преподаватель Нижегородской I-й мужской гимназии; с 1904 г. по 1918 г. А.К. Кабанов преподавал в той же гимназии историю и географию; являлся членом НГУАК и редактором сборника «Действий НГУАК»; в 1915 г. участвовал в работе XV-го археологического съезда; в 1915 г. стал преподавателем Нижегородского городского народного университета; в 1918 г. являлся членом коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и старины при губернском отделе народного образования. Также в статье С.В. Симановского приведены основные труды А.К. Кабанова, изданные в Нижнем Новгороде под эгидой НГУАК.

<...>На запрос о материалах, связанных с судьбой А.К. Кабанова, руководителя Комитета по делам архивов Администрации губернатора Нижегородской области А.П. Арефьева, направленный в госархив Пензенской области, пришла Справка № 703 от 05.04.2006 из архива УФСБ России по Пензенской области. В ней содержатся новые и уточняющие, по сравнению с письмами С.И. Архангельского, сведения о судьбе А.К. Кабанова. Так сообщается: «В архиве УФСБ России по Пензенской области хранится уголовное дело № 7950-П на Кабанова Андрея Киприяновича (Куприяновича). Кабанов А.К. родился в сентябре 1876 года, место рождения в деле не указано, место приписки: мещанин города Гдова Петроградской губернии, по происхождению титулярный советник города Нижний Новгород, работал учителем в школах 1 и 2 ступени, проживал в селе Большой Вясс Саранского уезда Пензенской губернии». Место приписки может косвенно свидетельствовать о месте рождения А.К. Кабанова – в мещанской семье города Гдова. Под происхождением, указанным в деле, надо понимать социальный статус самого А.К. Кабанова, его положение в чиновничьем мире Нижнего Новгорода.

Далее в Справке сообщается: «01.07.1921 года был арестован Саранским политбюро Пензенского Губчека, содержался под стражей в тюрьме г. Пензы». Через два с половиной месяца «13.09.1921 года ему было предъявлено обвинение в совершении контрреволюционной деятельности (критика Советской власти в слабости и неумении в организации дела народного образования; в издательстве эсеровской Нижегородской газеты; хранении у себя на квартире с корыстной целью контрреволюционной литературы и переписки)». Известно, что А.К. Кабанов сотрудничал с редакцией газеты «Нижегородский листок». Редколлегия этой газеты держалась кадетской ориентации. О каком-либо отношении А.К. Кабанова к эсерам на нынешний момент неизвестно. Возможно, в 1921 г., когда начала осуществляться Новая экономическая политика, в борьбе за сохранение политической монополии РКП(б) обвинение в связях с эсерами были более актуальными, нежели контакты с кадетами.

Через два месяца после предъявления обвинения А.К. Кабанову «21 декабря 1921 года он был репрессирован постановлением коллегии Пензенской Губчека за контрреволюционную деятельность на 1 год принудительных работ в лагере, без права применения амнистии». Судьи, отправившие А.К. Кабанова в лагерь, не стали отслеживать его судьбу. Лишь из письма С.И. Архангельского С.Ф. Платонову известно, что А.К. Кабанов умер в Моршанском доме принудительных работ 14 ноября 1922 г., видимо за несколько недель до своего освобождения. Место отбывания наказания А.К. Кабановым – Моршанск Тамбовской губернии – наводит на мысль, что могло стать причиной столь сурового обращения с представителем нижегородской исторической науки. 1921 г. – крестьянское восстание на Тамбовщине под руководством эсера Антонова. Очевидно, власти, напуганные размахом восстания, начали проводить профилактические меры не только по упреждению подобного выступления, но и для уничтожения любого очага «Антоновщины» в Тамбовской и соседней губерниях. В эту волну репрессий и мог попасть А.К. Кабанов, скептически оценивавший действия Советской власти по налаживанию образования на селе.

В Справке сообщается также о том, что на момент ареста А.К. Кабанов был женат и имел 5 несовершеннолетних детей. 26 февраля 1998 года А.К. Кабанов был реабилитирован заключением прокуратуры Пензенской области. – **А.А. Кузнецов, А.В. Мельников, Б.М. Пудалов. Новые данные о судьбе нижегородского историка Кабанова (www.opentextnn.ru)**

8. Гацисский. «Нижегородка» за...
9. Шубин И.А. Волга и судоходство. Москва. Изд. 1927 г.
10. Ключевский, Лекции по истории (литографированные).
11. Рагозин. Волга.
12. Федоров К.Ф. Село Большое Мурашкино. Москва. Изд. 1891 г.
13. [Александр] Навроцкий. Сборник стихотворений.
14. Журнал «Минувшие годы» за 1908 г., 5-6 кн., стр. 497.
15. «Нижегородский ежегодник». Чехихин, Ветринский за 1913, 1914 гг.
16. История Костомарова, Трачевского и др.

Нижний Новгород в преданиях

И о нас быть была,
Да быльем поросла.
(народное изречение)

I

Около восьмисот лет тому назад все пространство, где расположен Нижний Новгород и его окрестности, было покрыто дремучим лесом. Высокие холмы по берегам Оки и Волги, прорезанные глубокими оврагами, назывались Дятловыми горами. Вероятно, здесь в большом количестве водились дятлы. А, может быть, (по предположению Рагозина) владелец этой местности носил имя Дятла, так как мордва владельческим людям часто давала имена птиц. По всему району «Нижегородского поволжья» и выше по Оке и Волге обитали финские племена – мещера, мурома, мордва. «И по реце Оце, идеже в Волгу, сядят: мурома – язык свой, мордва – язык свой, черемиса – язык свой».

Нагорная сторона нынешнего Нижегородского края была заселена наиболее сильным из финских племен – мордвою. Мордовские племена – мокша, эздрия, тюрешане и другие жили селениями, теснились больше около озер, рек – Кудьмы, Пьяны, Суры, Теши и других. Занимались рыбной ловлей, звероловством, бортничеством-пчеловодством, скотоводством, а иные обрабатывали уже землю. В те далекие времена господствовало хозяйство натуралистическое, т.е. люди жили трудами своих рук.

Только по мере развития господства человека над природой развиваются экономические отношения между племенами.

На запад от земель финских племен, все пространство нынешней центральной России от днепровских степей до озера Ильменя заселяли славянские племена. Более сильные, предприимчивые славяне по преимуществу занимались земледелием и промысловой культурой. Они имели уже города – Киев, «мать русских городов», Новгород великий, Ладога и прочие. Но так как по южным степям непрерывным потоком двигались полчища азиатских кочевников – хазары, печенеги, половцы и другие «идолища», которые своими набегами опустошали селения и города, славяне стремились отыскать новые земли, продвигаясь все дальше на северо-восток, к слиянию Волги с Окою, где с течением времени возникают области Суздальская, Ростовская, Владимирская и другие.

С движением славян на северо-восток, финские племена на почве промысла и мирного труда, постепенно утрачивая свои национальные и бытовые особенности, сливались с ними, так как благодаря своей малокультурности и отсутствию сплоченности, легко поддавались влиянию более сильного и более культурного племени. Со стороны славян или Руси – это была не завоевательная победа, а культурная, победа рабочего, промышленного и торгового люда: они исподволь поглощали разные финские племена, образуя новое племя, впоследствии получившее название «великоросского».

Ко времени, о котором говорится, Русь доходила к мордовским владениям по верховью Волги до города Радилова (нынешний Городец). На восток от мордвы, где теперь Казанская татарская республика, лежали земли «Великой Булгарии» (о булгарах упоминается византийскими писателями еще в шестом веке. «А за булгары лежат страны далекого Севера, страны мрака и стужи», – повествуется дальше).

Те и другие соседи – Русь с запада, булгары с востока теснили мордву частыми набегами – увозили в плен, брали непосильную дань, грабили. Но это не мешало некультурному, склонному к мечтательности народу мордовскому еще верить в счастливое будущее, когда их край избавится от врагов. Но история распорядилась иначе.

Вот в те-то стародавние времена, как говорит предание, на одном из высоких холмов Дятловых гор, там где теперь военный госпиталь, окруженный садом, поселился выходец из-за реки Кудьмы – Ибрагим. Ибрагим имел четырнадцать сыновей и три дочери (по другому преданию имя этого выходца Скворец и имел он от 18-ти жен 70 сыновей). Каждому из них он построил отдельное жилище. Кроме детей, около Ибрагима поселилось много выходцев, прибывших с ним из-за Кудьмы, и образовалось большое сельбище – около пятисот человек. Сельбище обнесли валом (часть этого вала сохранилась до сих пор за стеной сада вдоль Малой Печерки). За валом шли глубокие овраги, а на валу был утвержден крепкий тын. Этот укрепленный городок – огороженное сельбище – называлось «Ибрагимово городище».

Городище занимало значительную площадь: укрепленные стены его проходили от коровьего взвоза – нынешнего Георгиевского съезда, от Волги до ручья Ковалиха, затем, на запад до большого оврага и опять к Волге. Укрепленное городище имело двое ворот – одни с южной стороны, с Ковалихи, другие со стороны Волги, особенно крепкие, где всегда стояла стража. Ворота были из толстых дубовых бревен с земляными завалами изнутри. Имелись еще потайные ходы под землей.

Правителем Городища был Ибрагим, а сам он подчинялся князьям мордовской земли, правильнее, старейшим в роде, сидевшим в городе Эрземасе (нынешний Арзамас).

В одно время с Ибрагимом на Дятловых горах жил вещей старик – Скворец (в другом предании, Дятел). Жил тот мудрец в пещере высокого холма со стороны Оки, и был он другом Соловья-разбойника, того самого разбойника, который, «сидя на двенадцати дубах, не давал ходу ни пешему, ни конному», как воспето в русских былинах, пока не справился с ним Илья Муромец.

Издалека приходили люди к старому ведуну Скворцу, чтобы узнать свою судьбу, так как он мог сказать не только о том, что человек пережил, но и то, что с ним будет, что ждет его впереди.

Пошел к Скворцу и Ибрагим узнать о судьбе своего многочисленного потомства. С почетом встретил мудрый старик Ибрагима. Выслушал внимательно, долго обдумывал ответ, советовался с тайными духами и наконец сказал: «если твои сыновья будут жить в мире между собой, покладать силу воедино, земля твоя долго будет в их власти. Если же будут ссоры между ними, придут люди с запада, покорят все твое племя, землей овладеют и поставят на горах Дятловых град камень, крепок зело-зело, и не одолеют его силы вражеские».

Умный и хитрый старик знал стремление Руси завладеть речным узлом Оки и Волги, учел бессилие мордвы и потому дал такой ответ Ибрагиму, внешне соблюдая престиж чародея. В заключение Скворец просил Ибрагима «о честном ему погребении».

Печальным возвращался Ибрагим в свое городище: он уже видел, как росли ссоры между родичами, и вещее слово Скворца убедило его, что беда недалеко. Но никому о том не сказывал.

И жизнь на Дятловых горах продолжалась по-прежнему: одни пасли стада, гоняя их на водопой к реке Оце, другие ловили рыбу, ходили на охоту, вели сношения с другими сельбищами и городищами, и о врагах внешних не думали, зная, как высоко стоит Ибрагимово городище, защищенное от врагов крепкими стенами.

Красуются Дятловы горы над могучими многоводными реками. Тихо журчат струи у подножия красивых холмов, шепчут о бесконечном течении. Только в бурю, грозно вздуваясь, набрасываются волны на зеленые горные берега, точно вызывают их на борьбу. А там, в заречье широко раскинулась равнина, покрытая дремучими лесами. Дремлет девственный бор. Покачивая своими вершинами, скрывает множество зверей и пернатых разного вида. Во всем спокойствие, тишина, точно все притаилось и что-то ждет или спит до неведомого призыва.

Природа, как ласковая мать, своим нежным прикосновением успокаивает тоскующую душу и человека культурного и дикаря. Последний, как мало еще отделенный от природы, сильнее подчиняется ее влиянию, сильнее чувствует биение ее пульса. Непонятное для дикаря умиление поднимается из глубины его сознания в минуты нахлынувшего восторга пред лицом природы и чувство бесконечно малого, беззащитного охватывает его.

Смотрит, любуется мечтательная, белобалахонная мордва окружающим, слушает разноголосый птичий гомон, упорное постукивание дятла, считает года своей жизни под меланхолические звуки кукушки, и, переполненный восторгом или страхом в минуты бушующей природы, свершает на поляне высокого холма Дятловых гор таинственный культ поклонения обоготворенным чурбанам.

Русь, лежащая к западу от Поволжья, в те времена (X-XII вв.) имела уже сношения с Великой Булгарией. Царство волжских булгар занимало большое пространство по Волге – от Суры до Камы, и настолько оно было сильно, что славяне, как видно из некоторых летописей, не всегда решались тягаться с ними, и должны были признавать их превосходство пред собой.

Летопись от 985 года говорит, что после победы, одержанной князем киевским Владимиром над булгарами, дружинник Добрыня, осмотревши пленных, говорит князю: «сглядах колодних и вси суть в сапозех. Сим дани нам не платити, пойдеве искать лапатников». «И сотвори мир Володимир со болгары». Сметливый славянин Добрыня понял, что лапотникам русским не под силу держать в подчинении более состоятельный, более культурный народ.

Предприимчивые булгары вели уже торговлю с востоком. В их столице «Великом Городе» был ежегодно большой ярмарочный торг, где съезжались люди и из «Великого Новгорода» со своими товарами. Это показывает, что булгары имели уже значительные центры экономического движения, которые руководили и хозяйственным бытом края и внешней торговлей.

О торговых сношениях богатого Новгорода с Поволжским краем сохранились воспоминания в старинных песнях :

Что по матушке по Волге реке
А гулял Садко молодец тут двенадцать лет,
Никакой притки над собой не видывал.
Захотелось молодцу побывать в Новгороде.
Отрезал Садко хлеба кус сукрой,
А и солью насыпал он, в Волгу опустил.
А и спасибо тебе Волга матушка река

Говорит ему в ответ на его дар Волга:

А и гой еси добрый молодец!
Когда придешь ты во Новгород
Поклонись от меня брату моему озеру Ильменю

Садко выполняет в точности наказ Волги, и по совету одного подошедшего к нему там молодца, закидывает в озеро Ильмень три сети, которые приносят ему обильно рыбу красную, белую и мелкую. Прележавши три дня в подвалах Садко, та рыба обратилась в богатство несметное, и Садко на это богатство скупает все товары Новгорода.

Наверное, богатство приобрел Садко не только в озере Ильмень, но и на Волге реке.

Кроме торговых связей, удалые молодцы Руси, особенно новгородские ушкуйники, нередко спускались вниз по Волге на своих ладьях-ушкуях искать счастья, добычи у богатых Камских булгар. В этих набегах принимали участие и князья, которых вместе с удалцами тянуло в широкое раздолье Волги. Кроме того, высокие берега при слиянии Волги и Оки издавна привлекали русских, и они решили завладеть этими берегами, легче будет захватить весь мордовский край. И с усилением Владимиро-Суздальских князей начинается наступательное движение на мордву.

«Однажды, – говорит мордовское предание, ехал русский мурза (князь) на ладьях со своими молодцами вниз по Волге для добычи в Булгарские земли. Против Дятловых гор остановился, и любителю князь Мстислав (сын Андрея Боголюбского) зелеными горами и думает заветную думу о присоединении этого удобного края к Владимиро-Суздальскому княжеству. И вдруг видит что-то странное: среди леса на поляне высокого холма стоят шести длинные, а на тех шести торчат головы человеческие. Внизу около шестов березняк какой-то шатается, мотается, на восток до земли пригибается. Долго смотрел Мстислав, и посылает своих соратников разузнать, высмотреть, что там на горе делается.

Тайком пробираются молодцы, из-за кустов высматривают, выслушивают, и, возвратившись, князю докладывают: "на поляне той стоят шести высокие, а на тех шести не головы и не чурбаны насажены, а стоят боги мордовские. Около них, на поляне, не березняк шатается, мотается, до земли на восток пригибается, а то старцы мордовские в белых балахонах богу своему молятся.

На поляне, рядом в бадьях стоит брага сладкая, на рычагах яичница жарится. В котлах янбеды (жрецы) варят говядину. Усердно старцы молятся, а уставши, на лужке едят мясо, кашу вельми масляную и запивают брагой медвяною. Люди те мирные, богатые", – докладывают Мстиславу его соглядатаи.

Любо было слушать все это князю и захотел он ближе ознакомиться, и посылает он послов с дарами к мордовским старейшинам.

Те дары мордва приняла ласково, велела князю низко кланяться, благодарить его. "И мы пред ним в долгу не останемся". Выбрали старейшины из своей молодежи послов к мурзе русскому, давши горшок каши и ведро браги в дар ему.

Послы же дорогой кашу ту съели, брагу выпили, а вместо каши в горшок наложили земли, ведром зачерпнули воды, "ибо не смышляше бе". "И мы тебя дарим", – сказали старейшины чрез своих послов мурзе русскому.

Обрадовался русский князь таким дарам. Он объяснил значение их по своему: мордва де добровольно подчиняется Руси, без брани отдает и земли свои и воды».

Значение этой легенды очень ясно: старейшины мордовские осторожно, с опаской относились к более сильным соседям – русским и, когда требовалось, давали выкуп благами от земли, а молодое поколение не сумело сохранить самостоятельность земли мордовской в целом.

«Едучи вниз по Волге, – говорит предание о последствии опрометчивого поступка молодежи, – Мстислав разбрасывает по берегам дареную землю: где бросит щепоть – там селение вырастает, где бросит горсть – там город подымается».

Молодецкий налет на булгарские селения в этот раз Мстиславу не удался: почти все его соратники сложили там свои головы. Самому князю только богатством удалось спастись.

Вернувшись домой, в княжество Суздальское, Мстислав собрал большую рать и двинулся к устью Оки, к Дятловым горам. Остановился у коровьего взвоза со стороны Волги и послал сказать Ибрагиму: «Вот я пришел. Сдавайся добровольно или погибните все». Выслушал Ибрагим грозное слово Мстислава и дал такой ответ: «Я не прирожденный князь и владелец этого края, а только временный правитель в городище. О делах Мордовской земли ведают князья, сидящие в Эрземасе: они должны вести совет со всеми племенами мордовскими как быть, и на решение этого вопроса потребуются не меньше четырех лет».

Мстислав для обсуждения этого вопроса дал Ибрагиму не четыре года, а только четыре дня. Но хитрый и умный старик сумел воспользоваться и этим коротким сроком: он ввел за свои укрепленные стены потайными ходами около пяти тысяч вооруженных людей и смелым натиском решил отогнать врага. Не дожидаясь окончания четырехдневного срока, открыл он со стороны коровьего взвоза ворота и ударил на войско Мстислава.

Но несмотря на такой смелый, решительный удар – сам Ибрагим, его сыновья и весь народ от мала до велика легли под мечами и стрелами русских: «не осталось в Ибрагимовом городище ни старца старого, ни дитя малого. И само городище, – говорит предание, – враги дотла сожгли и сравняли с землею».

Расправившись с мордвою на Дятловых горах, Мстислав вернулся в Суздальское княжество, оставив стеречь завоеванные горы тысячу конных воинов. Воинам приказал селиться не на месте разрушенного городища, а вне его стен, за валом.

Узнали мордовские князья, как Русь поступила на Дятловых горах, и оповестили о том весь свой край. «Зело возмутилась мордва». Спешно собралась огромная рать и двинулась к месту, где красовалось Ибрагимово городище, чтобы жестоко отомстить своим врагам.

Русские имели уже среди мордвы своих приверженцев, которые предупредили их о грозящей опасности.

И, действительно, пешая мордовская рать «неспешными полчищами» двинулась по Эрземасской дороге к Дятловым горам. Но когда она была уже в верстах десяти от городища, русский сторожевой отряд на своих борзых конях полетел навстречу врагу. И там, где теперь Щербинка (новая деревня), стремительно перерезал мордовскую пешую рать и помчался по Березополью (вся южная часть Нижегородского уезда и северная Горбатовского была в те времена покрыта дремучими лесами и называлась Березопольем. См. Мельникова «Путеводитель Нижнего Новгорода») к Суздальскому княжеству.

Эти предания подтверждают летописные известия о том, что на месте нынешнего Нижнего Новгорода был городок или большое сельбище, которое подверглось опустошению в 1171 году.

II

Долго бьется мордва, отстаивая Дятловы горы: еще так недавно она крепко верила, что этот край будет ей принадлежать «во веки веков», и вот пришли «люди с запада» и гонят их – хозяев дальше и дальше от мест, где красовалось Ибрагимово Городище.

Сильнее вооруженные, воодушевленные желанием во чтобы-то ни стало удержать за собой Дятловы горы, русские жестоко теснили мордву. Бросая свои жилища, мордва пряталась в дремучих лесах, выжидала. А силы русских казались неистощимыми: Суздальское, Муромское и другие княжества посылали новых и новых бойцов, стремясь продвинуться вглубь мордовской земли. Они, русские, решили, что без захвата мордовских земель, дальнейшее движение на восток и вниз по Волге не могло быть успешным.

Скрываясь в лесах и болотах, мордва в свою очередь делала набеги, истребляла и жгла постройки, возведенные русскими, грабила, убивала. Борьба тянулась с лишком двадцать лет. Но мордва слабела, уходила в глубь лесов и, видимо, замолкала. Русь окончательно утвердилась на высоких берегах при слиянии Оки и Волги.

Пока русские вели борьбу с мордвою, болгары делали слишком смелые набеги на русские селения – разоряли, жгли и брали в полон жителей, доходя на севере до Великого Устюга. Суздальский великий князь Юрий Всеволодович «возмутясь» поступками болгар, решил усмирить их: собрал большую рать и под началом своего брата Святослава двинул ее на лодьях вниз по Волге. Ночью высадилось русское войско, под прикрытием леса подошло к самым стенам города Ошело (Ошлюя) и внезапно осадило его.

Стены Ошела не выстояли под огнем и русскими топорами: богатый город «Серебряной Булгарии» погиб весь в огне. Были слышны только стоны, да просьбы о помощи. Многие, «прикончив жен и детей, наложили и на себя руки».

С богатой добычей и пленными возвратился Святослав. Только по усиленным просьбам болгар, Юрий согласился на мир с ними, но завоеванные земли оставил за Русью.

Этой победе князь суздальский придавал особенно большое значение. На радости войскам задал пир и каждого одарил отдельно, особенно брата Святослава.

С радостью осматривал Юрий Всеволодович новые завоевания, особенно же Дятловы горы, понимая значение их для Суздальского княжества. Ценность этой местности он видел во-первых в том, что у подножия холмов сливаются две могучие реки, которые связывают большие пространства с селениями и поселками. В те далекие времена о железных дорогах не знали, не было у русских и мощных дорог, и реки служили самым надежным путем для взаимных сношений. Затем, русские давно решили, что Дятловы горы могут служить сторожевым пунктом, охраняющим с восточной стороны Суздальское и другие русские княжества от вражеских набегов из-за Волги и низовьев ее.

Кроме того Дятловы горы напомнили Юрию его прекрасную родину – Киев. Он был поражен сходством многих мест и видов: высокий лесистый берег над реками, да еще такими могучими, зеленые холмы, с которых любуешься бесконечными далями, лесами, лугами. В одном ущелье, как в Киеве, журчит ручей, и, для большего сходства, Юрий Всеволодович называет его Почайной (Почайна протекала по тому месту, где находится толкучий рынок, около Зеленского съезда). Но самое важное для тех времен было то, что этот конечный восточный пункт русской земли, благодаря высокой местности, мог нести дозор и упреждать нападения.

Благодаря всем этим преимуществам Юрий Всеволодович в это же пребывание, в 1221 году положил основание на Дятловых горах Нову-граду – Нижнему. Основание Нова-града положено не на месте Ибрагимова Городища, а ближе к устью реки Оки.

Нов-град Нижний, как сторожевая твердыня, действительно охранял долгое время русские земли, пока все Поволжье ни очутилось в их руках.

Быстро строился Новый город пришлыми людьми, и, чтобы оградить себя от случайных набегов, незатейливые деревянные дома и первую церковь Архистратига Михаила (ныне закрытый Архангельский собор, ровесник Нижнего Новгорода, уже в 1227 г. был заменен каменным. Этот собор, как самая высокая точка тогдашнего города, служил и сторожевым пунктом: между колокольной и церковным куполом находилась дозорная башенка, откуда следили за движением неприятеля) обнесли валом и на нем поставили из крепких бревен стены.



Михайло-Архангельский собор

В этой крепости поселились люди именитые: правители с охраной, гости – богатые торговые люди и все те, кто мог вносить средства на постройку стен. Люди «черные», «голытьба», селились за стенами, ютились посадами. Но и они, собравшись с силами, обносили себя стенами – «острогами», как говорили в старину, т.е. заостренными бревнами. Первые посадские заселения шли за Почайной, там где теперь Вознесенская, Сергиевская и другие улицы. Население Нова-града быстро росло. Указанные выше причины и волжское раздолье привлекали удальцов с верховья.

Но мордва долго не могла успокоиться, долго отстаивала свой край, свою самостоятельность. И когда, наконец, поняла, что дело проиграно окончательно – начала жестоко мстить русским: разрушала, жгла селения, уничтожала посеы, огороды, по оврагам пробиралась к стенам Нова-града и поджигала их. Особенно упорной храбростью отличался их мурза Пургас: бурей налетит со своим отрядом, захватит жителей врасплох и нанесет столько бед, разрушений, что хоть руки опускай. Но люди, как муравьи, что с ними ни делай, а раз облюбовали место, будут его держаться, и новые постройки и стены возводились выше и прочнее.

В то время, когда Нов-город Нижний утверждался на Дятловых горах, по земле русской пронеслась весть о новом страшном враге. «Неведомый народ несметными полчищами пришел из-за Урала, переправился через Волгу и, как саранча, пожирающая засеянные поля, уничтожает на своем пути все: предает огню села, города, забирает скот и все ценное, детей и мужское население убивает, женщин в полон берет, оставляя после себя пустыню с горами пепла». То была весть о нашествии татар.

В степях Средней Азии кочевало многочисленное племя монголов или татар. Один из ханов-князей, Чингиз-хан (великий хан) покорил в степях Азии все монгольские племена и решил, что он – один владыка мира, и земли, лежащие на запад от Уральских гор, отдал своему внуку Батыю, хотя эти земли и не были еще им покорены. Вот этот наследник с несметной ордой и появился на русской земле.

«Люди русские, – говорит предание, – еще загодя проведали об этом грозном биче божьем. Как узнали, как проведали? Да поведала им о том земля-матушка. Не всем она дает знать о грядущих событиях, а только тем, кто душой близок к ней, кто крепко, бескорыстно любит свою родину. Или матери, тоскующей о любимом сыне своем. Выйдет слезная страдалица в поле ночью тихую, припадет к земле головушкой и слышит великое стенание со стороны восхода солнышка, слышит плач, железа лязганье, конский топот, шум людской. И долго так стонет земля-кормилица». И так узнают люди, что скоро быть беде (это предание равносильно народному изречению: слухом земля полнится, и на нем оно построено).

Ужасом повеяло от тех вестей. Земля русская в те времена была разбита на уделы. В каждом уделе хозяйничал свой князь, как хотел. Каждый из них обязывался не вмешиваться в дела князя иного удела. «Тебе знати своя отчина, а мне знати моя отчина». Значит, каждый удельный князь был независимым владельцем своего удела. Но между удельными князьями шла постоянная ссора и жестокие битвы за обладание того или иного богатого удела, и вообще беспорядочная толпа князей редко ладила между собою. Страдало от этого главным образом население.

Весть о грозном враге – нашествии татар – не смирила вражду удельных князей, не образумила их. Вместо того, чтобы общими силами отразить азиатов, они защищались в одиночку. Правда, на которых беда уже нагрянула, с мужеством отстаивали свою свободу: «лучше быть убиту, чем полонену», говорится в одной песне.

В 1238 году погиб и основатель Нова-града Нижнего Юрий Всеволодович в жестоком бою с татарами при защите Суздальского княжества, когда Владимир на Клязьме и много других городов были разрушены и преданы огню.

Со смертью Юрия стал предметом ссор между князьями и Нов-град Нижний: каждый из многочисленных суздальских князей желал овладеть новым городом на Дятловых горах, который в будущем со своими землями, прилегающими к большим рекам, обещал быть значительным уделом. Его еще нашествие татар не коснулось, хотя южные и центральные уделы все были уже покорены ими, и главный татарский стан – столица «Золотая орда» находилась вниз по Волге, в пределах нынешней Астраханской губернии.

Из своей столицы хан властной рукой рассылал своих баскаков (чиновников) собирать дань по русской земле, покоренной, обессиленной, почти разрушенной. Дань брали «с живого и мертвого». Если хану казалось мало, или кто-либо из удельных князей не так низко склонял голову пред баскаками, орда вновь нападала и разоряла до конца. Собирая дань с населения для всеильного хана, русские князья не забывали и себя. Да и для увеличения дружины требовались деньги, и все это ложилось двойным гнетом на плечи трудового народа, все истощало страну.

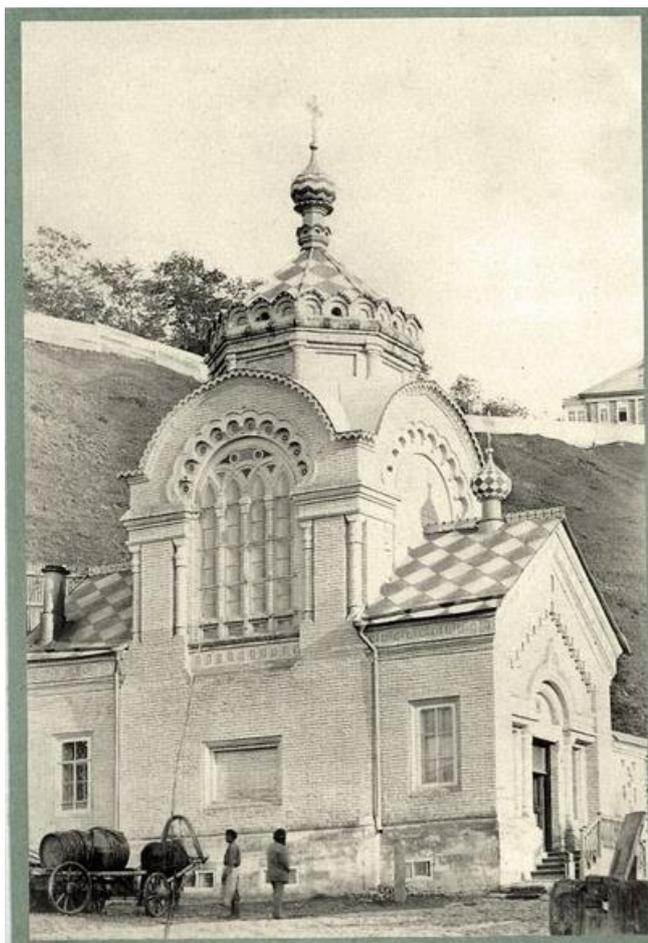
Те темные времена создали предания о народных «радетелях», которые отстаивали интересы народа пред всеильным ханом, без боязни шли в самое пекло вражеское, в Орду, чтобы «вымолить людям облегчение». К таким защитникам относят московского митрополита Алексея.

История говорит, что митрополит Алексей был усердным поборником единой державы всех русских уделов. Он доказывал, что только присоединивши уделы к Москве, можно спасти Русь от татарского ига. Много раз митрополит Алексей ходил в Орду, чтобы смягчить гнев хана. Не раз бывал и в Нижнем, дабы усмирить ссоры князей.

Народное воображение украшает одно из его путешествий таким преданием: «возвращался из Орды радетель народный митрополит Алексей, и нужно было ему перебраться через реку Волгу, дабы попасть в Нижний. Но перевозчики, видя человека бедного, в лохмотья одетого и решивши, что взять с него нечего, на перевоз не приняли. Бросил свят человек свою одежду ветхую на речные струи быстрые и на ней переплыл на другую сторону. На ту пору бабы на реке лопатье свое мыли, и на просьбу старца о милостыни вальками грозить стали. Отошел защитник народный к горе и вдруг возгремел гром, упала шаром молния и открылся от той горы источник ключевой воды и побежал вниз струей светлой. Смочил смиренный странник в той воде сухую корку и подкрепил силы старческие. А люди жестокие хоть и видели знамение, но в безумии своем над человеком тем глумилися, от источника согнажи, и ночлега не нашел он в Нове-граде. Отошел от него митрополит Алексей с великим огорчением и вымолвил горькую истину: "камень град сей, а сердца людей его железные"».

Но струя та, что вскрыта молнией во славу народного радетеля, течет и до сего дня. Рядом с горным ключом, что течет внизу Похвалинского съезда, построена часовня, якобы в память вышеизложенного события.

По летописным сообщениям, Московский митрополит Алексей, бывая в Нижнем по делам усмирения княжеских ссор, всегда любовался красивой местностью над Окой, где находился в полном разрушении монастырь – ровесник города, разрушенный еще мордовским князем Пургасом в 1229 году. В один из своих приездов митрополит Алексей возобновил этот монастырь, назвавши его Благовещенским.



Часовня с источником на Почаевском съезде



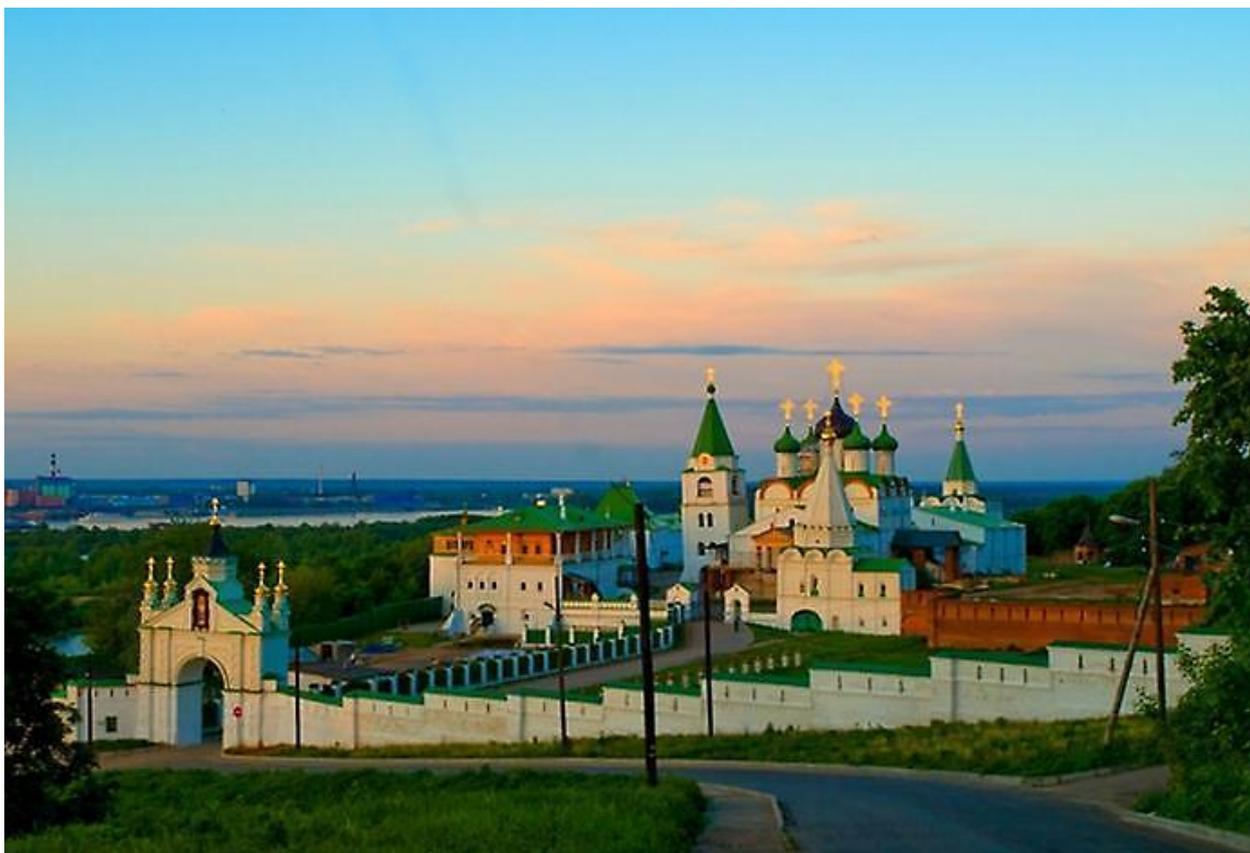
В те далекие времена основание монастырей поощрялось и правительством, чтобы закрепить за собой свободные земли, особенно побережье рек, и в случае нападения врагов, иметь со стороны монастыря помощь. И помощь тогда оказывалась существенная: примером может служить Троице-Сергиевская Лавра, сыгравшая громадную роль в смутное время в Московском царстве. Этим объясняются субсидии монастырям деньгами и земельными угодьями.

Нижегородский Печерский монастырь основан в 1328 году «старцем» Дионисием, пришедшим из Киева с несколькими иноками. Первоначально иноки селились в пещерах, вырытых в полугоре берега Волги. Жила братия уединенно, разводила огороды, сады, отодвигая лестные дебри дальше и дальше. С успехом занимались они пчеловодством, рыболовством. К ним присоединялись люди, жаждущие уединения, бежавшие от воинских обязанностей, от гнета боярства. Таким образом скоро составилась иноческий поселок – монастырь, названный Печерским, в честь Киево-Печерского монастыря, из которого Дионисием была принесена икона, чтимая верующими до сего времени.

К монастырю притекали люди, притекали и средства. Но укреп он на берегах Волги главным образом «милостями» князей и богатеев города. Среди учеников Дионисия, «старца строгого» был инок Макарий, уроженец Нижнего, впоследствии основавший Макарьевский монастырь на «Желтых водах».

Возрастал и богател Печерский монастырь около 250-ти лет. Но вот пред самой великой смутой на Руси, а именно в 1597 году монастырь постигло большое несчастье: «18 июня в три часа ночи произошел громадный обвал горы и монастырь был разрушен. Еще раньше чувствовалось колебание земли и был слышен гул из нутра ее, а на верху горы появилась глубокая расщелина длиною с версту, и ... вдруг земля тронулась с лесами, садами, огородами».

Монастырские здания заколебались, «и та гора прошла под монастырем землю и вышла на Волгу реку, где и остановилась буграми, так что струги легкокрылые, что стояли у берега, очутились на суше в дальнем расстоянии».



Вознесенский Печерский монастырь

Народ того времени объяснил это событие, как «знамение пред грозными делами на русской земле».

Через год Печерский монастырь был вновь построен на богатые дары Московского царя Федора Ивановича и на другие приношения, но не на прежнем месте, а ближе к Нижнему, так как опытный зодчий, осмотревший место разрушения, нашел что «на старом строиться не годится». Стены были возведены каменные с башнями. Монастырь имел больницы, обширные богадельни, где ютились старики и сироты, мастерские разных ремесел, откуда выходили опытные мастера, и вообще был настолько богат, что во время войны мог помогать государству немалыми деньгами. А в башнях его, что стояли по углам стен, прятали непокорных начальству – государственных преступников, имена которых потонули во времени.

История Печерского монастыря тесно связана с историей Нижнего Новгорода: внешние враги Нижнего и его враги. Его белые стены среди зелени до сих пор украшают склоны холмов над Волгою, как старые стены Благовещенского монастыря – над Окою.

Много князей хозяйничало в Нове-Граде на Дятловых горах, но немногие из них занимались устройством края. Каждый владетельный спешил набрать побольше дружины, заготовить оружия, чтобы было чем отразить нового искателя – брата, дядю или иного родственника, с оружием в руках доказывающего свое право на владение Нижегородским княжеством.

Только о князе Константине Васильевиче история отмечает иное, говоря, что он «княжил честно, грозно бороня свою вотчину от внешних врагов».

Будучи Суздальским князем, Константин получил в свое владение и Нижегородский край и так восхитился им, что перенес из Суздаля княжеский «стол» на Дятловы горы, в Нов-Град Нижний. С этого времени (с 1350-го года) Нижегородский край становится самостоятельным «великим Нижегородским княжеством».

Озабоченный заселением свободных земель Поволжского края, Константин усиленно призывает охотников из других уделов, и население при нем быстро увеличивается.

Следует сказать, что славянские племена, по летописям старины, издавна были предприимчивы и большинство живущих на равнине – «поляне» – занимались хлебопашеством, но города строились около рек, озер и главным образом по большому водному пути «из варяг в греки» – Киев, Новгород, Псков и другие. «Великий Новгород» входил уже в Ганзейский союз и вел торговые сношения с приморскими городами запада, и имел экономическое значение для края.

Развивалось русское государство вначале на юге и юго-западе. Политическим центром был Киев. Но, благодаря постоянным нападениям со стороны южных степей разных «идолищ» – хазар, печенегов, половцев и, наконец, нашествию татар, значение юга постепенно падало, а центр и восточный край возвышался, увеличивалось население и по рекам Оки и Волги.

Поля этого края не столь плодородные, как поля юга – не давали в достатке населению хлеба, и жителям приходилось изыскивать другие способы к существованию. Постепенно начали развиваться разные мастерства. Появились плотники, печники, кожевники, ткачи, столяры, прочих дел мастера. Работа тогдашнего ремесленника была ограничена пределами местного спроса. Обмен и торговля в этом краю едва зарождались с соседними финскими племенами.

При незнании языка другого племени торговля нередко велась немая: выставит свой товар продавец и уходит. Подходит покупатель, осматривает оставленное и приносит для обмена столько своего товара, сколько ему кажется достаточным и тоже уходит. Возвращается первый, сравнивает ценность того и другого и, если находит достаточной оплату за свой товар, берет местный, а свой оставляет.

И несмотря на медленное развитие населения, простая, трудовая жизнь которого жестоко эксплуатировалась князьями, воеводами и вообще более сильными и ловкими людьми, а рабскому положению людей гармонировало и духовное настроение той эпохи, порождая сказочный мир в нелепых образах – несмотря на это северо-восточный край, охваченный Окой и Волгой с притоками, становится впереди юга в экономическом и политическом отношении, куда вошел и Нов-град Нижний.

В этот период истории России, как сказано выше, нижегородским князем был Константин Васильевич Суздальский.

Застучали при Константине в Нижегородском краю топоры не для грабежей и убийств, а для мирного строительства. Могущество Нижегородского княжества не уступало в то время и Московскому.

После смерти Константина, его сын Андрей продолжал дело отца. Но при нем Нижний постигло «тяжкое бедствие – страшное моровое поветрие», от которого «народу бысть тягостно и скорбно, и множество умирало. Затем настала засуха: земля потрескалась, трава и листочки на деревьях повысохли. Напрасно ждали дождика: за все лето и трех капель не выпало. Кругом горели леса. Солнце скрылось из глаз людей за пеленой дыма и пыли. Люди и животные задыхались. И было в те поры на небе знамение: облака носились по небу то черные, то кроваво красные, и мгла стояла три месяца. А все те знаменья предвещали недоброе», – говорит предание.

Со смертью Андрея, который княжил десять лет, наступает междоусобная борьба его братьев – Дмитрия и Бориса за обладание Нижним, который переходит из рук в руки, и, благодаря непрерывной борьбе, истощавшей весь край экономически, [последний] приходит в упадок.

Значение Москвы, напротив, с каждым десятилетием усиливается: она собирает около себя мелкие уделы, в чем ей помогает и Золотая Орда, куда Москва щедро отправляет дары.



Дмитриевская башня (напротив – памятник Минину)

В этот период на Нижний налетает враг, откуда и ждать нельзя было. Новгородские ушкуйники, гуляя по Волге, сделали высадку у Нижнего, ограбили в нем «гостей» армянских, хивинских и других, торговавших по преданию на месте нынешней ярмарки, за Окой. Не пощадили и жителей города. Все суда, стоящие у берегов порубили и пожгли, чтобы отрезать погоню, и полетели молодечествовать дальше.

Вслед за ушкуйниками на Нижегородском горизонте впервые появился опаснейший враг – татары. Поднимаясь по Волге, мурза ордынский Булат-Темир разрушил Булгарию, положивши тем начало Казанскому татарскому царству и вступил на земли Нижегородского княжества. Но Нижегородская рать во главе с князем Дмитрием на этот раз грозу отстранила, избив почти всю орду Темира.

В это время, говорит предание, в Нижнем случилось новое горе: «обвалом большой горы со стороны Оки засыпало много домов со многими живущими в них». Затем, было знамение: «на колоколе Спасо-Преображенского собора трижды прозвонил колокол сам собой».

В 1372 году Дмитрий решил заложить каменный кремль, но было возведена только одна башня с воротами, которая до сих пор носит его имя.

Между тем Орда, видя, что Русь крепнет, выходит из рабского состояния, в котором была более ста лет, задумала подавить это обновление, и в 1374 году в Нижегородских владениях появился с большим отрядом посол Мамай – Сарайко. Он нес грозное повеление хана о беспрекословном подчинении Золотой Орде. Но за все чинимые над народом мытарства, весь его отряд был перебит, а сам Сарайко привезен в Нижний и посажен в каземат.

Через некоторое время, в отсутствие великого князя Дмитрия, его сын допустил нижегородским удальцам удовлетворить чувство мести над ненавистным врагом народа, и Сарайко был убит. Дорого стоило это убийство всему Нижегородскому краю: в 1377 году появился с бесчисленным войском татарский царевич Арапша «зело свирепый и ратник велий. Телом мал, но мужеством вельми». Шел он с повелением от Мамаю напомнить Руси времена Батыя и громить непокорных нещадно.

Князь Дмитрий вкупе с суздальскими дружинами вышел навстречу за реку Пьяну, но орда точно сгнула. По пути мордва уверила, что татары испугавшись русской силы ушли.

Поверив мордве, князя с боярами отправились на охоту, так как леса кругом стояли могучие. А рать русская, опьяневшая от радости и вина распустилась: сбросила с себя доспехи воинские и похвалялась силой, кичилась над невидимым врагом.

Но скрывшийся в лесах враг охватил лагерь со всех сторон, и «бьющее и секуще теснил их в реку». И скоро «трубили татары победу на костях христианских».

Оставив пленных под крепкой охраной, Арапша двинулся на Нов-Град Нижний. Ужас охватил жителей. Никто не думал уже о защите, и мольба о пощаде была напрасна: кровь лилась ручьями. Кругом все запылало огнем. «Это вам за Сарайко», было ответом на просьбы о пощаде. Молодых поволокли в неволю на сворах как собак.

Мордва радовалась этому разгрому и со своей стороны решила мстить своим исконным врагам – русским. Но за это была жестоко наказана.

В битве запьянской погибло два князя и много бояр нижегородских, а воинам и нет числа. Только старшему князю Дмитрию удалось скрыться. Стремительно бежит он, чтобы в Суздальском княжестве собрать помощь для защиты Нижнего от страшной грозы. Однако подоспел он уже тогда, когда Арапша, насытившись разгромом, отступил, и когда мордва набросилась на оставшихся в живых. Дмитрий с братом Борисом разбил мордву и «всю их землю пусто сотвори», после чего мордва подчинилась окончательно.

Прошел год. Не успел еще Нижний оправиться, как нахлынули новые толпы татар. Князь Дмитрий предложил выкуп, но враг отказался: «нам нужна кровь за Сарайко». И Нижний опять был разгромлен, опять полилась кровь.

Торговые люди – «гости», не надеясь на защиту нижегородских князей, начали переселяться в Москву, которая в это время была самым сильным княжеством на Руси. Понимали и князя, что самостоятельность нижегородского княжества от внешних врагов одни они [\[сохранить\]](#) не в силах. Им стала угрожать и Москва, присоединившая к себе многие уделы. Кроме того опасным врагом были отделившиеся от Золотой Орды и основавшие свое царство в соседстве с Нижегородским краем Казанские татары.

По смерти Дмитрия (в 1384 г.) Нижегородским князем, несмотря на происки племянников, становится брат его, уже престарелый, но все еще честолюбивый, Борис – третий сын Константина Васильевича. Его желание овладеть Нижним, дважды порождавшее жестокую борьбу, наконец исполнилось, хотя недолго пришлось ему княжить. В 1392 году в Нижний вступил Московский князь Василий [\[I Дмитриевич\]](#) с войском и по его приказу Борис был схвачен и обманом отправлен в монастырское заточение. С этого времени «великое княжество нижегородское» потеряло свое «величие» и стало подчиненной Москве областью. Только сорок два года этот край был самостоятельным княжеством, и вместе с сыном Константина – Борисом утратил ее.

Борис – последний князь великого княжества нижегородского умер в монастырском заточении. Сыновья Бориса и племянники долго еще вели борьбу с Москвою, и, чтобы добиться власти, ездили в Орду, при чем, как их отцы и дяди – один честолюбец входил туда чрез труп другого. Золотом и лестью задабривали хана, чтобы получить ярлык на княжение в Нижнем. Они и достигали своего на короткое время, даже чеканили свою монету.

Все междоусобные войны, ссоры князей, сопровождавшие их пожары, грабежи ложились непосильным гнетом на плечи народа и вели к обессиливанию края.

Но в начале 15-го столетия князья Суздальско-Нижегородские, утомясь бесполезной борьбой, успокоились, помирились с неизбежным признали власть Москвы.

III

Нижний с присоединением к Москве избавляется от междоусобных войн княжеских за обладание им – одна беда спала, отошла. Но другая, еще более грозная, держала его в постоянном страхе – это татары, окончательно утвердившие свое Казанское царство в соседстве с Нижегородским краем. От этого соседства Нижний особенно застонал: почти каждый год татарские набеги опустошали край, проходили дальше, вплоть до Москвы.

В виду этого укреплением Нижнего была заинтересована и Москва. Сюда стягиваются войска из других уделов и Нижний становится важным стратегическим пунктом на восточной окраине, охраняющим Московию и северные области.

Необходимость каменных стен около Нижнего стала очевидна всем, особенно после нападения Махмеда Аминя Казанского в 1505 году. В этот раз только случай избавил Нижний от полного разгрома.

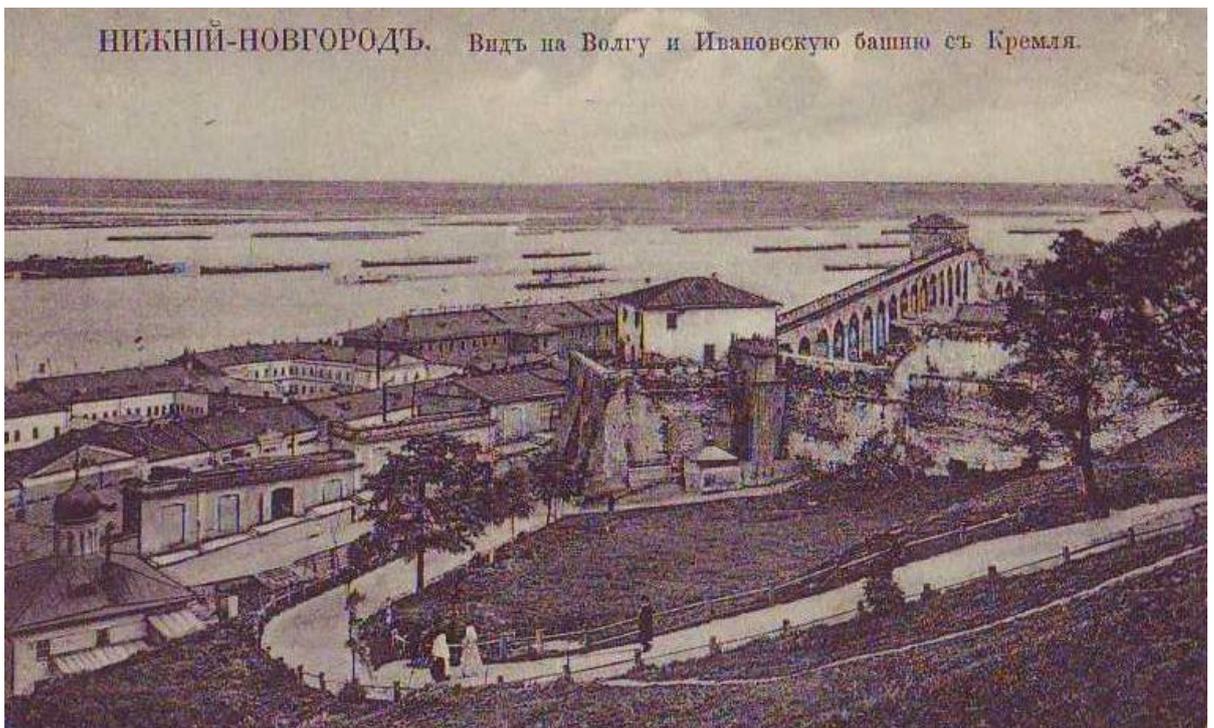
Аминь с многочисленной ордой татар и нагайцев, опустошив Нижегородское Поволжье, остановился около Нижнего, на холмах за Почайной и готовился уже к осаде крепости.

Воеводой Нижнего в это время был молодой, энергичный, знающий ратное дело, Хабар Симский. Но у него не имелось достаточно сил, чтобы отразить полчища Аминя. Горожане – «страшливые люди» давно доказали свою неспособность к ратному делу в минуты опасности. О помощи из Москвы не было слуху. А Ахмет Аминь принимал уже решительные приготовления к осаде.

Симский знал, что на складах лежат пушки, взятые еще в 1500 году у Литвы Московским князем Василием III и вместе с пленными сосланы в Нижний. Но среди русских не было людей, умевших пользоваться ими. И вот, в это страшное время воевода вспомнил, что в городских темницах среди пленных литовцев томятся и «огненные стрелки» со многими своими товарищами. Воевода Симский спешно приказал выпустить пленных из душных камер и обещал им полную свободу, если они пустят в ход пушки и тем помогут спасти Нижний. Литовцы согласились ценою свободы помочь своим врагам, и живо принялись за дело: пушки были свои, им родные, вместе с ними взятые во время боя там далеко, на западе.

Умелые руки быстро втащили их на стены тверской цитадели (тверская цитадель возведена была в 1500-м году князем Иваном III)*, прошел час, два. Враги устанавливали тараны (стенобитные осадные орудия). Но вдруг, как внезапный гром, раздался пушечный выстрел. Все были необычайно поражены: пушечный выстрел в Нижнем раздался впервые.

* Ивановская башня названа по находившейся неподалеку церкви Иоанна Предтечи, к которой была приписана церковь святого Николая – чудотворца («Никола на Торгу»), основанная еще великим князем Нижегородским Дмитрием Константиновичем в 1371 году. К башне снаружи примыкал «обруб», деревянный сруб, на котором стояли дальнобойные пушки, стрелявшие ядрами до 12 кг. Вместе с «обрубом» башня образовывала крепость, так называемую «Тверскую цитадель». Тверская, как и в случае с одним из названий кладовой башни, в смысле «твердская», то есть укрепленная. Башня с внутренней стороны имела пристрой с «городовой лестницей», по которой защитники кремля поднимались на стены. В том же пристрое была камера для пленных и преступников.



Направленный умелой рукой канонира Феде Литвича снаряд попал прямо в стан Ахмед Аминя, и этим ударом был убит мурза нагайский, ближайший друг и помощник Аминя. Ужас объял врагов. Они, по сказанию летописи, «возмутятся, аки птичви стада», обезумев от страха, все в панике бежали, особенно нагайцы, и побросали свое оружие. А со стен цитадели гремел выстрел за выстрелом, ядро за ядром врезалось в бегущего неприятеля. Смущенный Ахмед Аминь отступил от Н. Новгорода. «Литвичи огненным стрелянием град от взятия удержаша и людей от меча и плена избавиша».

Симский сдержал данное слово: всем литвинам дал свободу и щедро наградил.

На месте, где упало первое пушечное ядро «благодарные нижегородцы построили церковь в честь Ильи пророка, как властителя грома и молнии».



Церковь Ильи Пророка

(на заднем плане слева – Ивановская башня и Предтеченская церковь)

После похода Аминя и вообще в виду враждебных отношений Казанских татар, великий князь Московский окончательно решил выполнить мысль Дмитрия Константиновича о постройке в Нижнем каменного кремля. В 1508 году послал он в Нижний итальянца – опытного строителя, бывшего тогда в Москве – Пьера Францеско, которого у нас звали просто Петр Фрязин.

Осмотрел Петр Фрязин грунт холмов и составил план нового кремля с точным указанием линии стен, мест, где встанут башни с бойницами, ворота, потайные ходы и прочее. Стены нового кремля решено значительно раздвинуть, чтобы во время нападения врагов и посадские могли скрыться в нем. Ручей, текущий внутри Кремля, обложили камнем, чтобы и жители и животные на случай осады были обеспечены водой.

Воевода князь Василий стянул с разных мест мастеров, рабочих каменщиков. С «гостей» – торговых людей собрали дань деньгами, население всего края временно несло необычайную подать: приказано, по окончании полевых работ, собирать по полям, лугам и лесам камни – каждые пять дворов должны собрать сажень камня и по зимнему пути доставить в Нижний.

Ранней весной, как только сошел снег, приступили к работам (1510 год). На последнем собрании, во главе с воеводой князем Василием окончательно обсудили дело постройки. Главным ответственным лицом над этим важным делом был назначен старый боярин Сергей Ордынец, человек суровый, строгий, но честный и любимец князя.

В конце собрания, как говорит предание, один из бояр спросил князя: «не забыл ли ты, княже, обычай старины, по которому при больших сооружениях зарывали то живое, что первое добровольно подходило к началу работ? Помни, это дает крепость стенам. И стены кремля Ново-Города Великого сильны тем, что там за церковью Спаса зарыт малолеток», – продолжал боярин. «Знаю... дал распоряжение Ордынцу», – ответил князь.

Для начала работ было все готово. Было вырыто и углубление для основания первой башни. По преданию постройку начали с южной стороны, с той башни, что над крутым поворотом Зеленского съезда, которая называется Коромысловой.



778. Н.-НОВГОРОДЪ.

Общій видъ Зеленскаго съѣзда и Коромысловой башни.

С этим именем связано грустное народное предание, которое передается разными вариациями. Одно из них такого содержания, как передает Навроцкий* в своей стихотворной поэме [«Коромыслова башня»]: в это время жил в Нижнем молодой купец, Григорий Лопата, выходец с юга, с Днепра. Там ему не повезло в торговом деле и он переселился на север в Нижний. Здесь жизнь его наладилась и удача шла за удачей. Скоро он разбогател, и полгода тому назад женился на дочери посадского, красавице Олене.

Хороша была Олена! и спеть и сплясать и слово вымолвить... А уж хозяйка дому... незаменимая. Крепко любили друг друга молодожены. Рано проснулась Олена в тот день, когда началась работа нового кремля. Но не хотелось ей сразу расставаться с теплой постелью, понежилась еще. А как увидела, что солнышко заглядывает уже в окошко, быстро поднялась.

«Ай, ой, как заспалась я! – забеспокоилась молодка, – воды-то в доме нет, нечем будет самому умыться... Еще рассердится», – улыбается Олена, глядя на спящего мужа.

Быстро оделась Олена, схватила ведра, коромысло и побежала к Почайне. Забыла и платок на голову накинуть. «Нехорошо без платка, соседки осудят», – думает Олена, но надо спешить... Сбежала Олена к Почайне, зачерпнула воды и остановилась: возвращаться, по той крутой тропинке, по которой сбежала или по дороге, где немного дальше, но отложе, легче? «Григорий приказал беречься», – подумала и пошла по дороге.

Поднялась Олена на гору и видит в стороне от дороги вновь вырытую яму. «Вчера еще не было, что это: уж не могила ли кому?» Надо торопиться домой, но любопытство одолевает бабу. «Посмотреть не долго, авось не проснулся еще сам-то?..» И Олена обошла яму кругом, переложив коромысло на другое плечо и спешно зашагала к дому.

Идет Олена, а навстречу из-за ворот старой стены выходят мужики и перегораживают ей дорогу. Думая, что с ней шутят, Олена, весело балагуря, требует очистить дорогу: «Ну, ну, не замай, а то и коромыслом огрею, иль водой оболью...» А мужики уже окружили бабу, охватили кольцом. «Говорю – не замай!» – волнуется Олена, – вот на зеленой горе, при вечерней заре побалакать и спеть будет время». А мужики с угрюмыми лицами точно и не слышат ее. «Эх, молодка, плохи наши шутки! – говорит один из них печальным голосом, – вечерней то зари, да и зеленой горы не видать уже тебе... Поди, скажи самому-то, что попала не птица, не зверь, а красавица молодница», – говорит тот же мужик. Но в это время сам боярин Ордынец вышел из-за ворот. Войдя в круг, он быстрым взглядом окинул молодую женщину.

Почуяла Олена что-то недоброе, грозное. С надеждой на помощь боярина, она стремительно кинулась к нему: «прости, боярин, если что плохое сделала! Отпусти, меня муж ждет...» И она с рыданием припала к ногам его. Но слезы женщины скорее могли бы тронуть камни, чем боярина Ордынца: всю жизнь он провел в борьбе, в битвах, видел много слез, слышал бесконечно много просьб, и его сердце стало недоступно жалости. А теперь он был убежден, что делает правое дело. И в ответ на рыдания Олены, Ордынец снял с себя кушак...

«Завяжите бабе рот поплотнее: сил у них мало, да голос звонкий. А глупые люди, пожалуй, отбивать начнут».

Бьется Олена, сопротивляется, но ужас обессилил ее. Да и что может сделать она против стольких мужских рук.

«Скорей подавай доску! – приказывает Ордынец, – и ей нелегко, всем жить хочется».

* Навроцкий Александр Александрович. Родился 1839 году, учился в Военно-юридической академии. Сотрудничал в журнале «Русская речь». Автор широко известной песни «Есть на Волге утес», издал несколько книг. Умер в 1914 году.

Растянули Олену по доске, перетянули веревкой, как ребенка свивальником и отпустили на дно ямы.

«Ведро и коромысло! все, что было при ней – с нею и лечь должно, таков обычай», – пояснил боярин.

Быстро закончены страшные приготовления. Холод смерти проник все существо несчастной. Только крупные слезы, падающие из ее чудных, синих глаз, показывают, что она жива и понимает весь ужас происходящего...

Сам Ордынец не выдержал пред жестоким делом – опустился на колени: «не вини нас, молодка. Такова, знать, судьба твоя. Послужи народу, дай крепость стенам града. А мы будем за тебя молиться», – говорил он. Кругом стояли люди с опущенными головами. По суровым лицам некоторых сбегали слезы сожаления, и старались они не смотреть на жертву невинную: было это так жестоко, так страшно... Только ясное солнышко щедро заливало Олену своими теплыми, яркими лучами, прощаясь с молодой жизнью.

«Зарывай!» – приказывает боярин. Но ни одна лопата не подымается, ни одна рука не шевелится. И сам Ордынец берет лопату и засыпает лицо и голову молодой красавицы землей. За ним поднялись, зашевелились и другие. Минуты две-три и могила сравнялась с краями.

Давно проснулся Григорий Лопата. Прислушивается – в избе ни шороха. «Где же Олена?» Одежда, ждет. «Нет ведер и коромысла, значит, за водой пошла. Но почему так долго? Эх, эти бабы, зацепят языком – не растащить...», – ворчит Григорий, и от нетерпенья идет встречать жену.

Весеннее солнце так ясно, приветливо говорит о радости, счастье, и настроение Григория меняется: на устах появляется улыбка и невольно напрашиваются слова ласки. Он быстро сбегает откосом к Почайне и видит – две бабы на плоту белье полощут.

«Эй, бабоньки, не видали ли моей Олены? Загуляла, когда и ушла!» – смеется Лопата.

«Полно-ко ты бога гневить! – говорит, разгибаясь, баба, – твоя хозяйка не загуляет, всем в пример молодка: работница аккуратная...»

«Да вот нет! разве заглянуть в кабачок – не выпивает ли с кем?» – продолжает шутить Григорий.

«Какой ты веселый», – говорит другая. – А мой Федот вон какие страсти рассказывает: слышь, там наверху живого человека зарыли.. Говорит, сам слышал стоны и плач. Ты смотри, не твоя ли...»

Но Григорий уже не слышит последних слов бабы: страшная мысль точно обожгла его сердце и он стремительно бросился на гору. Там принял он за кучей камней и видит: рабочие с обнаженными головами стоят пред боярином Ордынцем и слушают его приказания.

Напряженно вслушивается Григорий, с тревогой всматривается во все окружающее, и вдруг на глаза ему попадает башмак – торчит, уткнувшись в песок. Что-то мелькнуло знакомое. «Да это башмак Олены! он сам купил их у татарина...» Жестокая истина сжала сердце несчастного. Через момент Лопата валялся у ног боярина Ордынца.

«Отпусти! раскопай, она жива еще! – рыдал Григорий, – и не одна она – она носит ребенка...»

Но Ордынец оттолкнул его и приказал выгнать со стройки.

Как безумный мечется Григорий. Адская мука сокрушила его. Бежит он людей, не принимает их утешений. Поздно вечером пришел в себя и увидел, что стоит на высоком холме над Окой. Внизу бушевали бурные весенние волны, унося горы изломанного зимнего покрова. Кругом шумела непогода. Вновь бурю нахлынуло на Григория пережитое, и понял он, что эти страдания не под силу ему.

Скрежеща зубами, послал он проклятие городу и людям, живущим в нем. А к реке обратился с мольбою: «подточи, подмой, могучая, эти горы со всеми постройками, освободи, обмой кости родные и меня успокой». И потопил Григорий свои страдания, бросившись с высокого холма в бурные волны Оки. Всю ночь бушевала река. Всю ночь шумела непогода, точно справляла панихиду по жертвам людского суеверия.

Ту башню, где по преданию зарыта Олена, именуют Коромысловой (такая же легенда существует в с. Б. Мурашкино, где будто бы при постройке мордовского укрепления была зарыта живая девушка и бык, одновременно с нею подошедший к месту, где начиналась постройка крепости. Мурашкино по преданию построено мордвинном Мурашем и было защитной крепостью против внешних врагов. Еще в 17-м столетии считался городом).

Предание это показывает, насколько суеверны были в то время и правители.

При слиянии Руси с финскими племенами, мифология последних отразилась и на русских. У финнов культ воды, леса, камня, у славян – предков, разных явлений природы, откуда домовые, лесовики, водяные и разные другие хозяева помимо человека, требующие жертв, поклонения.

Как велика была тьма народная, показывает такой летописный рассказ: случился голод в земле Суздаль-Ростовской, и два волхва из Ярославля, идя по Волге, разглашали: «мы знаем, кто обилье держит» (урожай задерживает). Придут в тот или иной погост, назовут лучших – богатых женщин и скажут: «та держит жито, та рыбу, та мед». И отдавали кто сестру, кто жену, кто мать. Волхвы делали у них надрезы на плечах и ловко «вынимали» жито, рыбу, мед. Женщин убивали, а их имущество волхвы брали себе.

Таковы нравы и обычаи наших предков, уже принявших христианство.

О Коромысловой башне Нижегородского кремля существует немало легенд. Ниже помещена менее правдоподобная для 16-го столетия.

В 1513 году уже возведенные каменные стены кремля спасают нижегородцев от нападения астраханских татар. А в 1520 году под стенами Нижнего опять появились огромной ратью казанские татары во главе с царем Саиб Гиреем.

Этот казанский властитель зашел в своей ненависти к русским, особенно к самодержавной Москве, до того, что перебил всех купцов, прибывших на казанскую ярмарку, и бросился громить московские области – Коломну, Владимир и другие города. Подошел он и к стенам Нижнего. Но, простоявши у стен его три дня, «ничтоже сотвориши, отыйде вспять»: каменная твердыня спасла нижегородцев.

Это событие опоэтизировано народным преданием о храброй девушке, где тоже фигурирует коромысло.

«Обложила несметная рать татарская стены Нова-Града-Нижнего. Расположились полчища неверных по соседним холмам. Шумят, издеваются, зубы скалят. Везде костры: то горят дома посадские. Уничтожают скот и все съедобное. Хотя и затворились жители города за крепкими воротами, за крепкими стенами нового кремля, запаслись оружием: нарядом пищальным, стрелами, смолой, пулями, все, чем можно отбивать врага от стен крепости, но видят они, сколь велика сила вражеская... «Ой, пробьют, разрушат враги таранами и каменные стены», – со страхом думают осажденные. Падают духом, к смерти готовятся.

Возмутило такое уныние сердце храброй девушки: «если пришла смерть лютая, – думает она, – так лучше умереть в борьбе с врагами, а не хныкать раньше времени».

Захватила девушка коромысло, ведра и вышла за водой тайным ходом из стен кремля к Почайне, спустилась и увидела лицом к лицу несметное множество вооруженных врагов.

Вскипела девушка негодованием, когда враги окружили ее, и с железным коромыслом в руках «весом в два пуда» на них накинулась: «вон, поганые из города православного!» – кричала она и немало побила их.

Набросились, надругались над ней жестокие. Однако вожди татарские были так поражены поступком девушки, что стали совет держать – продолжать ли наступление или отойти от города: «если бабы Нова-Града такие храбрые, то каковы же мужчины за стенами сидят?» И , посоветовавшись, отошли от стен града Нижнего.

Вышли из кремля люди спасенные, подобрали останки храброй девушки и похоронили ее с почетом под башню, что над крутым поворотом Зеленского съезда. Положа с ней и ее оружие – коромысло железное «весом два пуда», и с того времени башню ту именуют Коромысловой.

Таковы народные предания, связанные с постройкой Нижегородского кремля.

В 1513 году Нижний постигла другая великая беда: вспыхнул пожар и весь город выгорел. Сгорели и дубовые стены старого кремля.

IV

Каменный кремль и рать вооруженная в достаточной мере охраняли Нижний. Но окрестные жители и весь нижегородский край по-прежнему страдал от коварных соседей, и Нижнему пришлось многое перенести в ответственной исторической роли охранителя интересов родного края.

В 1523 году Казанский хан, стремясь везде мстить русским, дошел до того, что перебивши русских купцов в Казани на Арской ярмарке, приказал убить и посла Московского. Князь Московский Василий [III Иванович], возмущенный таким поступком, решил покорить беспокойных, и рать Московская несколько раз подходила к стенам Казани, но очевидно, не надеясь на свои силы, ограничивалась только разгромом окрестностей.

Казанцы в свою очередь сугубо мстили русским, особенно доставалось ближайшим соседям. В этот период был основан при впадении Суры в Волгу город Василь, главное назначение которого было вовремя оповещать Нижний о приближении врага: татары держали жителей края в постоянном страхе.

Чинимые набеги с пожарами, грабежами заставили Москву сосредоточить военные силы на востоке. В это время Московским князем, объявившим себя царем был Иван IV, впоследствии прозванный Грозным. Иван IV решил окончательно усмирить казанских татар. Но только в 1552 году Казань была покорена. Взятие Казани было неопишуемой радостью для жителей нижегородского края, они освободились от лютого жестокого врага.

С великим торжеством встретили в Нижнем покорителя Казани. «Как только показались на Волге ладьи Грозного с дружиной, по всему городу разлился колокольный звон и все население высыпало на берег для встречи победителей. Все от мала до велика пали на колени со слезами благодарности за избавление от векового врага. Торжеству и радости не было конца».

Однако радость была преждевременна: хотя поход Грозного и разгромил Казанцев и, казалось, усмирил их окончательно, но, поощряемые Золотой Ордой, они много раз еще появлялись под стенами Нижнего. Через год была покорена и Золотая Орда – Астраханское царство. Вся Волга с этого времени принадлежала русским.

С походом Ивана Грозного на Казань связано много преданий. Долго пелась песня о Калейке, мужике, который показал путь Грозному с его ратью чрез выксунский лес.

Грозный был воин-царь наш батюшка,
Первый царь Иван Васильевич.
Сквозь дремучий лес с войском силою
Он прошел в страну татарскую,
Себе царство взял Казанское...

В другом месте мужик Ардатка указывает Грозному с ратью прямой путь на Казань и получает за эту услугу так много денег, что строит своему потомству целое селение. Впоследствии его потомки размножились и селение развилось в городок, названный его именем – Ардатов.

С этим же походом связано и название села Девичьи Горы в Лукояновском уезде. «Шел русский царь Иван Грозный от Мурома на Казань, и когда дорога пролегла по нижегородскому краю – не было у него надежного проводника, а на пути встретились непроходимые болота. Ратники искали днями удобного прохода и не находили. А мордва в это время учинила заговор на царя. В глухую ночь заговорщики с копьями и стрелами уже подкрадывались к стану Грозного. Увидела девушка, куда пробираются вооруженные люди и, догадавшись о их намерении, бросилась к уснувшей страже. Но схватили ее заговорщики. Видя свою гибель неминуемую, девушка криком разбудила стражу. Утром нашли несчастную висящей на копьях, воткнутых в землю».

«На этом месте, – говорит предание, – Грозный приказал построить церковь из срубленных дубов на этой же горе». С тех пор это селение называется Девичьи Горы.

Щедро раздает московский царь запьянские земли с «людишками» своим соратникам – служилым людям. Последние, стараясь заселить пустые земли, сманивают людей с других мест. Кроме того, население увеличивалось высылаемыми сюда по разным причинам, как на крайний восточный пункт, с западных и центральных мест России. Особенно много переброшено в нижегородский край новгородцев и псковичей после их разгрома Грозным. Ссылали сюда людей с запада еще отец и дед его. В записках Зосима Соловецкого значится, что Марфа Борецкая – посадница Новгорода, поддерживавшая вольный дух новгородцев, дух протеста против Москвы, была выслана в Нижний, и умерла здесь в Зачатьевском (Крестовоздвиженском) монастыре.

В те далекие времена Нижний служил местом ссылки, как мы видели выше, военнопленных. Ссылали заподозренных в неверности московским правителям и тех бояр и служилых людей, к кому особенно был расположен народ.

С покорением Казанского царства, с Нижнего снимается обязанность военно-сторожевого пункта: он не служит уже ареной военных действий.

Стихийно сметались царства: Булгарское, Казанское, Золотая Орда. Прошли пред Волгой племена тюркские, финские, монгольские и наконец утвердились, стали господствующими великороссы, в которых потонули все предыдущие.

Впрочем немало потомков от этих народов осталось в Нижегородском краю.

По преданию город Сергач получил начало от татарского князя по имени Серга («носил в ухе серьгу»). Этот князь настолько был беден, что мог содержать «только семьдесят жен». Для своего поселка облюбовал он место среди оврагов, вдали от рек и озер, в четырех верстах от р. Пьяны.

Потомки Сергии размножились, и селение по имени его основателя раздвинулось. Невзрачное, серое, с низкими домишками, оно украшалось только золотыми полумесяцами на мечетях, и слышались призывные звуки на молитву Аллаху: алла-гу, алла-гу...

Но вот Екатерина вторая повелела этому селению Сергии быть административным пунктом – уездным городом Сергачем. С увеличением русского населения, в нем начали развиваться ремесла, обслуживающие окрестных жителей. Между прочим, жители этого уезда долгое время считали самым выгодным промыслом хождение с ручным медведем по матушке Руси, а иные хаживали и в неметчину.

После преобразования селения Сергии в город, многие из татар, убоясь городничих и других русских чиновных «пауков», из Сергача выселились, основав большие и малые Ачки, Пожарки и другие. Немало «князей» до сих пор по городам выкрикивают : «шурум бе-е-ром!..»

Нижним в этот исторический период (с начала XV ст.) правили посаженные Москвою воеводы. Чрез своих разного вида чиновников – избных старост, земских ярыжек – они собирали с народа налоги, чинили суд и расправу. Одним словом, по-своему ведали дела края. Власть их неограниченна и большею частью жестока: ведь они ставленники всеильной Москвы. В это время уже никто не мог безнаказанно противиться ей. Вокруг великого князя московского собрались бояре, служилые люди и много войска.

После двухсотлетней неволи под татарами, перестали и вспоминать о вечевых порядках и других вольностях. Все было перестроено. Распоряжались всем посадники. Жалование им платилось землями вместе с крестьянами, которые должны были доставлять своим владыкам все прокормление, очутившись таким образом в крепости хуже татарской. То, что уничтожило татарское нашествие – не вернулось, а вместо него утвердилась власть князей и их чиновников. Распространилось раболепие.\

Князья жестоко расправлялись с народом. Тюрьмы были переполнены, потому что доносы и клязвы царили всюду. Битье кнутом стало обычным делом. Пошли в ход пытки и варварские казни. Вообще наследие от татар осталось темное.

Население резко делилось на служилых – дворян и на «черных» – податных людишек: крестьян, ремесленников и купцов. Служилых людей московские князья сделали «помещиками» – люди с поместными землями. Тьма, невежество царило в народе, экономически и морально подавленном. Не только «холопы», но и их правители в то время стояли на очень низкой ступени по развитию и верили во всякую чертовщину, что особенно ярко рисуется в предании о «кунавинском куме».

В старину за рекой Окой шли леса дремучие, и зверья в тех лесах было множество. При дороге, недалеко от реки, стоял кабачок. Хозяйка его – молодая вдова была ласковая, приветливая, а зелено вино у нее всегда крепкое, да вкусное. Прошла молва о куме по всему Нижнему. И повадились к ней удальцы нижегородские пить пировать: подплывут на своих легких лодочках и кричат с Оки: «эй, кума, готовь вина!» У кумы его всегда вволю, подает молодцам без перемержки, точно невидимые работнички неустанно готовят его.

Сама хозяйка весела, хороша, приветлива: слово молвит – что рублем подарит, очами вскинет – лаской обдает... Околдовала кума не только всех юношей, а и степенных мужей города. Поехал однажды воевода – вельможный князь на охоту за Оку реку. И поднялась на ту пору непогода жестокая. Пришлось скрыться князю от той бури в кабачке у красавицы. Скрылся воевода от бури, а в беду попал еще пуцую...

Сколько времени он провел у кумы – неведомо, только крепко ему понравилась ее сладкая водочка. Да и поцелуй вдовы куда слаще княгинюшкиных оказались... С тех пор полюбил князь охоту заокскую, а прикрывался в непогодь, да и в ночь лунную, у вдовы красавицы. Удивлялись люди нижегородские, что и воевода – князь не устоял против чар кумы кунавинской, хотя его княгинюшка еще в поре была: знать велика в куме была сила сатанинская. И пошла молва шепотком из уст в уста по всему городу: воевода (де) так строго посты держал, закон соблюдал и весь город в страхе держал, а теперь...

Как волна доходит до берега, так молва дошла до княгинюшки. Поняла она, почему охладел к ней муж, почему сильно так полюбил он охоту заокскую. Защемило сердце покинутой, и потеряла она всю важность, спокойствие: извелась, исхудала несчастная. Не помогает ей и церковь божия. А князь все пуце вдовушкой увлекается.

Заметил их юный сын, что в доме творится что-то неладное, что его любимая матушка чахнет, убивается. И пристаёт он к ней со слезами, уговаривает сказать истину. Не стерпела мать: уж очень горько ей переносить обиду позорную, и открыла она юному княжичу беду великую, как преступил закон и покинул ее воевода – князь.

Закипело у юноши ретивое гневом на колдунью окаянную, что дерзнула разлучить отца с матерью, и задумал он известить ее и спасти отца.

Выбрал юноша потемнее ночь осеннюю. Подыскал верных товарищей, и покатили они на лодочке по реке Оке к тому берегу, где стоял кабачок вдовы. Причалили, привязали к пеньку лодочку и потихоньку подкрались к дверям кабачка кумы. Стоят, слушают. Кругом темно. Тишина лесная сладким шепотом убаюкивает. Только далеко где-то тоскливое завывание лесного разбойника слышится...

Жутко юношам. Но не ведают они, что колдунья-то все видит и ворожбу чинит, как в свою сеть завлечь и княжича : много было силы у той дьявольской красавицы.

Понатужились на дверь молодцы и соскочила с петель она, как перышко. В избе тихо, темно. Только ровное дыхание с кровати слышится.

Подошел воеводы сын с булатным мечом в руке, чтобы разом со злодейкой разделаться. Занес руку молодецкую, но решил прежде взглянуть на злую мужей с женами разлучницу: зажег свой фонарь и поднес его к лицу кумы... Взглянул на нее... и рука дрогнула: так хороша показалась ему кума спящая.

Отослал княжич своих молодцов к лодкам, чтобы подождали его там несколько. Но прошел час, другой... Наконец, кличет он товарищей. Вошли они в избу и видят: сидит воеводы сын обнявшись с чародейкой и попивает сладкую водочку.

С этих пор зачастил к куме и юноша. Только старался не попадаться с отцом одновременно. И так приворожила обоих колдунья ненасытная, так одурманила, что и нельзя было ждать конца доброго.

Дошли слухи о похождениях сына до несчастной воеводской жены. Совсем потеряла голову княгинюшка: забыла бога и честь и начала с колдунами да ворожеями совет держать. Приводили к ней разных чародеев слуги верные. Но их сила не могла сравниться с силой колдуньи – красавицы. Наконец нашли за Кудьюмою ведуна страшного, которому подчинялись все колдуны мордовские. Привели его к воеводской жене. А был тот ведун образина невозможная: весь покрыт волосами и лохмотьями. Из-под лобья смотрят глазищи острые, сверлящие. Узнавши беду, зашептал над водой, зарычал, кому-то приказывал и вручил княгине такого зелья сильного, против которого не устоять никакому очарованию.

Нарядилась воеводша странницей. Пробралась за Оку реку и стучит в дверь кумы вечером. «Кто там ?» – спрашивает кума серебристым голосом. «Пусти, молодка, переночевать странницу. Ночь на пути застала не во время», – отвечает переряженная воеводы жена. Ласково встретила кума странницу и не почуяла в ней ревнивицу лютую: сила зелья, что дал чародей набольший, превысило чары вдовушки. Усадила ее кума с собой ужинать и расспрашивает, где смиренница была, что видела. После ужина подала запить кваса сладкого.

Незаметно для хозяйки ласковой, высыпала странница в кружку кумы зелья смертного. И как только кума свой квас выпила – сразу узнала, кто рядом сидит и зачем пришла эта ряженная странница. Но силу зелья превозмочь не могла уже. «Вот, кто ты!.. Будь ты проклята! Ты пришла погубить меня? Но знай: вместе мы умрем, и ни одна из нас не будет земле предана !»

В это время дверь избы открывается и входит сам воевода князь. К дверям прошла уже странница. Князь не узнал ее. Но умирающая закричала хриплым голосом: «смерть моя от жены твоей. Вот она !»

Схватил воевода жену и со злобой сжал горло ей. А в открытую дверь вбегает их юный сын. Видит он страшное дело, и бросается защищать мать свою. Но озверевший князь отбрасывает задушенную и со словами: «а, и ты здесь бывал! и ты с ней мед пивал?!», выхватывает из-за пояса острый меч и вонзает его в сердце юноши с проклятиями.

Три трупа лежат, и между ними любимый сын.

Кличет князь слуг своих и велит трупы в Оку выбросить. Но Ока не принимает тела, несмотря на тяжесть к ним привязанную: медленно плывут они. И над ними вдруг появились огни яркие – над трупами сына и матери горят, точно свечи божи: ясно так, приветливо, без колебания. А над кумой зелено-красный извивается.

От ужаса дыбом волосы у князя поднимаются. Вскакивает он на коня быстрого, чтобы ускакать за леса дремучие от этого страшного зрелища, но конь воле хозяина не подчиняется: храпит, копытом о землю ударяет и, как прикованный, медленно идет вдоль берега с дрожащим на нем всадником – провожает покойников.

Доплыли убитые до впадения Оки в Волгу матушку, но не пожелала она сокрыть дело лютное: поднялось на ней волнение небывалое, и пошла вспять она, понесла вверх трупы на волнах своих. Обезумевший воевода едет по берегу наравне с трупами, и кажется ему, что впереди другой жизни и не было...

А по Волге вверх, на версте тринадцатой поднялись волны выше берега: буря, гром, молнии. Кругом свист, треск. Лес крутит, как щепочки. И слышит воевода князь среди адского грохота тихое пение, точно вечную память поют о погибших безвременно. И вместе с пением тела ко дну реки опустились. Потерял князь сознание и упал с лошади. Слуги все видели издали. Подняли воеводу и домой доставили.

Изменилась жизнь на воеводском дворе: отошли пиры, охоты, беседы дружеские с боярами за чаркой зелена вина. Обратился воеводский дом в гостеприимный двор для калек переходящих, монахов да странников. Днем молится воевода в церкви божией, а вечером – в своей горенке. Но не видит спокойствия душа его: все чудится ему картина страшная.

Под страхом смерти молчат слуги о том, что видели: шутить с воеводой не приходится. Сказано «держи язык за зубами», если жить хочется. Но жители города точно учуяли страшное: все встревожены, все ждут возмездия.

Дошла молва о случившемся на Оке реке до великого князя московского. Приезжает из Москвы гонец к воеводе и спрашивает: «где твоя княгинюшка, где сын твой? и как доложить мне о том князю московскому?»

«Жена моя отправилась в далекое богомолье, да верно на пути ей не посчастливилось», – отвечает князь. «А сын... на охоту отправился, и там накрыла его смерть лютая.»

Будто и поверил московский князь, больше и не спрашивал. Прошла зима. Воевода все молится, терзается. Вскрылись реки, ото льда очистились.

Однажды вечером молится князь, кается в грехах своих и слышит – подъезжают к дому верховые воины. Спешились и толпой входят к нему.

«За тобой пришли по приказу князя московского», – говорят, ухмыляючись, воины.

«Делайте со мной по приказу того, кто послал вас», – отвечает воевода князь. Но, несмотря на такое смирение, поволокли воины князя из дома с насилием. Бросили в лодку связанного и поплыли по Волге вверх. И поднялась опять буря лютая. Под шум ее с гиком, свистом и хохотом на версте тринадцатой выбросили воины тело князя с поруганием. Так погубила род княжеский кунавинская колдунья красавица.

В народных сказаниях – пословицах, песнях, былинах, легендах, передаваемых «от дедов к отцам, от отцов к сыновьям», проявлялись поэтические способности народа, его ум и здоровый юмор.

Немало преданий сказывается о Нижнем и его окрестностях. Причем говорится не только о героях – защитниках народных, но опоэтизированы и некоторые местности, озера, речки. Одно мордовское предание говорит, что извилистая речка Кудьма, всегда до краев полная, произошла благодаря мести лукавого мордовской красавице, отклонившей его ласки.

В старые годы в одной избушке мордовского сельбища, которое своими задворками упиралось в дремучий лес, а перед окнами его расстился обширный луг, родилась девочка и дали ей имя Кудьма. Много рожали девчонок мордовки по своим избам, и никто на них не обращал внимания. Но Кудьма в первые же годы своей жизни, как только встала на ноги и начала лепетать, обратила на себя внимание, все невольно любовались ею: большие сини глаза могли поспорить с синевою неба, а золотистые мягкие волосы кольцами спускались на плечи.

Быстро росла щебетунья Кудьма. Не любила она сидеть в избе, чем огорчала свою мать. Бывало, еле проглянет солнце, роса еще крупными бриллиантами украшает зеленый ковер луга, жизнь деревеньки еще лениво просыпается, потягивается, а на лугу среди цветов уже воркует серебристым голосом Кудьма. Она радуется солнечным лучам, цветочкам, прислушивается к разнообразным голосам природы. Ей хотелось бы вместе с птичками подняться вверх к синему небу, но и земля так хороша, так ласкова.

Подружки в ней души не чаяли: перекликаются их звонкие голоса по зеленому лугу. Подружек нет – с птичками щебечет в запуски. И украшает девочка детством своим не только родную семью, но и всю деревеньку.

Время незаметно бежит, и из девочки, любившей кружиться среди цветов на лугу, бегать за бабочками, следить за белыми облаками, валяться на зеленой траве – быстро вытянулась, как белая березка, грациозная девушка. Румяное лицо, озаренное синими глазами, привлекало всех, а белокурые с золотистым отливом волосы падали до пят волнистыми прядями. И ни в ком красота ее не возбуждала зависти: все, смотря на нее, радовались. А молодцы наперерыв старались выказать удалство пред юной красавицей. Но сердце Кудьмы, как ясный день, было открыто для дружбы всем и особенно подружкам.

Соберется, бывало, молодежь на лугу, пляшет, поет хороводами, а степенные сельчане, сидя на завалинках, слушают, любят молодым весельем, вспоминая свое прошлое. Но со всех завалинок нет-нет да и залюбуются Кудьмой: хотя белая рубашка на ней не белей, чем на подружках ее и не краше расшита, но широкий пояс как-то ласковее обхватывает ее стройный стан. Ее высокий кокошник, перевитый лентами и стеклярусом, прикрывая лоб, не мешает вылезти шаловливым кольцам буйных кудрей, и весь наряд ее не богаче, чем у других девушек, но сама она, как крупный бриллиант, украшала все ее простые украшения.

Семик – праздник весны, молодости, особенно радостно празднуется. Сама природа к этим дням щедро распускает свои богатства, прикрывая всякое убожество свежей зеленью и цветами. Девушки плетут из березовых веток венки, перевивая их расшитыми полотенцами и лентами разных цветов. Украшают и себя венками, бусами, лентами.

Однажды в этот весенний праздник, когда девушки бросали березовые венки в пруд с заветными думами молодости, среди поющей шумной толпы появился чужанин. Щеголевато одетый молодец выделялся от других красотой, ростом, статностью. Залихватски закинута на черные кудри шляпа с пером и черные сверкающие глаза молодца обращали внимание девушек. А веселый красавец, балагурия со всеми, не спускал глаз с Кудьмы. Девушка невольно чаще и дольше останавливала свой взгляд на незнакомце. Но когда он подходил к ней – страх охватывал девушку: она видела в глазах молодца столько сверкающего огня, что казалось, он спалит ее.

И несмотря на новое приятное чувство любопытства, охватившее ее, она старалась быть подальше от него, упорно заглядывавшего в ее глаза страшного красавца. Тревога невольно охватила девушку, и она осматривалась по сторонам, точно ища защиты.

Вечером на лугу молодежь водила хороводы. Кудьма была особенно хороша. Пела, шутила и ласково улыбалась подружкам своим. Улучив минутку когда Кудьма была в стороне от подруг, стремительно подошел к ней страшный красавец.

«Анге-Пятай (по мордовски Матерь Божья), спаси меня!» – промолвила с мольбой девушка.

«А! – злобно прошипел красавец и поднял руку, – ты оградились! так не доставайся никому». Но в этот же миг он рассыпался мелким черным песком.

А красавица Кудьма, улыбаясь, точно лазоревая тучка, поднялась вверх легким туманом и скоро опустилась на луг светлой рекой, такой же извилистой, волнистой, какую была ее золотистая коса. До сих пор бежит речка Кудьма лугами и смотрится в ясное небо.

Мордва сохранила от глубокой старины разные поверья, обычаи, религиозные уставы, смешанные с христианством. Святой Микола, которого они чтут превыше всех угодников, самый надежный помощник и хранитель их благополучия. Общие моления среди леса с «Кузькой-богом», которые происходили уже в 18-м столетии, показывают уровень их развития.

Вообще в Нижегородском краю обычаям старины и теперь отдается в некоторых местах много внимания – разные празднования. Особенно свадьбы обставлены всевозможными приметами, обычаями, специальными на этот случай песнями, прибаутками. Благодаря сложным историческим переживаниям, редкий край имеет столько преданий, как Нижегородский – там озеро Святояр, обвеянное легендами религиозного содержания. В другом месте вы услышите предание о знаменитом разбойнике Кудеяре, стан которого находился в Кудеяровском овраге (Велики Враг) и пр.

Все побережье от Нижнего в далекую даль Поволжья было покрыто лесом и с давних пор эти леса служили приютом людей, скрывающихся по тем или иным причинам от чужого ока, ютась рядом с дикими зверями. Для волжских разбойников в этих лесах раздолье было полное: с гор дозор чинили – купецкие караваны с товарами высматривали, а глубокие овраги, покрытые лесом и буреломом, скроют любую шайку разудалых молодцов и добычу их, вплоть до украденной в монастыре «христовой» невесты.

V

Долго тянулась кровавая борьба на Дятловых горах. Смачно поливалась человеческой кровью земля нижегородская.

Во времена татарского нашествия, мордовских и других нападений пустели и селения края. Поля зарастали лесом. Жители старались ютиться ближе к каменным стенам кремля. Только с покорением Казани, стихийно опустошительные набеги прекратились. Иван Грозный, как сказано выше, щедро раздавал поместья своим боярам, и в заброшенные селения начали возвращаться жители. Стали появляться новые поселки, и в конце 16-го столетия Нижегородский край был значительно заселен: много имелось и русского населения. Но для достижения сравнительного спокойствия, необходимого для развития экономической жизни народа, потребовалось еще много времени.

Много еще кровавых дел творилось: разные удальцы наводили ужас на жителей деревенок и города, особенно на посадских, избы которых были разбросаны по холмам. Более состоятельные из них – торговцы, разных дел мастера, огородники и пр., собравшись с силами, огораживали свои строения, строили «остроги». Хотя их деревянные стены легко поддавались огню и топорам разбойного люда, которых не усмиряло ни публичное сечение на площадях, ни смертная казнь.

Да и на смену казненным немало разгуливали в оврагах и трущобах лесных за городом. Но следить за нападениями и отражать их живущим за «острогами» было значительно легче.

Город того времени привел бы современного жителя в крайнее удивление: почти сплошные овраги да холмы. Избенки вдоль оврагов, часто осыпавшихся, рисковали скатиться вниз со всеми пристройками. На месте таких оврагов, например, проходит Осыпная улица, получившая свое название от осыпавшихся холмов. Сохранились и другие имена местечек и улиц от тех далеких времен – Ковалиха, где около ручья стояли кузни, Полевая и др. На нынешней Ошарской площади, где пролегла Арзамасская дорога, по преданию, стоял кабачок, около которого «дюже обшаривали и пеших и конных», так как он стоял уже за городом. Очевидно, в память «ошаривания» мы имеем улицу Ошару.

По холмам, ни чем не огражденная лепилась только беднота. Люди обстоятельные обитали за кремлевскими стенами. Там было плотное население власть имущих, именитых бояр и богатеев «гостей», имевших основание опасаться разбойных набегов.

Вся гористая местность, охваченная стенами кремля, была застроена улицами и переулками, строения которых, благодаря своей скученности, часто страдали от пожаров. Летопись отмечает особенно разрушительные пожары в 16-м столетии, которые опустошали целые улицы в кремле и за стенами его.

В 1540 году с пожаром совпала небывалая гроза: молния зажгла крышу Дмитровской башни. Потрясенные нижегородцы «лежали аки мертвы, помышляя, яко от молнии кончина будет». Но несмотря на частые пожары, стены кремля стояли прочно. Только другой враг – горные ручьи подтачивали их крепость особенно стены, расположенные в сравнительно низком месте со стороны северо-западной части.

В кремлевских башнях хранили оружие, порох, военную амуницию, хлеб, кожи, меха, «царево» вино и прочие запасы.

Нижний посад (Нижний базар) почти весь был застроен соляными амбарами, по преимуществу купцов Строгановых, именем которых тогда называлась и улица, впоследствии Рождественская, а теперь Кооперативная.

Каждому из русской истории известно, что при Иване Грозном, в половине 16-го столетия к России была присоединена Сибирь, атаманом Волжских разбойников – Ермаком Тимофеевичем. Строгановы, заинтересованные в этом, чтобы оградить свои владения и соляные варницы в Пермском крае от нападения кочующих племен из-за Урала, в походах Ермаку помогали и капиталами и ратниками. Так велико было богатство этих предприимчивых выходцев из Великого Новгорода – купцов Строгановых.

Много вынес, как мы видели, Н.-Новгород. Стихийные жестокие разгромы от татар, набеги мордвы, ушкуйников и разного разбойного люда из-за Волги. Перенес он междоусобные распри и войны своих князей. Наконец постоянные пожары, моровые поветрия, голод... И все-таки твердо укрепился на Дятловых горах!..

После покорения Казани, Нижний уже не служит ареной военных действий, и становится в ряд обыкновенных провинциальных городов, в стороне от Москвы, и его значение падает. Жители, обороняясь от мелких разбойных налетов, понемногу строятся, раздвигают пределы: овраги засыпают, «гнилые пруды» и болотца приводят в порядок, улицы выпрямляются, разводятся сады, огороды. За городом засевают поля, все дальше и дальше отодвигая лесные дебри.

В то время, когда Нижний сравнительно спокойно утверждал свое бытие на Дятловых горах, в Москве творились жестокие дела: Грозный, освободитель Нижнего от набегов татар казанских, теперь сам приводит в трепет всех окружающих дикими расправами, то впадая в приступы бешенства, то в молитвенное состояние, которое, впрочем, не спасало особенно оговоренных и имевших смелость сказать ему слово правды.

Его опричники, ища всюду якобы крамолу – измену, расправляются беспощадно: грабят, жгут, режут и в городе и в селениях. Кровавые картины в романе «Князь Серебряный» А. Толстого и в других произведениях взяты из действительной жизни. Особенно в последние годы своей жизни Грозный заливал Москву и окрестности ее кровью.

После смерти Грозного (1584 г.) царем Московским становится, сын его – безвольный, слабоумный Федор, который умирает бездетным и после него умело проводит себя на русский престол Борис Годунов – потомок татарского мурзы. За время его царствования Московию посетили сильные неурожаи, которые захватили и Нижегородский край. Затем «лютое моровое поветрие», косою косившее изнуренное население. Кроме этих бед коренное крестьянство не могло примириться с тем, что Годунов окончательно прикрепил их к помещикам.

До половины 16-го столетия крестьяне могли добровольно, в любое время года переходить с одного поместья на другое, искать, где лучше.

Помещикам свободный уход обрабатывающих их землю был весьма не выгоден, и правительство, как всегда, поддерживая экономическое положение сильных, богатых, издало закон, по которому переход крестьянина с земли одного к другому допускался только один раз в год, после полевых работ – в осенний Юрьев день (26/XI). Хотя многие крестьяне, благодаря «задолженности» хозяевам земли и не могли пользоваться этим днем, но «Юрьев день», как проблеск свободы, был для них дорог.

Но вот Годунов, заискивая пред землевладельцами, чтобы прочнее укрепиться на престоле Московском, законом отменяет «Юрьев день», благодаря чему крестьяне очутились в полной зависимости от помещиков: последний ведет над ними и суд и расправу. Теперь уход от владельца считается бегством, и бежавший был уже вне закона.*

Во всех этих притеснениях и несчастьях население видит гнев божий за то, что на престоле терпят (якобы) убийцу царевича Дмитрия – сына Грозного. Но, главное, давно мучила зависть бояр, что не они исконно русские сидят на Московском престоле, а татарский потомок. И Россия была охвачена волнениями.

За этот период кадры Днепровских и Донских казаков, а больше того Волжских разбойников, особенно увеличивается.

* Юрьев день (26 ноября) – определенный законом срок, когда в Московской Руси поселившийся на господской земле и заключивший с владельцем «порядную» крестьянин имел право уйти от хозяина, выполнив предварительно все свои обязательства по отношению к нему. Это было единственное время в году, по окончании осенних работ (неделя до и после 26 ноября), когда зависимые крестьяне могли переходить от одного владельца к другому. По традиционному взгляду, высказанному еще Татищевым, право крестьянского выхода отменено предполагаемым указом царя Федора Иоанновича от 1592 г. (который, будто бы, подразумевается в указе 24 ноября 1597 г.), и таким образом Ю. день потерял силу. Взгляд Татищева на отмену крестьянского перехода законодательным путем принят был Костомаровым и Сергеевичем; но теперь, после работ Погодина, Беляева и особенно В.О. Ключевского и новейшего труда профессора Дьяконова, наиболее обоснованным является мнение, что Юрьев день не был отменен законом, а в силу тяжелых социально-экономических условий (крайней задолженности крестьян, зависимости от сильных землевладельцев и т. д.) «крестьянское право выхода замирает *само собой*, без всякой законодательной отмены его, прямой или косвенной, и крестьяне уже до предполагаемого указа царя Федора Иоанновича не пользовались (фактически) правом выхода» (Ключевский). В тверской вотчине князя Симеона Бекбулатовича (по писцовой книге 1580 г.) из 60 случаев, когда упоминается время перехода, на Ю. день приходится лишь *два* случая. Указ 1597 г. сам по себе не создавал общего прикрепления: он говорил лишь о пятилетней давности для исков о беглых, и в истории постепенно сложившегося крестьянского прикрепления не играл никакой роли. В конце XVI и начале XVII вв. право перехода сменилось двумя явлениями: побегом крестьян на окраины и «свозом» их на земли крупных владельцев, и законодательство направлено было на устранение этих явлений (указы 1601 и 1602 гг., 1642 г., указ о переписи 19 октября 1645 г.). – *Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона*

Со смертью Годунова, появились один за другим самозванцы – Лжедмитрии, и наступает «смутное время», «лихолетье», как именуют его в истории. Страну разоряют свои, главным образом казаки и чужие – поляки. Да и среди коренного населения шла смута великая.

Немало от тех смут страдал и Нижний: являлись разные смутьяны, к ним примыкала мордва, желая чем-либо насолить своим засильникам. Пошли грабежи, буйства. И Нижний в это время опять выступает на историческую арену, напоминает о себе всей России.

Поляки, воспользовавшись смутой, уже засели в Московском кремле. Московский люд готов был надеть на голову польского королевича русскую корону. Но Нижний вместе с Троицко-Сергиевской Лаврой, рассылавшей всюду «пламенные воззвания» (прокламации), становится ярким противником чужеземного засилья.

Каждому нижегородцу известно, какую роль сыграл в то смутное время не только для Нижнего, но и для всего государства, торговец с Нижнего базара Кузьма Минин Сухорукий. Его горячий призыв так воодушевил граждан, что они не только изгоняли и били сторонников и лазутчиков, подсылаемых самозванцами, а потом поляками со всякими соблазнительными обещаниями, но несли к Минину (памятник-обелиск Минину стоит в Мининском саду, что в кремле) все сбережения и сокровища, чтобы собрать, нанять дружины на врагов родины.



За Нижним последовали другие города. Все эти дружины под командованием князя Пожарского (памятник Пожарскому и Минину стоит на Красной площади в Москве) изгнали поляков из Московского кремля и указали им путь восвосяи. Эта страница из жизни Нижнего описана многими историками, где ярко отмечено, как высоко может подняться дух граждан при защите своей попоранной свободы чужеземцами.

Следует прибавить, что эта историческая страница Нижнего красивым отблеском своего героизма дала много поэтических тем нашим родным художникам слова и кисти.

После долгих интриг, раздоров между боярами насчет того, кому из них сидеть на Московском престоле, в 1613 году выбран из бояр Романовых юный Михаил и объявлен царем всея Руси.

За время его царствования была утверждена всеобщая подворная перепись, по которой в Нижнем оказалось 1300 дворов, 23 деревянные церкви, два каменных собора, восемь монастырей и около пяти тысяч жителей, кроме живущих в кремле. Город и два «острога» ограждались рядом валов. Иностранцы – немцы, литовцы жили на Панских буграх (ныне Откос) и в Ямской слободе.



Константин Маковский. Воззвание Минина на площади Нижнего Новгорода

Михаилом же утвержден торговый центр для Поволжья – Макарьевская ярмарка на Желтых водах, при Макарьевском монастыре. Этот монастырь основан в 1439 году «старцем» Макарием, учеником Дионисия, основателя Нижегородского Печерского монастыря. Через четыре года после его основания татары весь монастырь разрушили, пожгли. Живших в нем перебили и 90-летнего старца Макария увели в плен. Но по древности его лет скоро выпустили.

Прошло двести лет, и на месте разрушенного монастыря шумел вековой лес. Но, по преданию, «приснился некоему иноку Авраамиию во сне преподобный Макарий и велел ему идти на место разрушенной обители. Послушался приказа преподобного Авраамий и скоро около него собралась братия обильно». Скоро Макарьевский монастырь возобновился. Обитель быстро росла и богатела от вкладов и приношений богатых людей, и около этого монастыря разрослась величайшая ярмарка – знаменитая «Макарьевская».

В первый период торга преобладали Мурашкинские кожи, разный щепной товар. Крестьяне, чтя день св. Макария, несли свои изделия на ярмарку к монастырю – холсты, валенки, кресты, перстни, деревянные изделия, игрушки.

Около этих мест, против Лыскова, еще раньше встречались торговые суда, как на середине пути от Шексны до Астрахани. Из низовья поднимались с продуктами юга – из Персии, Хивы, Бухары и других мест, с севера шло сырье и заграничные товары запада, идущие чрез Архангельск по северным рекам в Шексну (приток Волги). Тут же на судах происходил обмен товаров, без всяких складов, магазинов.

Этот торговый пункт «Макарьевская ярмарка» в 1641 году утверждена Михаилом законным порядком. Быстро на Макарьевской разрослись торговые ряды. Купечество с товарами съезжалось не только со всех концов России, но и из чужих, особенно восточных, стран.

VI

Около половины 17-го столетия в Нижний прибыло Голштинское посольство, получившее в Москве разрешение проехать через русские владения в Персию, с которой у них завязывались торговые сношения. Среди членов этого посольства был «ученый человек – секретарь» Адам Олеарий, который своим удачным описанием впервые познакомил Европу с Россией. Им же был описан и Нижний Новгород со всеми порядками и нравами, и внешний вид города Олеарий закрепил рисунком.

Между прочим, его поразила дешевизна съестных припасов: «малая птица – курица стоит одну копейку, пятнадцать яиц – одну копейку, овца – двенадцать копеек», и все в таком роде. «Воевода Нижнего человек вежливый и дом его приличен, – пишет Олеарий, – комнаты украшены обоями и занавесками. Сам воевода в парчовой одежде. Слуги и народ в полном подчинении. Нас обильно угощал пряниками, крепкой водкой и медами».

От Нижнего члены этого посольства поплыли на своем корабле «Фридрихс», сооруженным для них балахнинскими мастерами. Провожая посольство вниз по Волге, нижегородский воевода выражал беспокойство, как бы волжские шайки не обидели чужеземцев. «Впрочем, они немцев и их огнестрельного оружия боятся», – соображал он.

Хотя Волга в этот период истории находилась во владении русских, но почти все, особенно низовые, берега ее были заселены разными завоеванными племенами, которые хорошо помнили свою самостоятельность, и потому недружелюбно относились к своим завоевателям – русским, и, где только удавалось, мстили им: если сами не участвовали в разбоях, то удальцы разных шаек находили у них приют. А иные шайки доходили численностью до двух тысяч человек, состоящие из разных племен, наречий и одеяний – беглые «людишки», татары, казаки, ушкуйники и пр.

Судоходное движение по Волге совершалось не в одиночку, а большими караванами. Караваны плыли под охраной вооруженного наряда. К торговым людям спешили присоединиться и служилые. Но несмотря на все предосторожности, и большие караваны иногда подвергались нападениям. Особенно в Жигулевских горах скрывалось много удальцов – разбойников.

В песне говорится, что отправляясь

Волгой матушкой в расшивах погулять,
На чужбине горе радость испытать...

молодец при прощании со своей красавицей напоминает ей и о предстоящих в этом пути опасностях:

Волга матушка бурлива, говорят.
Под Самарою разбойнички шалют...»

Масса не помнящих родства бродяг разбойничали по воде и посуху. Не трогали они только бурлаков. Не обижали и судорабочих. Но жестоко расправлялись с теми хозяевами, которые сами не щадили своих наймитов. В одной песне причина такого отношения к кулаку судовладельцу выражается так:

У него казна трудовая,
У него казна слезовая,
У него ль кровопролитьем нажитая...

Тяжелый труд бурлаков, начинавшийся с первыми лучами рассвета и продолжавшийся до позднего вечера – «до вечерней звезды», вызывал у буйных удальцов сочувствие и они никогда их не трогали.

При непрерывной «тяговой работе», когда приходилось есть и пить походя, и песни бурлацкие, дающие такт работе, медленно, однообразно и уныло тянулись над Волгой целыми днями, надрывая сердце чутких слушателей, как несмолкаемый стон.

Наш народный поэт Н.А. Некрасов, выросший на Волге, так и называет бурлацкие песни в своих знаменитых стихах:

Выдь на Волгу – чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется
То бурлаки идут бичевой...»

Бурлачить шли приволжские крестьяне, оставляя обрабатывать свои «тягла» – пахать, сеять, косить – сестер, жен, матерей.

«Ну теперь божья воля: коли жить, будем жить, умирать – так умрем !..» – говорили они, отправляясь на «тяговой» заработок, чтобы было чем уплатить налоги и покрыть недочеты в своем скудном хозяйстве. И в напряженном труде некогда было думать ни о горе, ни о счастье.

Но изредка Волга матушка слышала и бодрые песни:

Вы ребята, не робейте,
Свои силы не жалеете.
Ой, дубинушка ухнет,
Разудалая сама пойдет,
Идет, идет, сам пойдет...
Эй ребята, дери глотку:
Нам подрядчик дает на водку
Ой ... и т. д.
Золотая наша рота
Тащит черта из болота...

Беспощадно расправлялось правительство с разбойным людом, увеличивая меры строгости с каждым годом. Одна молодецкая песня заканчивается такими словами:

Что горят ли горят по всем дороженькам костры сторожевые.
Что следят то следят молодца разбойника царские разъезды.
Что сулят ему, сулят в Москве белокаменной камены палаты.
Что те ли палаты – два столба точеные, столбы с перекладиной.

Часто и приказные, посылаемые для розысков, «для водворения законов», за взятки и посулы прикрывали грабителей, а то и сами с ними действовали. Но несмотря на все неурядицы в Поволжье, московские правители хлопочут о развитии судоходства.

В июле 1669 года первый корабль «Орел», построенный под присмотром голштинских мастеров на реке Оке, прибыл в Нижний, а из Нижнего отправился по «великому плесу» в Астрахань, где его постигли чрезвычайные в русской истории обстоятельства.

С 1668 по 1671 гг. все низовье Волги было охвачено сильным народным восстанием, известным в истории под названием «бунта Стеньки Разина».

Недовольные московскими поборами и всякого рода стеснениями приказных, донские казаки, к которым примкнули многие закрепощенные боярские «людишки», беглые со всей Руси посадские городские люди, торговцы, от лихоимства воевод и приказных и множество вольного поволжского люда поднялись против нестерпимого гнета во главе с атаманом Степаном Разиным.

Еще в 1667 г. Разин с шайкой двинулся на «промысел» по Дону, грабил богатых людей, а потом перекинулся на Волгу. Тут примкнули к нему вся голытьба, все бездомные, разбойные, и армия получилась внушительная.

В это время в Низовье приплыли богатые караваны с разными товарами. Несмотря на охрану, всех начальников и купцов казаки повесили, а всему служившему у них люду дали свободу. «Кто со мной, тот будет вольный казак, – говорил Разин, – буду бить господ и правителей, а для простых людей буду братом».

Подходящие для себя и своей кампании суда брали, а что не требовалось – жгли. И поплыла вольная команда вверх по Волге и вниз к морю Каспийскому, разбивая там корабли армянские, персидские, турецкие и покоряя города и селения.

Мы веслом махнем – корабли возьмем.

Костенем махнем – караван собьем.

Мы рукой махнем – девицу возьмем...

Взяли Астрахань, Саратов и много мелких городов и местечек. И чем выше по Волге шло восстание, тем сильнее росло оно численностью. «Прелестные письма» (прокламации) привлекали всех угнетенных обещаниями освобождения от помещиков и от других угнетателей.

Потомки до сих пор вспоминают это победоносное движение вверх по Волге словами:

Из за острова на стрежень

На простор речной волны

Выплывают расписные

Острогрудые челны.

На переднем Стенька Разин...

Примыкавшие к восстанию быстро переходили к делу: поджигали помещичьи усадьбы, грабили и убивали богатых и власть имущих. В городах уничтожали воеводские избы, открывали тюремные казематы и чинили над всеми суд. Пламя восстания охватило громадное пространство, и народные страсти разгорались все сильнее и сильнее.

Беднота, рабочий люд могли жить спокойно. Напротив – бунтовщики им еще помогали отобранным имуществом от богатых.

Появились отдельные отряды восставших и в пределах Нижегородского края. Примкнули к ним и здесь недовольные своим положением люди. Были взяты большие села – Лысково, Богородское, Мурашкино и много селений около Арзамаса. Всюду распространялись письма с предложением присоединиться к истинному народному защитнику и сбросить с плеч тяжелый гнет.

Московская власть ни пред чем не останавливалась, чтобы подавить этот «бунт». Жестока была расправа с восставшими: около Арзамаса, Макарьевского монастыря, всюду по селам стояли виселицы с несколькими трупами на каждой. Деревья кругом обвешаны мертвыми телами. По всему Поволжью ручьями лилась кровь.

Сам Степан Тимофеевич Разин был схвачен, и после жестоких пыток четвертован на Красной площади в Москве. Эта первая революционная проба, мечта о свободе, о возможности сбросить крепостное иго – была жестоко подавлена.

Восстание подавили, но память о нем глубоко пустила корни в народе. В песнях и былинах Поволжья народ относится к Степану Разину не как к разбойнику, но как к бичу божию, посланному наказывать неправильно живущих и угнетающих людей.

В одном предании говорится, что чрез триста лет Степан вернется на Волгу и окончательно освободит народ от гнета.

«Утес» Стеньки Разина, где по преданию зарыта его заветная дума о свободе, особенно любимая песня на Волге.

Московским правительством и после такого грозного народного восстания не было принято никаких мер в смысле облегчения угнетенных: оно думало, что своими жестокостями навсегда запугало рабов. Но недалекое будущее показало, как жестоко оно ошибалось.

Около этого времени (в конце 17-го ст.) в Нижегородской губернии, особенно в северной части Семеновского и Макарьевского уездов, происходили жестокие дела в связи с церковным расколом: беспощадно преследовали «хранителей старой веры» – старообрядцев, и губили их тысячами. Память о том далеком – хранится в этом краю и до сих пор. И сейчас то тут, то там покажут старики могилу «страдальца за древле-благочестивую веру», проведут к «голубцу», где хранятся мощи «угодника». Расскажут о «святом граде Китеже». Особенно около озера Святояра много сказаний сохранилось.

Луговая сторона Волги, как ковер, затканый зелеными тонами – лугами, лесами, селениями, наложила ровный, тихий отпечаток и на характер людей. Однообразный шум леса, с таинственными призраками в нем, порождал в людях, скрывающихся в соседстве с дикими зверями, мистические грезы, которые под влиянием жестоких гонений, претворялись в поэтические сказания и образы, художественно воспроизведенные Мельниковым-Печерским.

VII

В 1695 году, по случаю войны с крымскими татарами, Нижний посетил Петр I, куда прибыл с ратью, как бомбардир Петр Алексеев. От Москвы по Оке он плыл на судах, построенных в Коломне, и за этот путь достаточно убедился, что суда те весьма ненадежные, а потому здесь в Нижнем перегрузился на волжские. К ним он отнесся одобрительно.

В Нижнем, благодаря перезагрузке на более обширные суда, Петр пробыл несколько дней, и всецело был занят пересадкой войск и перегрузкой артиллерии. На больших судах он решил доплыть до Царицына. От Царицына войско должно было переправиться сухим путем до реки Дона, а по Дону спуститься в Азовское море. Такой далекий и продолжительный путь должны были делать войска, чтобы попасть в Крым для усмирения крымских татар, делавших опустошительные набеги на русские земли с юга.

За время пребывания в Нижнем, Петр останавливался в доме купца Чатыгина, который до сих пор именуется домиком Петра Великого.

Спустя двадцать семь лет (в 1722 г.) Петр второй раз был в Нижнем, благодаря походу в Персию: там шли волнения из-за престола, и было убито до трехсот русских. Кроме того Петра привлекал Кавказ, который он был непрочь присоединить к России. В этот приезд Петр пробыл пять дней в доме купца Строганова. Очевидно, только купцы имели подходящие хоромы для приема высоких гостей.

Обозревши город, Петр нашел, что он неправильно и неживописно разбросан по холмам и на этот счет сделал указания. Только кремль, как защита города в прошлом и его вооружение, привлекли внимание царя. В кремле еще имелись пушки: три медные и семь чугунных.

Осматривая волжские купеческие суда, Петр нашел их мало годными для большой реки, и приказал обратить серьезное внимание на дело судостроения.

Юноше Петру в первое свое пребывание на Волге мало было времени, чтобы увидеть все недочеты волжского судоходства.

Потом его внимание было отвлечено Доном, Черным морем, а затем на долгое время Балтийским, где велась упорная и продолжительная война со шведами, упорное желание Петра «прорубить окно в Европу». И вот только в конце своей жизни он попал опять на Волгу и подробно знакомится с волжским судостроением. Причем сам брался за топор и показывал владельцам судов, где не точно и где не прочно, где следует переделать.

Государь прошел хорошую школу по судостроительству в Голландии. Немалую борьбу пришлось Петру вести с капиталистами того времени: некультурные люди особенно неподатливы на новшества, если они связаны с затратой капитала.

Насколько Петр был озабочен правильной постановкой судостроения на Волге, показывает рассказ П.И. Мельникова-Печерского «Балахонец».

Три дня до поздней ночи Петр с топором в руке на верфи работал. Хороших работников жаловал, ленивых да неумелых дубинкой учил. Не было у него спуска ни генералам, ни воеводам, ни посадским людям, ни деревенским мужикам. Умел учить и лаской и таской. «Царская милость и царская гроза всем были равны».

Видит царь – стоит на берегу Волги какой-то человек и зорко смотрит на работу. Посмотрит на судно, отвернется и чертит что-то на бумаге.

– Поди сюда! – зычным голосом кричит ему царь, всадив топор в недотесанную мачту.

Тот подошел и повалился в ноги.

– Встань, я не бог! не знаешь разве приказа – в землю не кланяться? Покажи, что у тебя.

Бледный, дрожащей рукой подал человек грозному царю бумагу. Петр взглянул и лицо его прояснилось. Это был чертеж судна.

– Ты кто такой?

– Балахнинский посадский.

– Чем занимаешься?

– Да промысел у нас с тобой, великий государь один, – отвечал ободрившийся балахонец: топором кормлюсь, суда строю.

Дальше идет речь о замеченных балахонцем в строящемся под руководством Петра судне удачных приспособлениях, и он, балахонец, решает применить их в своей работе.

Узнав, что человек этот не богатый, восхищенный Петр тут же приказывает ему выдать на судостроительство двенадцать рублей.

Одиннадцать рублей Кузьма Балахонец пустил в оборот, а двенадцатый оставил на «завет», и берег его до самой смерти.

Впоследствии Кузьма Балахонец был одним из самых крупных судовладельцев на Волге, говорит Мельников.

Рассказ этот показывает, насколько Петр интересовался судоходством вообще, и каким важным пунктом на Волге считал он Нижний Новгород.

В этот приезд 30-го мая Петр праздновал в Нижнем свое пятидесятилетие, а вместе с ним сам Нижний праздновал свое пятисотлетие. Шла торжественная служба в Преображенском соборе, во время которой великий государь вместе с певчими пел на клиросе, пройдя мимо богато устроенного царского места.

По воле Петра I столица России перенесена в новый, построенный по его повелению город, Санкт-Петербург, и Нижний оказался еще дальше от государственного центра.

Переживши столько кровавых событий, Нижний Новгород тянет теперь жизнь заурядного провинциального города. Только в соседстве – на Макарьевской ярмарке развивались торговые дела и привлекали с разных концов торговых людей.

Креп купеческий люд и Нижнего. Хотя нравы его долго по-старому были жестоки. Невежество и легкомыслие во всех слоях населения было поразительное: разные суеверия – ворожба, чародейство, заклинания нередко руководили в личной жизни, особенно женщин.

Кровавое прошлое наложило отпечаток и на отношение к женщине: женщина существо низшее и ее можно подвергать всяким унижениям. Она никакой самостоятельности проявлять не должна, не смеет. Она всегда под надзором. Для нее на стене висит плетка, и муж учит ее за неповиновение, за всякие на его взгляд провинности.

Будучи рабой своего мужа, женщина должна была делить во всем его участь: за его преступления казнили и ее. Только в 1637 году запрещено законом казнить беременных, а ждать, пока пройдет шесть недель после родов. Еще долго женщина состоятельных классов была в затворничестве и в порабощении родителей. О свободе своего чувства ей не полагалось думать, «стыдно», «грешно». Отец ей выбирает мужа и из рук в руки передает человеку, которого она не знает, а часто и в глаза не видала.

Трагическая судьба дочери нижегородского купца Осокина характерна для того времени и тем, что на дочерей с приданным смотрели, как на лицевой товар дома и ждали, кто больше даст именитостью, чванством, богатством и пр.

В кратком виде ее история такова.

Капиталист Осокин лелеет свое единственное дитя – красавицу дочь безмерно. Спровоаживает со своего двора свах от многих женихов, он ждал такого же богатея, каким был сам. Но дочь склонилась на любовь бедняка, богатого молодостью, красотой, умом – всем, кроме казны. При помощи няни, во время выезда родителей по делам или в гости, устраивались тайные свидания влюбленных.

Однажды молодые люди воспользовались отсутствием родителей девушки и заболтались больше обычного. Няня задремала и просмотрела приезд хозяев. Беседуют други милые и вдруг слышат тревогу, шум в доме: сами приехали. Вот-вот войдет в светелку отец, чтобы на ночь благословить дочь.

Что делать? Догадливая няня советует молодцу спрятаться под перину. Сказано, сделано: кровать пышная, подушек много. Входит отец, и радостно приветствует дочь, не замечает ее волнения и, разговаривая, сидит дольше, чем всегда.

По уходе отца, трепещущая от страха девушка с няней спешно сбрасывают подушки и видят: молодец лежит без дыхания. Старая няня нашлась и тут: с помощью надежного человека – батрака Осокинского, которому уплачено за молчание, несчастье спрятано на дне Волги. Парень, получивший двадцать рублей, деньги для того времени немалые, закутил, и, по прошествии некоторого времени, просит прибавки, чтобы «язык скрепить». Ему дают. Это очень нравится парню, и скоро он опять приходит.

И чем дальше, тем аппетит у мужика-шантажиста больше развивается. И несчастная девушка передает ему все, что может – деньги, украшения. Дошла до того, что начала потихоньку тащить у отца. А мужик все сильнее пьянствует, бражничает.

Однажды бражничает батрак с земляками на вымученные от своей жертвы деньги в кабачке Облупе, стоящем на выезде из города, на горнем пустыре, угощает всех, похваляется, чем в немалое удивление приводит приятелей.

– Где ты берешь столько денег? Уж не сам ли мастеришь целковики? – спрашивают собутельники батрака.

Парень продолжает куражиться, и тут же похваляется, что он живет с дочерью самого Осокина. Земляки не верят, смеются над ним, чем еще больше подзадоривают пьяного.

– А хотите – по моему приказу придет сюда и при всех будет целовать меня? И вас угощать станет, – кричит зверь. И пьяница, взбешенный недоверием к нему, посылает мальчика – подноски кабацкого к Осокиной с рукавицей.

Несчастливая очень хорошо знала, что значит рукавица шантажиста. И дочь гордого богача Осокина явилась ночью в кабачок.

Все смутились. А пьяный мужик, как зверь, кричит: угощай меня! Целуй! Кланяйся всем, пляши.

– Выпить сперва надо, – говорит девушка, и требует выставить на стол вина, сколько сможет влить в себя вся кампания.

К полуночи упились все, вместе с кабатчиком: кто еще сидит, припершись к стене, а кто лежит. Но все уже потеряли сознание и лик человеческий.

Сама же Осокина «ни в одном глазу». Она кипела, была пьяна жаждой мщения, злобным, страстным желанием уничтожить своего мучителя.

И когда все свалились – заиграли в руках девушки пламя и острый нож.

Кабачок загорелся со всех четырех сторон. На зарево сбежались люди, ничего не подозревая. Но нервы девушки не выдержали, и вместо того, чтобы бежать от горящей «Облупы», она все рассказала собравшимся у пожара людям.

Начался суд. После долгого разбирательства, девицу Осокину приговорили к кнутам и каторге. Только благодаря ее помешательству, исполнение приговора было отложено. И крепко закованная, ожидая выздоровления, сидела Осокина в темном каземате.

Но избавление от дальнейших страданий девушки неожиданно явилось откуда меньше всего можно было ожидать: в это время Нижний посетила, о чем будет сказано ниже, царица Екатерина II, и, познакомившись с историей девицы Осокиной, она, как власть имущая, приказала ее выпустить на свободу.

После всех пережитых ужасов, Осокина была принята в Зачатьевский (Крестовоздвиженский) монастырь, где и прожила до конца своих дней.

VIII

Весной 1767 года по Волге в Нижний приехала на галере «Тверь» царица Екатерина II. Власти Нижнего устроили ей весьма торжественную встречу: «гром пушек со стен кремля и звон колоколов приветствовал не знавшую границ своего самодержавия».

Но познакомившись с топографией и строениями города, царица сказала, что «ситуацией Нижний прекрасен, а строениями мерзок: все на боку, либо близко того». «Чебоксары милей и опрятней». Осуждая строения Нижнего, Екатерина, очевидно, не приняла во внимание его жестокую историю. «Немолчно раздавались во все века на Нижегородской земле крики: караул, грабят, жгут. То врывалась мордва, новгородские ушкуйники, татары, вольная вольница», говорит Гацисский*. Ни один город в те далекие времена не переживал таких разрушительных набегов с разных сторон.

* Гацисский Александр Серафимович [30.5(11.6).1838, Рязань, — 27.4(9.5).1893, Н. Новгород, ныне Горький], деятель земского и городского самоуправления в России, историк, этнограф, литератор, статистик. Окончил Казанский университет (1861). В 1865-93 (с небольшими перерывами) секретарь нижегородского губернского статистического комитета. С 1887 председатель нижегородской учёной архивной комиссии. Работы Г. содержат ценный фактический материал для характеристики экономического состояния и быта Нижегородского края. Общественно-политические воззрения Г. отражают влияние народнических теорий в оценке крестьянства, а также взгляды историка А.П. Щапова о преобладающем значении земских и областных начал в истории русского народа.

Соч.: Нижегородский сборник, т. 1-10, Нижний Новгород, 1867-90; Нижегородский Летописец, Нижний Новгород, 1886; Действия нижегородской губернской учёной архивной комиссии, в. 1-9, Нижний Новгород, 1887—90; Люди нижегородского Поволжья, кн. 1, Нижний Новгород, 1887. — БЭС

В Нижнем Екатерина особенно интересовалась соляной торговлей, так как здесь находились обширные склады казенной соли. Интересовалась и Макарьевской ярмаркой на «Желтых водах». По ее приказу было реформировано с большими льготами для купечества торговое дело. Богатых и торговых людей Екатерина поощряла к обновлению города новыми строениями.

В этот приезд Екатерине был представлен знаменитый механик самоучка Иван Петрович Кулибин. Кулибин поднес ей в дар свои изобретения – яйцевидные часы, микроскоп и др.

Встреча с царицей была причиной многих осложнений в жизни Ивана Петровича. Невежественные правители, вместо того чтобы дать возможность развиться его великому таланту, к чему он сам так стремился, переселили в Петербург и эксплуатировали его внимание на затейливые выдумки для придворной знати, например, как устроить пышный фейерверк в саду любимца Екатерины – Потемкина, приспособить изобретенный Иваном Петровичем дугообразный мост чрез канаву в увеселительном саду того же Потемкина. Вообще не сумели оценить его гений и относились больше, как к изобретательному забавнику.

Казалось близость академии в столице должна бы помочь ему в самосовершенствовании, но там явились завистники, и многие начинания не увидели света, или ими воспользовались другие, даже иностранцы. И вообще нижегородский гениальный самоучка И.П. Кулибин прошел скорбный жизненный путь

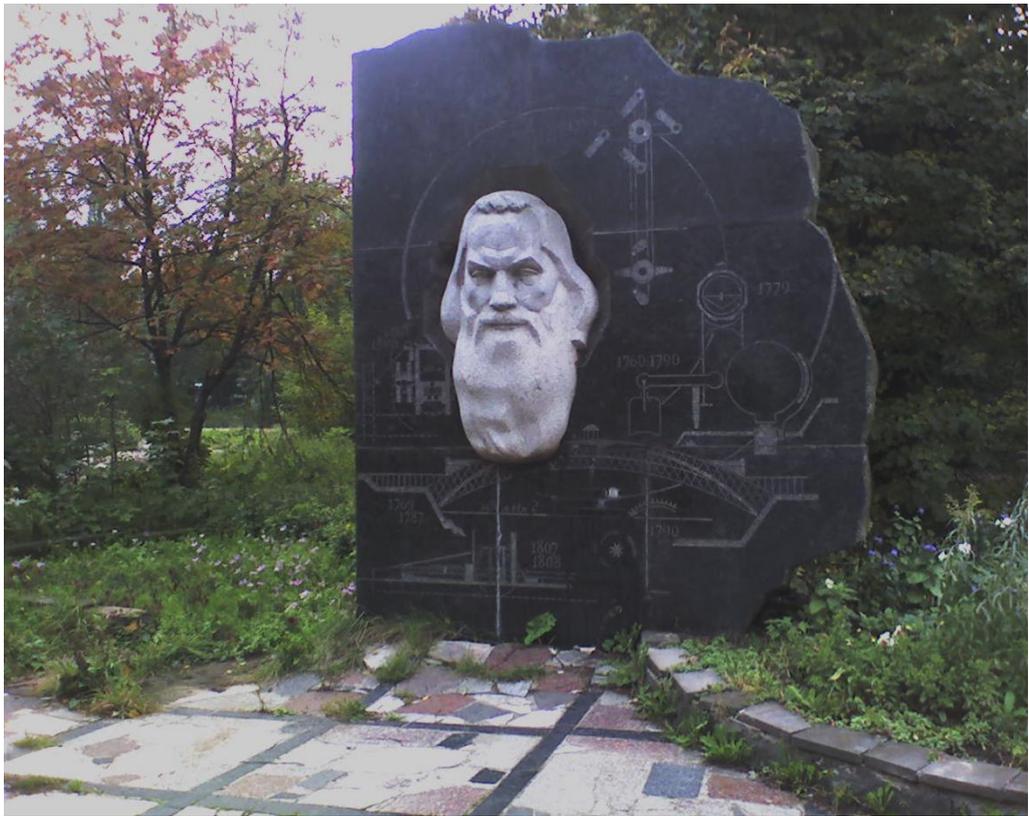
Его биографы много места отводят тем ласкам и почестям, какие ему оказывали при дворе сильные мира, но положение талантливое забавника в этом блеске не давало ничего существенного в смысле развития его гениальных способностей. Напротив – засасывало и заставляло тратить на мелочи.

«Обстоятельства мои тесны: во всем чувствую и предвижу крайность», – пишет он из Петербурга, и этот тон почти во всех его письмах к родным.

С переездом по своему «сердечному желанию» в «любезное отечество», как он называет Нижний, ему пришлось пережить особенно тяжелое время. Здесь на Волге он хотел привести в исполнение давнюю свою мысль о механическом судне, на осуществление которого возлагал серьезные надежды. Сооружение этого и другие попутно с ним взяли много денег и он задолжал двести рублей, что составляло в те времена значительную сумму. Был предъявлен иск. На помощь никто не откликнулся, и на сооружение наложен арест. А чрез некоторое время, по приказу казенного ведомства, при жизни изобретателя, его «детище» продано на слом с торгов.

«Вот каковы, любезный сын, отца твоего обстоятельства, и чем я нахожусь в любезном моем отечестве», – пишет он уже из Нижнего.

Умер Иван Петрович Кулибин в 1818 году 83 лет. Его могила на Петропавловском кладбище против церковной паперти. Низшее техническое училище (угол Больничной и Б. Печерской), основанное его памяти, теперь носит имя Зайцева.



Памятник И.П. Кулибину в Нижнем Новгороде



Могила П.И. Кулибина у Всехсвятской церкви

С возвращением в Петербург царицы Екатерины, там началась обычная праздная жизнь: пышные вечера, обеды, увеселения, и между ними совещания о государственных делах. Все беспечно и льстиво воспевали мудрость своей повелительницы. А в это время, опять с юго-востока, надвигались грозные тучи, опять Поволжье дрогнуло.

После восстания Степана Разина, правительство, надеясь на свою силу, а главное на жестокость, с каждым годом увеличивало тяготы народа. Екатерина II щедро дарила боярам и своим фаворитам государственные земли с крестьянами, предоставляя последних на полный произвол господ. Теперь крестьяне не смели уже жаловаться на помещиков, искать где-либо защиты от них. Продажа людей оптом и в одиночку, как собак, лошадей и всякий инвентарь, стало обычным явлением.

Замученные жестокостью помещиков и гонимые за исповедование старой веры бежали, скрывались в диких лесах подальше от центра, так как за побег их ждали плети, тюрьма и много других видов наказания, вплоть до казни. Прежде, пробывшие пять лет в неизвестности, не считались уже принадлежностью своего барина, а теперь он мог вернуть в любое время, если найдет их убежище. С ухудшением экономического и правового положения народа, ухудшилось и настроение его, выражаясь отдельными вспышками.

Спустя сто лет после «бунта Стеньки Разина», на юго-востоке России собралось столько недовольного люда, что опять вспыхнул страшный народный пожар – «пугачевщина», и пламя его ярко осветило все низовье Волги с прилегающими к ней пространствами: пеной вскипела ненависть к угнетателям.

В этом, сложном по составу, восстании сказался протест Яицких (уральских) казаков за уничтожение прежних вольностей и за лихоимство приказных; ненависть башкир и других инородцев, мечтавших о своих вольных степях; недовольство своим положением рабочих уральско-волжского края, и особенно протест крепостного крестьянства, которое надеялось освободиться от крепостного права.

Это восстание было ответом на всякие виды притеснений рабочего народа, как результат тяжелого экономического и правового положения страны.

Некультурная народная масса верила в «истинного государя Петра III», под знаменем которого выступил Пугачев, и ждала от него свободы и правильной жизни (по источнику, отмеченному в журнале «Минувшие годы» за 1908 год, см. за месяцы 5-6, стр. 497 говорится, что под именем Пугачева действовал незаконный сын дочери Петра I – Елизаветы Петровны и Разумовского, который носил фамилию де Чеглоков). Этот Чеглоков якобы и был во главе восстания под именем Петра III, названного тогда в истории «Пугачем».

Его деятельным помощником был польский офицер Ключевский, ненавидевший правительство Екатерины за то, что оно томило его, Ключевского, в тюрьме и ссылке четырнадцать лет. Чеглоку-Петру III – Пугачеву тож помогает Польша в лице князя Радзивилла и сестры Чеглока Елизаветы Владимировны, тоже дочери Елизаветы Петровны. Вся эта компания ведет свои дела и держит совет в Константинополе, добывая денег и соучастников. Чеглок (де) хочет только восстановления законного завещания матери – Елизаветы Петровны, по которому русский престол должен перейти ее дочери Елизавете Владимировне – княжне Тмутараканской.

Эту наследницу Екатерина II заточила в каземат Петропавловской крепости, где искательница приключений и погибла, давши сюжет для картины художника.

Как и при Разине, эта волна поднималась вверх по Волге. Была уже взята Казань, и часть его рати – Пугачева – шла на Нижний. Перепуганные помещики Нижегородского края покидали свои имения и бежали в Нижний. Но дорогой многие были перехвачены взбунтовавшимися крестьянами и убиты.

Появились отдельные шайки грабителей, якобы с Пугачевым во главе. Но сам он до пределов Нижегородского края не дошел: был схвачен и казнен в Москве.

Постепенно бунт усмирили и наступили тяжелые дни расплаты за него. Около этого времени в Нижегородской губернии случился сильный голод, «мертвые валялись на дорогах», «голодные бродили, нигде не находя себе пристанища». «Только Саровский монастырь давал убежище – партиями по пятьсот человек кормил по три дня», описывал А.С. Гацисский в своей «Нижегородке».

Но и это восстание не образумило правительство и крепостников: несмотря на голод, с народа требовали штраф за участие в бунте «головами» и деньгами.

Дворяне были благодарны Екатерине за усмирение бунта. А народ знал, что его впереди ждут еще большие стеснения. Но Пугачевщина, как и Разинщина, не прошла даром для народа: все закрепощенные стали смелее и менее терпеливы.

IX

Времена менялись. Менялся и Нижний Новгород. Переставши служить базой военных действий, он быстро растет и с каждым десятилетием меняет свой вид.

Тяжелый для все России 1812 год отозвался и на Нижнем, хотя нижегородцы не успели еще оправиться от опустошительных пред тем пожаров. Однако на усиленные пожертвования было сформировано свыше десяти дружин. А когда Москва оказалась во власти французов и огня, многие ее жители нашли приют в Нижнем.

Нашла приют у Нижнего и Макарьевская ярмарка. В 1816 году все магазины, склады и амбары на Желтых водах у Макария сгорели дотла, и указом Александра I ярмарка перенесена в Нижний, где во временных помещениях за Окой через год была открыта.

Через четыре года был построен главный дом и корпуса, которые, впрочем, мало соответствовали быстрому росту торговых операций ярмарки, и своеобразный каменный городок, кипящий жизнью только два месяца, постепенно подстраивался, подновлялся. Только в конце 19-го столетия, когда было возведено грандиозное красивое здание «главного дома», ярмарка приняла настоящий вид.

С перенесением Макарьевской, Нижний приобретает вновь важное значение – значение государственного базара, где торговые дела, а с ними и денежные обороты растут с каждым годом. Сюда стекаются разные племена европейские и азиатские со своими товарами, необходимыми изделиями и предметами роскоши. Здесь происходит закупка, обмен, отсюда товары идут по всей России, в Сибирь, за границу.

Движение товаров в свою очередь развивало кустарное, заводское и фабричное производство. Увеличивался спрос на изделия Нижегородского края, благодаря чему увеличивалось производство Семеновских ложкарей, Павловских металлистов, Балахнинских кружевниц и пр.

Высшее развитие торговых оборотов на ярмарке приходится на 80-90 годы прошлого столетия: все товары, переполнявшие склады, расходились в разные стороны – раскупались. Затем, в двадцатом столетии это торжище начинает принимать значение традиционного места сделок, и склады на Сибирской пристани, а затем и на ярмарочной территории понемногу пустеют.

Кунавино, в соседстве с которым расположилась ярмарка, было значительным предместьем. Еще раньше оно соединилось с селением Гривка, принадлежавшим монастырю, но город всю эту местность – Кунавино-Гривка оттягал, причислил к своим владениям. Жители этого пригорода занимались ковкой мелкого гвоздя, тканьем тесьмы разного вида и качества. Вели торговлю хлебом, крупой, «калачом и всяким харчем». Иные занимались скотоводством, тяглые – хлебопашеством.

С переводом ярмарки в Нижний, положение жителей [Кунавина](#) значительно изменилось: соседство Российского торжища открыло много других источников для существования. Понадобились жилища ярмарочным служащим и торговым людям с разных мест и стран, благодаря чему появились новые обширные дома. Потребовались чайные, пивные и иные веселые учреждения.

На песчаном берегу вблизи [Кунавина](#), в первой половине 19-го столетия шел бойкий торг и людьми – крепостными: кому требовался мужик, кому баба, кому девка – все было можно и оптом и в розницу.

Ах, ты свет наша матушка,
Макарьевская ярмарка!..
На тебе и человеки продавались

не то пелось, не то плакалось в песне.

Торг людьми в то время был обычным явлением. На каждом выведенном для продажи, указывались лета и к какой работе особенно годен. Тут же шла мена людей на лошадей, собак охотничьих и пр. В веселых домах немало крепостных и проигрывали в карты. Вообще Заокская сторона Нижнего видела виды, и в старину слава шла о ней не похвальная, а шумные дни Макарьевской совсем закрепили репутацию «развеселого села Кунавина».

Кроме веселья ярмарочного (с 15/VII по 15/IX), Кунавино и зимой не в обычные дни до сих пор бурно празднует: во второе воскресенье великого поста празднуется «козья масленица» – ярмарка. Должно быть, и постники в эти дни разрешают себе разговляться.

Начало этого праздника относят к давним временам. «Во второе воскресенье великого поста, – говорит предание, – случился пожар темною ночью, и сгореть бы всему [Кунавину](#), так как дома деревянные и крыты соломой, но спасла коза: запутавшись в веревке от сторожевого колокола, она произвела звуки “набата”, как раз в то время, когда начался пожар и набатом “всполошила” жителей. Жители повыскакивали из своих изб и потушили начавшийся пожар». И вот коза, спасшая от пожара [Кунавино](#), как гуси Рим от галлов, увековечила свое племя праздником, именуемым «козья масленица».

В прежние годы в этот день по улицам [Кунавина](#) водили разряженную виновницу события – козу. Но потом, должно быть, с успехом заменял ее какой-либо почтенный бородатый отец семейства, стараясь перейти улицы на четвереньках.

Вместе с всероссийским торжищем развивался и сам Нижний: приводят в порядок старые и проводят новые улицы, строятся каменные дома, увеличивается число жителей: в 1820-м году числится уже 14000 человек, 2000 домов, из них тридцать каменных. Около кремля с восточной, на месте прежних рвов, и южной стороны устраиваются бульвары, приводят в порядок съезды. Кремль, за время своего существования, несколько раз ремонтировался, на что тратились большие суммы.

Так, например, в половине 17-го ст. на его починку «заимствовано из Нижегородского Печерского монастыря 33 р. 10 коп. и 3 денежки». Затем поправляли в 18-м и в половине 19-го столетия. Из тринадцати башен за ветхостью разобраны две. Сняты и понижены в некоторых местах стены «за надобностью кирпича», отчего «кремль лишился грациозности». После переделки изменилась и его обширность: теперь окружность кремля равняется 985-ти сажням.

При Николае I обывательские дома снесены за стены кремля. Винные склады уничтожены. Архиерейский дом разобран. Число церквей значительно уменьшено – оставлены только имеющие историческое значение: Архангельский собор – ровесник Нижнего, основанный Юрием Всеволодовичем, собор Спасопреображения, основанный Константином Васильевичем в 1350 году, когда он перенес столицу Суздальского княжества в Нижний.

По приказу же Николая был выстроен военно-губернаторский дом с квартирой для приема «высоких» гостей. Возведен арсенал, гауптвахта и другие казенные учреждения.

По улицам города для пешеходов проложены деревянные тротуары. Мостовая главной улицы – Покровки устлана толстыми досками. Устроен водопровод, подающий воду из ключей Откоса. Медная доска над водопроводом: «и на горах станут воды». Но увы! воды в ключах оказалось мало. Вновь сооруженный водопровод подает воду из Оки.

С проведением железнодорожного пути от Москвы до Нижнего в 1863 году, рост последнего идет быстрым темпом. И, наконец, всероссийская художественно-промышленная выставка в 1896 году, пред которой город спешно чистили и ремонтировали: привели в порядок откос, исправили мостовые, асфальтировали тротуары главных улиц, провели кой-где электричество и пр., дает Нижнему приблизительно тот вид, который застаем мы. Хотя главное внимание в то время было обращено на заокскую сторону, где возводились временные строения для выставки, и подновлялась ярмарка.

Проявление духовной жизни Нижнего Новгорода за первую половину 19-го столетия тихо, боязливо, так как вся Россия находилась под тяжелой рукой Николая I.

Кроме того за последние сто лет Нижний был исключительно купеческий город. Его интересы около рубля, около купить – продать. Но тем не менее жизнь берет свое, и Нижний за этот период дал немало выдающихся общественных деятелей, людей науки, писателей.

В прошлом мы видели человека большой воли – Минина, гениального механика самоучку Кулибина, математика Лобачевского. Затем писатели – Даль, Добролюбов, Мельников-Печерский, молодой демократ Максим Горький и другие. Не говоря уже о долго жившем в Нижнем и оказавшем на местную публику большое влияние в смысле потрясения «державных основ», как Короленко, Анненский, Панов, Елпатьевский и много других. В восстании декабристов, сто лет назад участвовали и нижегородцы – Анненков и Муравьев. Значит, свою долю в культурную жизнь страны вложил и Нижний.

Эпоха «великих» реформ значительно изменила положение народной массы: многих обезземелила, заставила искать заработок на стороне. Изменилась и жизнь города.

С основанием земских учреждений появились интересы общественного характера. Заговорили о школах для крестьян, о постановке средней школы. Явилось стремление к высшему образованию. Первая женщина-врач Сулова – нижегородка. Появились люди, сумевшие отвлечь молодежь от обывательщины, и указать на запросы иного значения. Среди учащихся средней школы стали устраиваться кружки развития общественной мысли. Любимыми книгами были Чернышевский, Писарев, Добролюбов, Лавров, Маркс и другие демократического направления.

Надо сказать, что после «облыжных реформ, как выражались крестьяне», Александра II волною врывается в русскую землю новое течение, о котором в то время говорили шепотом. С несокрушимой энергией и волей отборная в своей нравственной красоте молодежь разбрасывала, как священный огонь, среди рабочей массы мысли о социализме.

В шестидесятых годах Чернышевский, Павлов, кружок Караказовцев, в семидесятых кружок Чайковцев, куда входят П.А. Кропоткин, С.Л. Перовская, В. Фигнер, Карниловы и другие, беззаветно отдаются идеи социализма и твердо встают на путь пропаганды. Организуются и другие кружки, одни чисто бунтарского характера – бакунинцы, призывавшие к отдельным восстаниям, вспышкам. Другие к систематической, длительной пропаганде – лавровисты.

Но, как некогда «все дороги в Рим вели», так работа всех этих кружков подтачивала основу самодержавия; раскрывая глаза трудовому народу и прежде всего фабрично-заводским рабочим. Ни аресты, ни казни не могли остановить преданную идею молодежь.

Это течение проникает и в Нижний. Завязываются сношения с рабочими, с крестьянами, проникают и в военную среду.

Мрачное прошлое точно пошатнулось пред новыми дерзкими мыслями, словами. Запелись иные песни, иные басни. В сравнительно короткий исторический период, веками угнетаемый народ, сознал свою силу, свою мощь, и, несмотря на жестокую реакцию со стороны правительства, запугать новую «вольную вольницу» не удалось: «идеи на штыки не улавливаются», а гонения только раздувают их.

И к началу двадцатого столетия Нижний настолько идейно подготовился, умственно вырос, что весь его трудовой народ – все фабрики, заводы в 1905-м году с восторгом встретил и присоединился к Великой, единой, Всероссийской забастовке и вместе со всей Россией крикнул старому: стоп! будет! идем новым путем.

Заключение

Красив и зелен Нижний летом! На фоне ли ясного неба днем, или на сером фоне вечера с мелькающими среди зелени огоньками – всегда он привлекает взор: самый равнодушный не может не полюбоваться им со стороны Оки и Волги.

Летом у подножия города-красавца, тихо покачиваясь на волнах могучих рек, снуют малые пароходики, лодки, плавно движутся пароходы-дворцы. Тихо спускаются беляны, паузки, плоты. Всюду движение, жизнь: мелькают трамваи, спешат пешеходы, снуют вверх и вниз элеваторы – как в калейдоскопе, все перед глазами.

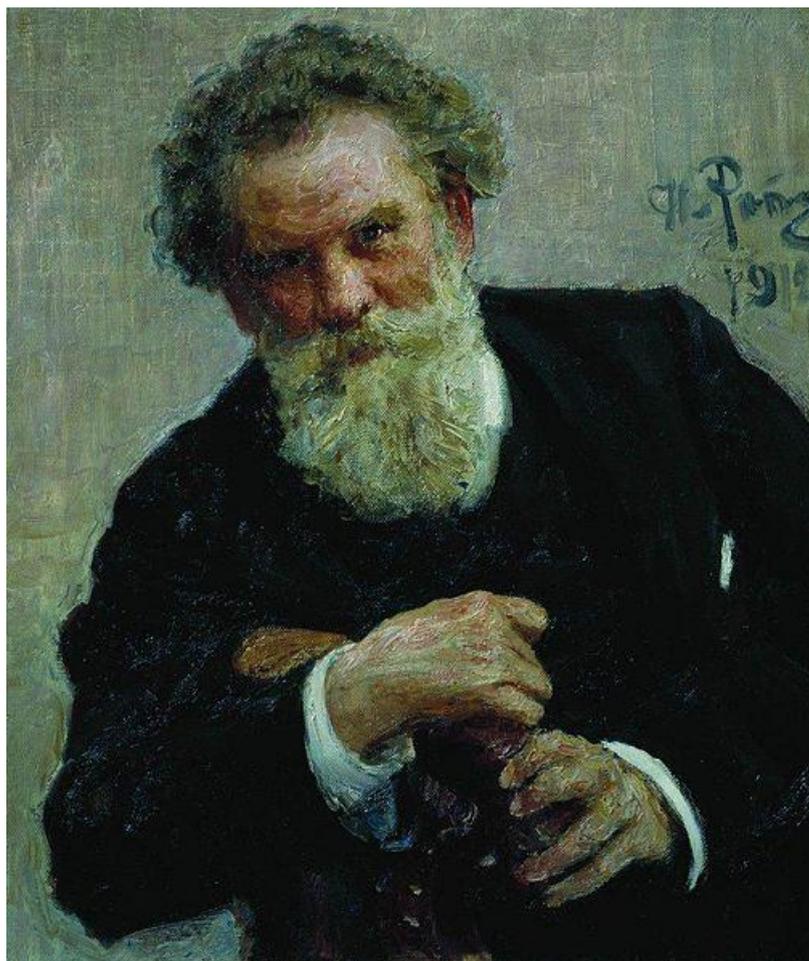
Море звуков, красок, движений. А кругом так много воздуха, так много приволья! Волжского приволья.

Сменяется шумный день тихим вечером, по откосу со старыми липами, дубом и ясенем, освещенным мягким светом электричества, прогуливается молодежь и люди почтенные. Вот группа приезжих любитесь широким заволжским горизонтом. Направо, среди зелени, белеют стены полуразрушенного монастыря, который наравне с Нижним перенес жестокие нападения. А рядом, молчаливо, местами уже разрушающийся кремль без слов говорит о пережитом, говорит о том, что вынес Нов-град-Нижний, прежде чем «зело-зело крепко» утвердился на Дятловых горах. Но вот с лодочки достигают звуки молодых голосов: «Вниз по матушке по Волге»... Слушаешь, смотришь, и картина за картиной из жизни прошлого города невольно рисуется пред глазами.

Семь столетий прошло, как существует Нижний, и годы его покрыты разнообразнейшими событиями. Он решал не только свои вопросы, вопросы и дела местного характера, но участвовал и в делах общегосударственного значения. Мужественно и самоотверженно нес тяготы всенародные.

Много кровавых страниц оставило прошлое на память потомству. Но немало жестоких сказаний оставит будущему поколению и наше недавнее прошлое. По этим сказаниям оно узнает, сколько замученных, искалеченных, повешенных, расстрелянных пало за те условия жизни, при которых стало доступно стремление вперед и возможность создавать новые, более правильные пути к великому, заветному, к торжеству правды, красоты и истины.

Биография Владимира Галактионовича Короленко



Илья Репин. Портрет писателя В.Г. Короленко. 1912 г.

I

Отец Владимира Галактионовича был народным судьей. По семейным преданиям, род Короленко шел от Миргородского казачьего полковника, которому польским королем дано гербовое дворянство. Но демократ по духу, отец Владимира Галактионовича – Галактион Афанасьевич, показывая своим детям отличия дворянства от прочих людей – гербовую печать, грамоту, присоединил оттенок насмешки, набросав на бумаге блоху со щитом и мечом, отплясывающую на барабане. И никогда на протяжении своей жизни не стремился восстановить свои права в дворянстве. А когда он умер, дети считались по служебному списку сыновьями надворного советника.

Образ отца в памяти Владимира Галактионовича запечатлелся с выражением постоянной заботы и печали. Только в редкие, ценные для детей, минуты лицо его прояснялось, и тогда весь запас детской веселости, благодушия, хранившегося в душе этого человека, щедро проявлялся: он возился с детьми, рассказывал им сказки, экспромтом сочиненные им же самим, рисовал, в чем был великий мастер. «В эти минуты мы очень любили отца, – говорил Владимир Галактионович, – но с годами эта радость выпадала нам реже и реже».

Судья был неудачник по службе «благодаря дон-кихотской честности». Кругом же в те времена царили взяточничество и подкупы. При переезде на новое место происходили одни и те же картины: спешили к судье, особенно те, у кого «рыльце в пуху» с подарками, чтобы замилостивить, подкупить на будущее время.

Галактион Афанасьевич сначала отказывался от приношений спокойно, во второй – нервно, возбужденно, и наконец происходили грубые сцены: судья бесцеремонно ругался и гнал представителей с палкой в руках (он был хромым и всегда опирался на палку). Больших усилий стоило неподкупному судье заставить своих клиентов понять его. Только со временем убеждались, что нет такой силы, которая заставила бы судью покривить душой. Бесконечно добрый, отзывчивый на чужое горе, он каждый раз глубоко страдал, если приходилось по ходу дела приговаривать подсудимого к строгой мере наказания.

Уже в период сознательной жизни Владимира Галактионовича произошел такой эпизод, показывающий стойкость судьи в своих убеждениях: в уездном суде шел процесс богатого помещика с бедной родственницей, вдовой брата. Помещик-граф, был богат и с большими связями, что он и пустил в ход, чтобы выиграть дело и таким путем присоединить к своему богатству еще значительное имение. «Перед окнами нашего домика два-три раза останавливалась с гербами карета магната, – говорил Короленко, – первые два раза граф держался величаво, осторожно, а отец только холодно и формально отстранял его подходы. Но в третий раз отец внезапно вспылал на сделанное предложение взятки, обругал аристократа, вероятно, неприличными словами и застучал палкой». Взбешенный граф вышел от судьи с угрозами, и карета быстро исчезла.

Посещения другой стороны – вдовы – отец тоже не любил. В ответ на ее «дополнительные» сообщения говорил, что будет все сделано по закону. Надо сказать, что судья с особенным уважением, как к непоколебимой истине, относился к закону и не отклонялся от него ни на шаг.

Процесс был решен в пользу вдовы и это решение утверждено сенатом. Женщина сияла радостью и внешне преобразилась до неузнаваемости. Отец принял ее радушно, поздравлял. Но когда она приступила с «благодарностью», то должна была стремительно выбежать из его кабинета, и смущенная, со слезами на глазах прошла в прихожую. Но после этого счастливица не унялась, а решила во чтобы-то ни стало отблагодарить судью: ведь ее благополучие, рассудила она, всецело «зависело от твердости и даже некоторого служебного героизма этого скромного хромого человека».

И на другой день благодарная клиентка, в отсутствие судьи и его жены, привезла разных материй и других гостинцев, которыми заняла стол и все стулья в комнате. Между прочим, успела передать маленькой Марусе – дочери судьи большую куклу.

Вернувшись со службы и увидевши «гостинцы», судья приказывает немедленно возвратить «дары». Но с куклой вышло осложнение: Маруся прижала ее к груди и с горькими слезами заявила, что куклу она не отдаст, «не расстанется с ней».

«Через вас я все-таки стал взяточником! – взволнованно крикнул отец и, махнув рукой, ушел в кабинет, где долго ходил, постукивая палкой.

Затертый серой мещанской средой, судья дорожил, как последней святыней, этой чертой благородства, и чем труднее материально становилось ему с большой семьей, тем старательнее он отгораживал свою независимость и гордость от чиновного взяточничества и нечистоплотных людей.

В большой дисциплине держал судья свою семью и разумно закалял, особенно мальчиков, о чем с благодарностью вспоминает Владимир Галактионович, которому впоследствии пришлось невольно путешествовать по суровым российским климатам. Свободными от занятий часами дети распоряжались по своему усмотрению – на реке, в лесу, что развивало предприимчивость и мужество.

Мать Владимира Галактионовича – Эвелина Осиповна из польской семьи выдана подростком тринадцати-четырнадцати лет за человека больше чем в два раза старше ее. Притом судья был человеком крайне ревнивым и свою юную, не вполне еще сложившуюся физически жену с большой светло-русой косой и прекрасными лучистыми серо-голубыми глазами ревновал ко всем окружающим. «И первые годы их брака жизнь матери была, очевидно, очень тяжелой», – говорил Владимир Галактионович. Кроме того, судью постигло большое несчастье: в одну из служебных поездок его вытащили без памяти из угарной избы и положили на снег в одном белье. Судья очнулся, но половина тела была парализована, и он остался на всю жизнь калекой – хромым, с еще более расстроенными нервами.

Но подвести жизненные итоги – дело трудное: «счастье и радость так перемешаны с несчастьем и горем», – говорил Владимир Галактионович. Эвелина Осиповна в юности перенесла все тяжести раннего материнства, вспышки болезненно-нервного мужа, а после его смерти была неотлучной поддержкой детей, и умерла на руках своего сына Владимира, которым справедливо могла гордиться.

Теплыми штрихами очерчивает Короленко-сын духовный облик своего отца и с глубокой любовью и лаской – мать.

II

Помнить себя Владимир Галактионович начинает очень рано. Рано его пытливая голова обогащается внешними впечатлениями. Первое, что укрепила его память – это картина пожара. Но запоминаются одни зрительные впечатления, только безмолвная картина багрового пламени и движение присутствующих на пожаре: ни шума, ни криков.

От этого времени (ему не было еще двух лет) он запоминает и более сложное событие: вечер, он едет в экипаже, сидя у кого-то на коленях. Кругом темно, а впереди мелькает звездочка, то вспыхнет, то затуманится. Мальчику весело: он прыгает, смеется и старается схватить ее, но она не дается. Но вот вспыхнула и приблизилась, и ребенок с радости накрыл ее пальцем, но в тот же момент с криком боли и удивления отстранился. «Я хотел ее приласкать, а она, злая, хитрая, так больно меня укусила», – со слезами жаловался он матери спустя два года, когда овладел уже речью. Значит два года в душе ребенка таилось чувство обиды на «злую» звездочку – папиросу отца.

Володю очень привлекала река своими нежными переливами света и теней, игрой осколков синего неба, отражением белых пушистых тучек и он стремился попасть в эту чудную стихию: она ему казалась такой привлекательной, дружелюбной. Но когда мать исполняет просьбу и вносит его в воду – он горько плачет от обиды, испытав резкое, неприятное впечатление от холода: видимость обманула его. Он доверчиво стремится навстречу явлениям природы и горько разочаровывается, встречая враждебные отклики. «В этот период я часто плакал от разочарования и обид и когда не принимали за истину мои фантазии», – говорит Владимир Галактионович.

Маленького Володю в семье звали Голованом, потому что у него голова была несколько больше нормальной, и худенькое тело иногда плохо ее держало. Однажды, поднимаясь по лестнице, он упал и больно зашиб голову. Поднялся крик, плач. Но вблизи был отец и своеобразно успокоил мальчика: своею палкой он ударил по ступени, приговаривая, «вот-вот тебе за то, что ты обидела моего Володю». И мальчик сразу затихает, он с чувством мести ждет, как заплачет лестница. Но его постигает разочарование. А ему так необходимо подтверждение, что он представляет из себя силу, с которой следует считаться, и обидевший должен получить возмездие, он ведь уже «не боится ни темноты, ни воров».

«Много раз впоследствии, при разочарованиях более сложных, на дне огорченной души вставали эти первичные впечатления, как прообразы последующих, более сложных, но не более разумных», – говорил Владимир Галактионович.

В ранний период своего детства Володя-Голован был уверен, что все предметы: столы, шкафы, стулья живут, видят, слышат, а ночью, когда все кругом затихает, они шепчутся, ссорятся между собой. Когда ему не спится, его мечтательная голова создает причудливые картины, образы. Немало является и вопросов, которые тут же хочется и решить. Но одному скучно обсуждать и он тихонько будит братьев – старшего Мордика и младшего Перчика. И в эти таинственные часы, когда все кругом спят, особенно интересно беседовать.

Иногда к ним присоединятся закутанные в простынки сестренки – Маруся и Эля. Усядется эта кампания вокруг таза с горящей свечкой, которая ставится, чтобы осветить детские комнаты. Но все проделать надо тихо-тихо, чтобы не слышала няня. Володя уверен, что все, что он видит, таким создано, таким останется навсегда – и старая морщинистая няня, и красавица мама, и дом, и сарай. Но как все это попало на землю – вопрос очень интересный. В этих ночных беседах особенно богаты фантазии Голована: «он все понимает, все видит, чего другие и не замечают. И ребятки сообща развивают картину за картиной».

В рассказе «Ночью» художественно изображены эти беседы вокруг таза с колеблющимся светом сальной свечки.

Дети лет до шести большей частью природы не замечают. Володя же очень рано обратил на нее внимание: с интересом рассматривал лепестки трав, цветов, следил за полетом бабочек, птиц. Очень ему хотелось и самому полетать и с высоты посмотреть на жизнь города. И он усердно молил небо, чтобы оно послало ему белые крылышки.

Все окружающее – люди, особенно природа, ласково манило ребенка своей бесконечной, непонятной тайной, обещая радость познания, разгадки, а воспринятые впечатления рождали жажду получить ответы на новые и новые впечатления.

Однажды взрослые отправились на прогулку в сосновый лес, взяли с собой и малышей. Очувтившись в новой, невиданной раньше обстановке, Володя был поражен и, незаметно для взрослых, отстал от кампании. Стоит мальчик, как зачарованный, всматривается, вслушивается: рядом с ним ствол могучей сосны гудит, точно стонет. Тихо, ласково покачиваются вершины.

Вот хрустнула сухая веточка и медленно падает. Перепрыгнула белочка с дерева на дерево. А вдали молодая березка, окутанная свежей зеленью, точно живое существо, покачивается. Стоит Володя-Голован с широко раскрытыми глазами и впитывает, душа будущего художника слова, новое, таинственное, радостное.

«В душе человека тоже есть много непонятного говора, который не выразить грубыми словами, как и речи природы и именно то, что душа и природа составляют едино», – говорил Короленко.

III

Лет шести-семи Короленко уже в школе-пансионе, в обществе мальчиков от шести до шестнадцати лет. Ему там все нравится, особенно самостоятельность тех учеников, которые одни, без провожатых приходят в школу и одни вечером возвращаются домой. Однажды и он решил испытать эту радость. Кстати, за ним в этот вечер почему-то из дома не пришли и он, вместо того, чтобы остаться ночевать в пансионе, как полагалось в таких случаях, незаметно ушел один. Надо прибавить, что судья квартировал на окраине города.

Вышел Володя за ворота и немножко стало жутко ему, но все-таки пустился в дорогу. Пока шел улицами и из окон мелькали огоньки – он бодрился, чувствуя вблизи защиту. Но вот огоньки остались позади, а навстречу надвигалось темное, неизвестное: с одной стороны огородные заборы, с другой овраги. И невольно рассказы няни о страшных приведениях ярко вспоминаются ему. «А там в оврагах, может быть, целый полк разбойников». Но вперед, вперед. И вдруг он слышит резкий свист. Через момент, другой, ответный и такой же пронзительный. И, о ужас! почти рядом третий. Мальчик быстро спустился в овражек и приник к земле. А в нескольких шагах от него сошлись три человека и, пошептавшись, направились к городу. Когда затихли их шаги, Володя стремглав пустился к недалеко уже стоящему дому.

С бьющимся сердцем, но с гордым видом рассказывал он братьям и сестрам о только что пережитом. Это ведь пострашнее, чем у дикарей: там далеко, а это тут, сейчас он сам испытал, сам был в страшной опасности. И к его детским фантазиям, к переживаниям страшного от нянинных сказок, прибавился свой собственный житейский опыт. В пансионе, затем в гимназии Володю Короленко любят и уважают, как самого отзывчивого и находчивого товарища. В беде ли одного ученика или целого класса, он всегда был посредником и ходатаем, всегда находил время, чтобы помочь другому написать сочинение или в иных уроках.

«Наш Володя с детских лет был защитником обиженных и мирителем драчунов», – говорила его сестра Мария Галактионовна. «И делал он это как-то оригинально: подойдет к драчунам и неожиданными вопросами, а почему ты, Перчик, не так ножку подставил, как Вася? или почему у Гриши кулак толще, чем у Васи – росту они одинакового?» Смотришь, драчуны, за минуту перед тем насканивавшие друг на друга, как петухи, мирно щупают свои мускулы, измеряют кулаки, а причину ссоры и забыли.

И до конца дней Короленко умел вопросами общественного характера отвлечь людей от ссор и злобы друг на друга.

Много интересных страниц дает Владимир Галактионович в «Записках современника» [\[\(более точно – «История моего современника»\)\]](#) из своей школьной жизни, и связанные с природой – прогулки с братьями, школьными товарищами все овеяны внутренней лаской и настроением созерцателя. Много впечатлений для наблюдательного мальчика дала вообще история того времени. Годы освобождения крестьян от помещиков в памяти писателя оставили со стороны «людей двора», большею частью крепостных, рассказы о нелепых предзнаменованиях, сомнений, тревоги «чтось буде», «настанет ли вправду свобода», а с другой – со стороны господ крепостников – волнения и проклятия за отобранных даровых рабов.

Нечего и говорить о том, что глубокие переживания выпадают на долю впечатлительного мальчика за время польского восстания. Мать, которую он так горячо любит, и ее многочисленные родственники, как поляки, страдают за свою родину – Польшу. Среди родных происходят обыски, аресты, ссылка. А отец, русский законник: «что по закону, то справедливо» – его девиз. Но душа мальчика горит огнем за обиженных. Его мысли мечутся и он спрашивает себя – кто он – русский по духу или поляк? Впоследствии, в юношеские годы, когда он знакомится с сочинениями Добролюбова, Белинского, с великими художниками – Пушкиным, Гоголем и особенно с писателями-народниками, родственными с ним по духу, убеждается, что он прежде всего русский.

«Самые глубокие душевные изменения совершаются медленно, почти незаметным отложением новых идей и выветриванием старых», – говорил Владимир Галактионович. И в его душе с детских лет шла борьба над тем «что есть истина».

В первых классах Короленко учится в Житомирской гимназии. Но благодаря служебному переводу судьи в г. Ровно – переводят и детей в Ровенское реальное училище, так как классической гимназии там не было. Общительный по натуре Володя и там скоро осваивается. С особенно теплым чувством вспоминает он некоторых школьных товарищей и учителей, и с тонкой иронией рисует напыщенных сатрапов, начальствовавших в школе и в жизни провинциального города.

Между прочим, вспоминается им такой курьез из начальственных тревог по поводу свободомыслия учеников: педагогическим советом постановлено исключить несколько учеников за невзнос платы за учение. Товарищи усердно собирают копейки, гривенники, но этого мало. Но вот находчивый придумал источник дохода: каждый день в большую перемену на завтрак продают пирожки, на этих пирожках и решено устроить коммерцию: купивший один пирожок вносит в кассу одну копейку, два – две копейки. Дело идет прекрасно, наложенная на пирожки пеня дает надежду спасти исключенных. Но узнает про эту затею начальство и сам директор призывает пред свои грозные очи виновников. «Вы это что затеяли? Разве не знаете, что налоги брать может только государство? Я вас могу под суд отдать», – кричит блюститель государственных интересов.

Не менее курьезный случай знакомит Короленко-мальчика с самодурством уже большой власти в провинции, город Ровно торжественно и с трепетом ждет приезда генерал-губернатора. На улицах все прибрано, нищие и пьяные припрятаны. Вот и сам сатрап. Напыщенный и толстый он посматривает по сторонам: все ли в почтительном порядке. И вдруг он видит за оградой палисадника маленького реалиста в картузе. Возмущенная превосходительная фигура моментально выкатывается из экипажа и кричит стражу: «арестовать виновного!».*

* Это было в 1867 или 1868 году. Ждали генерал-губернатора Безака. Остановиться он должен был у исправника, на Гимназической улице, поэтому исправницкая квартира стала центром общего внимания. Кругом из-за заборов, из переулочка, вообще из-за разных прикритий робко выглядывали любопытные обыватели. Прямо против дома исправника была расположена ученическая квартира вдовы Савицкой, и так как это было уже после уроков, то кучка учеников вышла в палисадник, чтобы полюбоваться встречей. Улица имела приличный случаю торжественно-испуганный вид. У крыльца, вытянувшись в струнку, застыли квартальные. Все было подметено, убрано, вычищено. Все превратилось в ожидание.

Часов, вероятно, около пяти прискакал от тюрьмы пожарный на взмыленной лошади, а за ним, в перспективе улицы, вскоре появился тарантас, запряженный тройкой по-русски. Ямщик ловко осадил лошадей, залился на месте колокольчик, помощник исправника и квартальные кинулись отстегивать фартук, но... Тут случилось нечто неожиданное и страшное. Фартук сам распахнулся с другой стороны... Из тарантаса выкатилась плотная невысокая фигура в военной форме, и среди общего испуга и недоумения его превосходительство, командующий войсками киевского военного округа и генерал-губернатор Юго-западного края, бежал, семеня короткими ногами, через улицу в сторону, противоположную от исправничьего крыльца...

Через несколько секунд дело объяснилось: зоркие глаза начальника края успели из-за фартука усмотреть, что ученики, стоявшие в палисаднике, не сняли шапок. Они, конечно, сейчас же исправили свою оплошность, и только один, брат хозяйки, – малыш, кажется, из второго класса, – глядел, выпучив глаза и разинув рот, на странного генерала, неизвестно зачем трусившего грузным аллюром через улицу... Безак вбежал в палисадник, схватил гимназиста за ухо и передал подбежавшим полицейским:

– Арестовать!..

Полицейское управление было рядом, и испуганного мальчика немедленно заперли в каталажку, где обыкновенно держали пьяных до вытрезвления... Только тогда грозное начальство проследовало к исправнику...

Весть об этом происшествии мгновенно облетела весь город. <...> – **В.Г. Короленко. История моего современника**

В старших классах жизнь юношей осложняется: создаются кружки самообразования, составляются тайные библиотечки из книг, которых так не любит начальство: Писарев, Добролюбов, «Что делать» Чернышевского, «Один в поле не воин» Шпильгагена и много других книг демократического направления порождают в юных головах вопросы, горячие споры. Выдвигаются вопросы и общественного характера. Симпатии юношей группируются около избранных героев. Нечего и говорить, что душой этих юношеских начинаний был Короленко, хотя в это время его помощь требовалась уже в семье. Ему было около пятнадцати лет, когда умер его отец.

Неподкупный судья, не признававший никаких «безгрешных доходов», кроме скромного жалования, не дожидаясь нескольких месяцев до пенсии, и после его смерти мать с детьми осталась без всяких средств к существованию. «А что вышло: умер, оставив нищих. Говорили это и люди простодушной веры в Бога и в его законы. Но никогда ни у матери, ни у всей семьи нашей не возникало и тени таких сомнений», – говорил Короленко. Пришлось сдавать учащимся комнаты, отпускать обеды, и самым деятельным помощником матери был Володя: он репетировал живущих у них учеников, брал переписку и деятельно помогал по хозяйству.

Кончив реальную гимназию в г. Ровно в 1870 году с серебряной медалью, Владимир Галактионович, скрепя сердце, оставляет мать с младшими детьми, чтобы самому продолжить образование в большом городе.

С восторгом получает 18-тилетний Короленко извещение о том, что с пятнадцатого августа он Санкт-Петербургский студент! Он перешагнет в иной мир, где нет ни единиц, ни хождения по приказу в церковь, где раскрывается свободный путь к науке, «да какой науке!» Конечно, и люди там интересные, не чета ровенским.

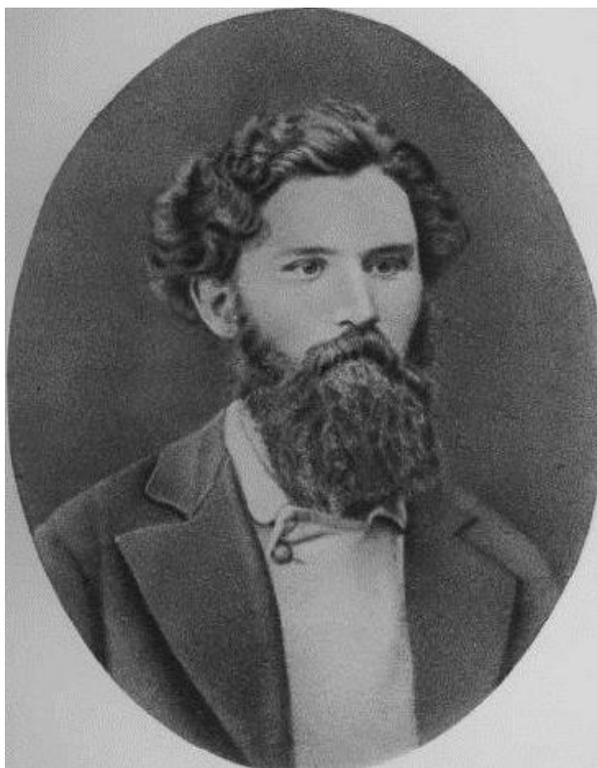
IV

Но, по приезду в столицу, восторженный юноша попадает в среду студенческой богемы, где он знакомится прежде всего с отрицательными сторонами жизни молодежи. Много неприятных сюрпризов еще в пути переживает полный веры в людей Короленко. Дорого обходятся ему первые шаги в столице и вообще наука жизни. Часто он и голодает с такими же как он студентами-пролетариями. Но сытые, торжествующие его не привлекают. Только здоровый, критически настроенный ум даровитого юноши спасает его от полного разочарования.

Он с жадностью впитывает впечатления от массы молодого, бурливого студенчества, от жизни большого города с политическим брожением в нем, «что вначале и падало на девственную от политики душу, как снежинки на голое тело», говорил Короленко. Пробывши два года в Петербурге, Короленко был уже не тот наивный юноша: розовый туман рассеялся. Осталось только сожаление о потерянных годах в смысле приобретения знаний.

К этому времени подоспели благоприятные обстоятельства, и Короленко перебирается в Москву, в Петровско-Разумовскую академию (ныне сельскохозяйственный институт).

«Петровка» в то время по многим причинам привлекала молодежь. В ней царил свободное товарищество среди студентов, общие интересы около своей кооперативной лавочки с предметами первой необходимости, столовой, библиотеки и пр., что давало возможность часто сходить, обмениваться мыслями на всякие темы. Кроме того, для всех было живо убийство студента Иванова в связи с Нечаевским делом, благодаря чему все места в парке были отмечены этой политического характера историей.



Москва, 1874 г.

«Точно струя свежего воздуха повеяла от всей обстановки в этом учебном заведении», – вспоминает Короленко. Скоро завязываются здоровые, деловые отношения с товарищами, налаживается интересная научная работа, и он с успехом проходит два первых курса наук.

В «Петровке» Короленко примыкает к той группе молодежи, которая, кроме наук, интересуется вопросами общественного характера и вопросами политики. Появляется литература, осуждающая действия правительства. Устраиваются тайные собрания с горячими речами. Строятся планы борьбы с деспотизмом, рисуются картины прекрасного будущего и пр. Для критики существующего добывается литература, да и жизнь давала много материала.

Параллельно с текущими занятиями Короленко, как истинно поэтическая натура, безотчетно берет памятью все характерные блески от окружающей жизни, мимо которых другие проходят безучастно. Из впечатлений этого периода его жизни складываются прекрасные повествования: «Прохор и студенты», «С двух сторон» и др.

Но скоро ясные дни пребывания в «Петровке» затуманились: с посещением академии министром народного просвещения Валуевым студенчество, пользовавшееся сравнительной свободой, ставится в положение гимназистов с мелкими придирками, нападками и сразу теряет доверие: из свободной студенческой «республики» превращается в обычное, даже с репетициями, учебное заведение.

Волнение охватило всех слушателей. А так как академическое начальство, получив угрозу свыше, не сдавалось, решено протест вынести за пределы академии. Ходатаями пред московским генерал-губернатором выбирают, как наиболее развитых, обстоятельных Короленко и его друзей – Вернера и Григорьева.

В результате, в сущности, невинных требований представители от студенчества арестованы и административным порядком высланы в Вологду. В дороге «преступников» догоняет царская «милость», Вологодская губерния заменяется ссылкой на родину под надзор родителей. И Короленко неожиданно попадает в Кронштадт, так как мать его с дочерьми уже переселилась из Ровно к родственнику – офицеру кронштадтского флота.

За год поднадзорной жизни среди моряков, от которых он всегда имел чертежную работу, Короленко хорошо знакомится с этой своеобразной средой, обогащает свое развитие, сталкиваясь с людьми разного направления и замечая все характерное.

По окончании «личного надзора» в Кронштадте, Короленко с семьей (матерью и сестрами) переезжает в Петербург, где выдержав конкурс, поступает в горный институт.

«Должен сказать, что и на этот раз я не стал хорошим студентом», – вспоминает Короленко. Опять много причин и «мечтаний» отвлекают его от учебных дел. Между прочим, в связи с мечтаниями он изучает сапожное ремесло на тот случай, если и ему удастся пойти в народ для пропаганды революционных идей.

Среди молодежи в это время с особенной силой закипало революционное движение. Правда, в начале бурлили отдельные кружки. Но царское правительство, почуяв тревогу, начало аресты, заполняя тюрьмы и применяя разные меры пресечения.

Так, зарвавшийся в своей безграничной власти градоначальник столицы Трепов приказывает высечь политзаключенного Боголюбова за то, что тот при вторичной с ним встрече на дворе тюрьмы не снял шапки.

Среди жителей столицы, особенно среди молодежи, росли негодование, тревога. Но вот выстрел Веры Засулич в этого сатрапа точно влил струю единодушия, объединил все разрозненные кружки для более правильной борьбы с деспотизмом. Правительство бесилось, предавая формально суду с предрешенными заранее приговорами к каторге, к срокам в централках, к поселению на крайнем востоке и пр. И судебные процессы следуют один за другим: судят набранных в разное время и в разных местах сто девяносто трех «преступников», «пятьдесят» и пр. А жизнь выдвигала все более и более героически преданных народному делу, несмотря на то, что испуганное правительство, изгоняя крамолу, хватало направо и налево.

Семья Короленко была и раньше под надзором полиции. А в это время – время оргии доносов, арестов. Короленко с братом Илларионом, побывав в нескольких тюрьмах, очутились в г. Глазове Вятской губернии.

V

В Глазове Короленко поселился среди бедноты в Слободке, жители которой занимались разными ремеслами, по преимуществу сапожным. Когда съезжались из деревень в поселок крестьяне-вотяки со своими сельскими продуктами, жители Слободки выносили свои изделия и шел обмен-продажа. Здесь, в Слободке Короленко совершенствуется в сапожном ремесле до того успешно, что сшитые им охотничьи сапоги в последствии соблазняют «блюстителя порядка», конвойного Владимира Галактионовича.

Здесь, среди бедноты Короленко впервые встречается лицом к лицу с крайней нищетой и невежеством. Здесь для него открылся иной мир, впечатления от которого мастерски изображены в очерке «Ненастоящий город». С детских лет у сына судьи пробуждается желание защищать обиженных, сеять мир между людьми, и с годами это чувство крепнет и становится основным стремлением всей его жизни.

Бескорыстие Короленко, его готовность разъяснить запутанные дела, помочь каждому поражают жителей Слободки, в поте лица добывающих скудный кусок хлеба для своего жалкого существования. Не может Короленко спокойно смотреть и на те выходы со стороны исправника, которые ставят полит-ссылных в безвыходное положение, унижают честь и достоинство человека, и он ищет правды пред губернатором. А так как губернатор, потворствуя исправнику, не отвечает, Короленко пишет министру.

Но за искание правды, за требование законных отношений к высланным со стороны местной администрации, его засылают в отдаленную северо-восточную часть Вятской губернии, в Березовский починок, в тот дикий угол, с которым знакомит читателя еще Решетников в своих знаменитых «Подлиповцах».

Невольно удивляешься смелости, находчивости и спокойно-разумному отношению Короленко ко всем переживаниям в этом пути, на каждом шагу богатом непредвиденными опасностями: даже сапоги на его ногах чуть не сделались причиной его смерти. Так дико, так беззащитно было положение молодого Короленко, виновного лишь в том, что он наивно напоминал власть имущим о «законной правде».

Худших условий для жизни культурного человека, чем Березовские починок, трудно и представить. Но и этот дикий край в лесной глуши, жители которого стояли на первобытной ступени по развитию, для молодого, сильного духом Короленко дает много чарующих впечатлений.

Чудные страницы в «Записках современника» читаем мы о девственной северной природе этого края и столь же девственно-первобытных нравах и обычаях его жителей. Ярко рисуются суеверные люди, разбросанные по лесам отдельными хуторами, избушками, запуганные «лестной нежитью» (злыми духами). Есть тут и высланные крестьяне из разных мест России за то, что осмелились тягаться с сильными за право на клочок земли. Все эти люди находят у Короленко поддержку: одни – объяснение непонятных для них явлений природы, в запутанных делах между собой, другие – подтверждение, что у правителей и сильных правды не найдешь.

Благодаря способности с детских лет обогащать свою память впечатлениями от природы, от всей окружающей жизни, а свои мысли о всем виденном «облекать словами», Короленко дает высоко художественные картины о пережитом в этом диком краю. Точно волшебник коснулся своим крылом, и угрюмый холодный край улыбнулся.



Рис. В.Г. Короленко. Изба в Березовских починок, где жил писатель

Из «бисеровских» лесов Березовского починок Короленко, по неизвестным ему причинам, переправляют в Вышний Волочек Тверской губернии, в центральную тюрьму. В этой централке в то время находилось около сорока человек политических. Тут были студенты, группа рабочих и интеллигенты с положением в обществе, так например, книгоиздатель Павленко, надворный советник Н.Ф. Анненский и другие. Все они ожидали высылки в Сибирь. Здесь, после лесной глуши, Короленко с радостью встречается с образованной публикой.

Близко сходитя с известным впоследствии публицистом Н.Ф. Анненским, неразрывная дружба с которым остается на всю жизнь. Узнает Короленко здесь и о том, что антиправительственное движение крепнет, растет, охватывая все слои населения, несмотря на жестокие приговоры.

А для самого Короленко выясняется, что он, согласно донесения вятской администрации, пытался бежать с места ссылки, но был задержан, за что и высылается в Восточную Сибирь. Только в Томске эта клевета была обнаружена и с несколькими товарищами (1879 г.) его возвращают в пределы Европейской России и сдают в распоряжение Пермского губернатора под надзор полиции.

В Перми Короленко встречает многих поднадзорных, высланных подальше от столицы, что впрочем не мешало сношениям единомышленников. Между прочим, здесь Короленко было сделано предложение Ю. Богдановичем бежать, чтобы, встав на нелегальный путь, целиком отдаться революционному делу. Но, как всегда искренний, Короленко, не находя в себе решимости и убеждения в правильности этого шага - отказывается, и долго, мучительно переживает свой отказ, взвешивая «за» и «против».

В Перми Короленко застаёт важное политическое событие, первого марта 1881 года революционерами убит Александр II, и Россия должна была присягать новому царю Александру III. Потребовали к присяге и Короленко. Находясь в ссылке, под надзором полиции, лишенный права жить в университетских городах, права учиться – он по совести отказывается присягать в верноподданнических чувствах человеку, который лишил его всяких прав на свободу.

И за это «преступление» В.Г. Короленко ссылают в далекий, холодный Якутский край.



Фото 1880 г.

VI

Много переживаний выпадает на долю Короленко на этом далеком пути. В Тобольске, например, вместо пересыльной тюрьмы, его поместили со всеми строгостями в военно-каторжную одиночку, мстя за напечатанный в журнале «Слово» его очерк «В подследственном отделении», где начальник Тобольской тюрьмы узрел порядки учреждения, подвластного ему. Эта месть изображена в рассказе «Искушение».

В нем же видно, до какой степени доведены были в этой одиночке нервы молодого, крепкого по натуре Короленко, и то, какая случайность удержала его от рокового шага – побега, на что, очевидно, и рассчитывал бдительный мститель.

В Томской тюрьме среди множества впечатлений и встреч, как и во всех тюрьмах по пути до Якутской области, Короленко, между прочим, обратил внимание на святошу среди уголовных из секты «покаянников» (не согрешишь не покаешься), который послужил одним из действующих лиц в прекрасном рассказе «Убивец». Вообще в обширной памяти Короленко остались впечатления не только от встреч с людьми и главным образом революционного направления, но и о чудной заре, и о широкой дали, охваченной нежными красками.

Из революционеров, встреченных на этом пути, особенно ярко в его воспоминаниях выступает образ «пламенного» Мышкина и народника Рогачева. «На трагической фигуре Мышкина, – говорил Короленко, – я остановился дольше, потому что эта трагедия была всей тогдашней русской революционной интеллигенции: с одной стороны политически невежественный народ и инертность общества, с другой – проснувшееся сознание части интеллигенции, которая одна решилась на борьбу с могущественным государством, как ослепленный ветхозаветный Самсон среди пирующих филистимлян», – пишет Короленко, подтверждая слова рабочего Петра Алексеева, сказанные на процессе пятидесяти.

Он говорил: «теперь одна революционная интеллигенция стоит за интересы рабочего народа, и она будет стоять до тех пор, пока не подымется мускулистый кулак народных масс и ни свернет ярмо деспотизма». Правда, еще долгий период торжествовала реакция, много пало бойцов на виселицах, в тюрьмах, в далекой Сибири, но мы видим, что их дело не пропало, что это борцы заложили твердый фундамент революционного движения.

В суровой Якутии Короленко поделяют в улусе Амга. Но физически крепкий, оптимист в душе он и там духовно выносив и заразительно деятелен – он и там всегда за работой: короткое лето занят с товарищами хлебопашеством. «Это был самый здоровый период моей жизни, когда мы с товарищами занимались земледельческим трудом», – говорил Короленко. Нелегко давалась ему эта наука. Много раз его жизнь была на волоске и главным образом потому, что, выполняя непривычный физический труд, он в то же время обдумывал темы литературные, «ну и прозевывал опасность», говорили его товарищи.

Зимой обучал он малышей грамоте, занимался сапожным ремеслом, особенно когда, приезжали товарищи из других улусов в плохой обуви. Часто приходилось починять свою старую юрту, рубить дрова для ненасытного камелька, который топился день и ночь. Много времени уходит на беседы с товарищами. Часто приходят и якуты посоветоваться. «Около Лактионыча хорошо! – говорят они, – а что он сказал, то делать надо, то верно». Таково к нему отношение полудикарей. Нечего и говорить, что юрта Короленко с топящимся камельком, с таким сердечным хозяином обогрела и поддержала многих товарищей по ссылке, более слабых духом. В какую бы трущобу ни закинула его мстительная власть, он оставался тем же кристально-чистым человеколюбцем.

В Амге Короленко пережил «нечто вроде легкого душевного перелома», как он говорил: «после тщательного размышления пришел к выводу, что он «и не революционер», а только наблюдатель жизни, раз отказался вступить в ряды исполнителей всех заповедей революционной программы».

И его, как глубоко правдивого человека эти «размышления» мучили долго, пока он не пришел окончательно к убеждению, что его жизненный путь, его истинное призвание – служить народу литературным словом.

Уже в Амге – в дикой, холодной стране, которую только временами скрашивает северное сияние, в стране, где на пятидесятиградусном морозе человеческое дыхание производит треск, где, как говорит один иностранец, человек с трудом отдирает тень свою от земли, в плохонькой юрте, в окнах которой вместо стекол вставлены льдинки, пред топящимся камельком Владимир Галактионович Короленко начинает создавать чудные скорбные образы в рамках суровой русской действительности, начинает писать рассказы, повествования, которыми долго будут наслаждаться. И богатые впечатления от скитальческой жизни, «наивная мудрость народа», его «наивные политические взгляды» впоследствии служат неисчерпаемым кладом для тем Владимира Галактионовича.

В Амге им написано «Чудная», «Сон Макара», «Убивец» и другие. Специально для детей, юношества Короленко не писал, все его рассказы построены на глубокой психологии человеческой души. Но все они могут служить украшением библиотеки для юношества, а некоторые доступны и для детей первой школьной ступени, например «Ночью», в «Дурном обществе», где так художественно изображена жизнь детей подземелья. Тонким кружевом на фоне нищеты нарисованы маленькие детские радости. Медленно умирающая «от серого камня» Маруся, как говорит Валек, не тронет сердце разве только грубо сколоченного человека, так трогательно, правдиво проходят картины из жизни несчастных детей.

Три года пробыл Короленко в Якутской области. Десять лет бросала его мстительная власть из тюрьмы в тюрьму, гоняла в «столь» и «не в столь отдаленные дикие места». Но крепкий, закаленный с детства, организм Короленко все вынес. А богато одаренная голова, полученные от этих мытарств впечатления, претворила в высокохудожественные и в то же время поучительные повествования.

Много путников шло по этому скорбному пути. Многие сложили там свои головы. Немало равнодушно уставших в борьбе за существование потонули в серенькой тине холодного края.

Но вернувшиеся после срока ссылки (иные и не дождавшись его) с той же энергией и с еще большей стойкостью в своих взглядах взялись за борьбу с деспотизмом: там было достаточно времени, чтобы обстоятельно обдумать на что человек годен, на каком пути продуктивнее приложить свои силы. И мы видим на страницах «Современника» вдумчивый образ писателя, решающего – каким путем пойти ему, чтобы иметь право назваться сыном своего народа. И Короленко не ошибся в выборе пути: глубокий, бодрящий след от его произведений многим указал и укажет в будущем путь в смысле собственного самосознания и путь служения народу.

Другой писатель-поэт, Якубович-Мельшин, искавший правду жизни тем же путем, посвящает Владимиру Галактионовичу Короленко стихотворение, в котором рисует пройденный путь нашим славным художником слова:

В пустыне, где шепчет вьюга с тайгой,
Где бледное солнце не радуется глаз,
Был брошен когда-то жестокой рукой
Бесценный, прекрасный алмаз ...
Рожденный для счастья, для света
Цветок, не успевший в отчизне расцвести,
Живое, горячее сердце поэта
Влюбленного в правду и честь.
Все в мире проходит... И дни испытанья
Промчались, отчизну поэт увидал...
Ему не грозит уже холод изгнанья –
Он славою родины стал!..
Из мрачного края суровых метелей,

Из юрт неприглядных, из тундры скупой
Принес он венки из живых иммортелей –
Чарующих образов рой.

что он «согревая наше охлажденное сердце в тьму жизни льет ласковый свет...».

VII

По окончании срока ссылки в Якутской области, Короленко получил право вернуться в Россию, и поселился в Нижнем Новгороде, где прожил одиннадцать лет.

За этот продолжительный период (с 1884 по 1896 гг.) в Нижнем Владимиром Галактионовичем много создано в литературно-художественном отношении, много отдано времени и сил для общественной деятельности. За эти годы он путешествовал в Америку, на юго-запад в Славянские земли, исходил Поволжье, во всех направлениях Нижегородский край. Его рассказы, бытовые очерки, как результат этих путешествий, обвеянные чарующим описанием природы, ярко, образно знакомят читателя с нравами, обычаями светлых и темных сторон смешанного населения этого края.

Самобытный юмор, наивная вера в народе и столь же наивные политические взгляды – привлекают писателя-психолога. «Павловские очерки», «Начетчики», «За иконой», «На затмении», «Птицы небесные» и во многих других повествованиях точно душу народную раскрывает автор пред читателем. Рассказы «Слепой музыкант», «Тени», «Иом-Кипур» и другие, кроме красоты, дают глубокие темы и психологу и философу. Читая, например, такие высоко-художественные рассказы, о старом недобром времени, как «Лес шумит», ухо невольно ждет сопровождающих музыкальных звуков, так живописно, так музыкально рисуются события рассказываемого. Безошибочно можно сказать, что за нижегородский период Владимир Галактионович развернул свой богатый талант и поднялся на вершину литературного олимпа.

Но чуткое сердце писателя, не дает ему спокойно, в тиши, удаляясь от текущей жизни, создавать только художественное: живая жизнь слишком привлекает его.

Он вслушивается, всматривается, изучает ее, чтобы потом приложить к ней свои руки, и Владимир Галактионович выступает с обличительными статьями, корреспонденциями в современных изданиях, где вскрывает много залежей неправды, освещает много ухищрений и хищений «тузов» Нижегородского края. Ведет борьбу с голодом и другими народными несчастьями, вырывает жертвы из рук самодержавного «правосудия», вообще готов возложить на себя все бремя русской жизни, чтобы помочь ей двинуться правильными путями к лучшему будущему.

Пера Короленко побаивались и власть имущие. Нижегородский губернатор, пускавший пыль в глаза обывателей своей либеральностью, с одной стороны заискивал пред Короленко, как пред известным писателем, с другой – немало потратил бумаги и клеветы, убеждая кого следует о его вредном влиянии, особенно на молодое поколение: непереносны были корреспонденции, статьи и вообще влияние этого «Овода» (см. рассказ Короленко «Тени»), который своими меткими укусами так тревожил «помпадуров» и «колупаевых».

В борьбе с общественными бедствиями, неправдами Короленко не ограничивался только пером. Он участвует сам, лично помогает, как в беде отдельного человека, так и в общественной.

В начале девяностых годов прошлого столетия неурожай охватил большое пространство России. В Нижегородской губернии особенно голодал Лукояновский уезд. Представители власти, как всегда, замалчивали голод, называя его «легким недородом». Но Короленко раскрывает в печати истинное положение и отдает несколько месяцев на борьбу с этим народным несчастьем: устраивает столовые для детей и взрослых, привлекает внимание к этой беде всей страны своими корреспонденциями.



В Нижнем Новгороде, 1890-е

Попутно с этой работой, Короленко изучает безнадежно тяжелую жизнь этого темного голодного народа. Книга «Голодный год» – ряд бытовых картин и административных давлений самодержавной власти – знакомит читателя, в каком положении существовали эти люди.

По пятам за голодом явилась холера, от смертоносного дыхания которой в Поволжье пали тысячи. Многим памятливы дикие холерные бунты. За ними военные суды со смертными приговорами над темными, невежественными людьми. И в это время не молчит Короленко: его перо беспощадно клеймит виновников в этих ужасах.

Около этого времени случилось необычайное дело в Вятской губернии: обвинили крестьян-вотяков села Мултаны в том, что они якобы принесли в жертву своим идолам живого человека. Дело рассматривалось дважды и семь человек, приговоренные к каторжным работам на большие сроки, ждали высылки на восток, в рудники. Но В.Г. Короленко, как художник-психолог, уверен, что здесь произошла судебная ошибка. И со свойственной ему энергией, не щадя ни здоровья, ни времени, едет на место происшествия, подробно изучает все детали этого дела и окончательно убеждается, что обвиненные не виновны.

После усиленных хлопот в Петербурге пред высшей властью, добивается пересмотра этого дела. А на суде, уже в Казани, Короленко, в качестве защитника, произносит такую потрясающую речь, раскрывая безграничную власть одних и беззащитность других, что все присутствующие на суде плачут. В результате пересмотра оказалось, что человек был убит с целью грабежа, и в этом убийстве замешана полиция.

Впоследствии (1913 г.), почти тождественное Мултановскому, дело Бейлиса на юге, где был оговорен еврей в убийстве православного мальчика, якобы для ритуальных надобностей. Короленко участвует в раскрытии и этого оговора, нужного самодержавному, но уже подгнившему строю царизма. Не может Короленко пройти мимо несправедливости, мимо чужой беды, не постоять за оклеветанного, не выступить против темной силы, попирающей человеческую личность. Его лозунг: «человек рожден для счастья, как птица для полета», и он следует ему на всем пути своей жизни, находя счастье в борьбе за несчастных.

Но его здоровье, особенно после Мултанского дела сильно пошатнулось: долго, болезненно переживал он эту дикую клевету на беззащитных людей.

Вообще личные выступления, корреспонденции этого писателя, «влюбленного в правду», его публицистические статьи, «бытовые явления» – показывают, как глубоко автор понял, охватил своим талантом и чутким сердцем всю бездну русской жизни. И своими художественными произведениями Короленко всегда напоминает обществу, особенно молодежи, что «спать» преступно, и что радость жизни и счастье будущего без труда и борьбы не даются.

Рассказ «Сказание о Флоре[[, Агриппе и Менахеме, сыне Иегуды](#)]», между прочим, оканчивается так: «[О, Адонаи, Адонаи...](#) пусть никогда не забудем мы, доколе живы, завета борьбы [[за правду](#)]. Пусть никогда не скажем: лучше спасемся сами, оставив без защиты слабейших. ...И я верю, [о, Адонаи](#), что на земле наступит твое царство! исчезнут насилие, народы сойдутся на праздник братства, и никогда уже не потечет кровь человека от рук человека».

В какой бы литературной форме ни выступал Короленко, всюду слышен призыв к свободе, братству. Многие его современники выражали сожаление, что Владимир Галактионович не дал большого произведения – романа, повести. Но сам он, Короленко, на всем своем жизненном пути, как светоч, озарявший темные стороны громоздкого аппарата – России, представляет поучительно-художественную повесть.

За годы пребывания в Нижнем В.Г. Короленко и его друга Н.Ф. Анненского, нижегородская интеллигенция окрепла, энергичнее взялась за общественные работы, объединившись около таких живых источников. «Общество распространения наробразования», воскресные школы и другие утверждались после усиленных хлопот. Нужны были средства, сотрудники, чтобы при тех исторических условиях заниматься «ликвидацией безграмотности». Но энергия в работниках не падала. Нечего и говорить, что люди левого течения всегда находили сочувствие и поддержку у Короленко.

Трогательно и в то же время своеобразно относился Владимир Галактионович к детям. Любуясь малышами, как цветами жизни, он точно старался угадать возможности будущего. Умело, простыми словами, не подделываясь к маленьким слушателям, давал он им доступную, неприкрашенную правду, и, конечно, экспромтом красивые рассказы о животных, цветах и многом другом, до чего касалось его внимание. И дети льнули к нему, как мухи к меду.

Невольно вспоминается, как отнесся Владимир Галактионович к ребятам знакомых семейств, решивших, что и они должны помочь ему кормить голодающих. Но за что взяться? Самое выгодное издать «Сборник в пользу голодающих».

Сказано, сделано. Переписанные экземпляры распроданы своим же матерям, отцам. Радостные, торжествующие вручают они Владимиру Галактионовичу двадцать семь рублей. Но самая большая, надолго памятная радость – это его серьезное отношение к их работе: прочитавши «стихи», сказочки, «истинные происшествия» десяти-одиннадцатилетних авторов, Владимир Галактионович серьезно говорил каждому, что хорошо, что плохо, и как бы следовало исправить.

«Значит, их работу он считает нужной и их самих не только любит, но и уважает». Для детей такое отношение всегда очень ценное.

Короленко знали не только, как писателя – его почитатели и общественные работники, но знали его и обыватели – люди, живущие только для себя, все знали, что он всегда готов пойти на выручку и в личной беде каждого человека. Такой случай был в Нижнем. Молодая женщина с двоими маленькими детьми и с больным мужем ехала на волжском пароходе. Больному сделалось так плохо, что явилась необходимость сойти на берег. Пролежавши в гостинице два-три дня, больной умирает. Одинокая, в чужом городе и без средств, женщина решается пойти в первый попавшийся богатый дом, определяя богатство по отделке окон. Но на ее убедительную просьбу помочь похоронить мужа, давши займы на короткое время несколько рублей, богато живущие люди отвечают, что лишних денег у них нет, и, между прочим, советуют обратиться к «писателю Короленко». Конечно, несчастная нашла у Короленко и помощь, и поддержку, хотя у него-то никогда не могло быть лишних денег.

В 1896 году Короленко переселяется в Петербург, чтобы непосредственно сотрудничать в журнале «Русское богатство». Представители всех слоев общества Нижнего Новгорода спешили заявить свое сожаление по поводу его отъезда: его знали и чтили не только деятели города, земцы и вообще интеллигенция, но знали и люди Горьковского «Дна», которые частенько, крадучись приходили к нему поплакаться на свою долю и попросить о защите, и никогда не уходили без помощи, без совета, а иногда и одетые чуть не в последний пиджак писателя, так как отказать в нужде человеку Владимир Галактионович не мог.

В ответной речи на проводах несколькими художественными штрихами В.Г. Короленко скромно сознается, что несмотря на предостережение, прочитанное им на каменной набережной при въезде в этот город «не касаться стен и не портить решеток» – он порой не выполнял этого совета: не поберег ту или иную «стену и решетку». Всем известно, как часто Владимир Галактионович своим смелым, решительным словом касался и твердых самодержавных «стен» и железных «решеток».

Заканчивая речь Короленко образно напоминает провинциалам, что, как притоки, «живые, говорливые ручейки помогают многоводной реке сбросить лед для встречи весеннего, яркого солнца, так и провинции должны помочь многолюдному центру сбросить холодный, давящий лед деспотизма».

VIII

Будучи соредактором журнала «Русское богатство», В.Г. Короленко больше публицист, чем беллетрист-художник. Живые впечатления от кипучей жизни столицы, переживания от множества литературных материалов, которые приходится прочитывать, от встреч и пр. – темы, точно пчелы в улье, реют в его голове и претворяются в этюды, заметки, статьи.

Сидит он, как редактор-издатель, и на скамье подсудимых «за дерзновенное неуважение к верховной власти». В произведении Л.Н. Толстого «Посмертные записки старца Федора Кузмича», помещенном в «Русском богатстве», и усмотрена хула высочайшей власти [\[\(несмотря на цензурные купюры\)\]](#).

На суде Короленко в ответ на обвинения его в «хуле», красноречиво доказывает, опираясь на исторические данные, что прадед Николая II – Александр I, о котором и говорится в указанном произведении, величався «благословенным», «светлым ангелом», был двуличным человеком, что он сознательно участвовал в убийстве своего отца – Павла, и за все время царствования умело прикрывал свою грубость и жестокость Аракчеевым и другими подобными соратниками.



В своем кабинете, Петербург, конец 1890-х

Ясностью мысли, прямоотой Короленко бомбардирует самодержавную крепость и сидя на скамье подсудимых: его душевное равновесие, поддерживаемое силой его художественного таланта, никакие испытания поколебать не могут, он всегда рыцарь правды, истины. Изображая символически русское революционное движение в белых стихах «Огоньки», Короленко сам никогда не переставал «налегать на весла» и, поощряя других, указывал, что «все-таки впереди огни».

Но здоровье Владимира Галактионовича настолько пошатнулось, что напряженно нервная жизнь большого города и близость редакции с шумной литературной богемой оказалась ему не под силу, и доктора посоветовали оставить столицу, как место с нездоровым, слишком влажным климатом. Короленко выбрал более южный город – Полтаву, куда и переселился в 1900 году.

Но, живя в Полтаве, Короленко часто наезжал в Петербург, как редактор литературно-беллетристического отдела. Все многочисленные рукописи писателей и «писак» Владимир Галактионович добросовестно прочитывает, опасаясь проглядеть и крупницу таланта, особенно у начинающих авторов. Сам он в эти годы, кроме текущих работ, ведет «Записки современника», где художественно изображены все и **всё**, встречающееся на его жизненном пути. Читающий «Современника» всех жизненных событий, его очерки, все повествования, статьи – получает кроме удовольствия от художественной красоты, кроме бодрящего чувства и знакомство с жизнью. Все сочинения Короленко показывают, что он по своему мировоззрению идеалист, верит в победу справедливости, которая и приведет человечество к истинной свободе.



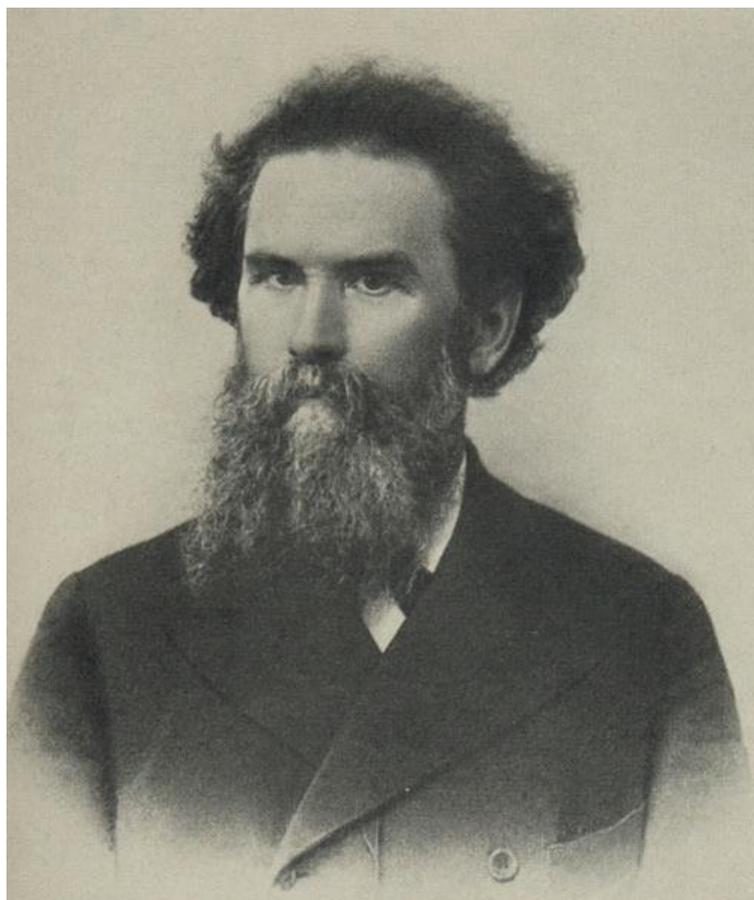
Среди родных и друзей: Н.Ф. Анненский, Ф.Д. Батюшков, Владимир Галактионович, жена Евдокия Семеновна, дочери Софья и Наталья и тетка Елизавета Осиповна Скуревич, Петербург, 1900 г.

Как писатель-художник, Короленко стоит наряду с первыми русскими талантами. Его бытовые рассказы, очерки, отличающиеся мудрой добротой, неподражаемы по красоте языка и полны глубокого содержания. Из путешествий в Америку, например, он дает целый ряд очерков, которые знакомят с нравами и обычаями чужой страны. В рассказе «Драка в доме» с легким юмором говорится о традиционных, напыщенно-важных порядках в парламенте, нарисованы картины уличной жизни.

Тут же затрагивается и историческая борьба Ирландии с угнетающей ее Англией. Невольно видишь тот гнет, который Ирландия извечно выносит от «сынов Альбиона». И все повествования «Фабрика смерти», «Без языка» – результат случайных наблюдений, так образны, в такой прекрасной форме.

Как в детстве со вниманием слушали Володю-Голована малыши, так всю жизнь прислушивались к нему знавшие его и восхищались его большим светлым умом и отзывчивым сердцем.

Лев Николаевич Толстой, будучи уже восьмидесяти двух лет, пишет В.Г. Короленко: «мне только, что прочитали вслух вашу брошюру "Бытовые явления", где вы говорите о смертной казни, и, как я ни старался, не мог удержаться от слез, от рыданий. Я не нахожу слов, чтобы выразить вам свою благодарность и любовь за это превосходное по выражению, мысли и чувству произведение. Его нужно издать и распространить в миллионах экземплярах. Никакие думские речи, статьи, романы, драмы не в состоянии произвести и тысячной доли того благотворного впечатления, которое исходит из этого произведения. Оно объединит очень многих в стремлении к общему идеалу добра и истины, к идеалу, который, чтобы ни проделывали его враги, светится все ярче и ярче», – заканчивает Толстой.



В Полтаве, 1903 г.

Интересно мнение Толстого о Короленко вообще, как о человеке. Однажды в беседе с Горьким Толстой коснулся отрицательных сторон некоторых русских писателей. Горький назвал В.Г. Короленко. Толстой помолчал, серьезно подумал и говорит: «ну, а этот у нас безгрешный, небожитель». Толстой обладал тонкой наблюдательностью и острым языком, когда надобилось осудить человеческие «качества». Но у Короленко, которого он знал лично, таковых не оказалось.

И, действительно, знакомясь с сочинениями Короленко, с его общественной деятельностью, убеждаешься, что в основе жизни этого человека лежит правда и деятельная любовь к людям, особенно к обездоленным. Весь свой жизненный путь он находил радость в служении другим. Причем все его действия в этом отношении необыкновенно благородны, привлекательны.

Всем русским людям известно, что такое представляли в прошлом погромы, которые особенно участились около свобод 1905 года. Еще в начале 1905 года на фабриках и заводах Петербурга было утверждено «Общество фабрично-заводских рабочих». «Организаторы» этого общества, чтобы «отвлечь рабочих от преступной пропаганды», поставили целью удовлетворить «духовные и умственные запросы трудового народа». Реакционная пресса того времени – «Московские ведомости», «Гражданин» и другие торжествующе трубили, что «истинно русский рабочий, наконец, встал на истинный путь и все вопросы между капиталом и рабочей силой будут решены при помощи руководителя отца Георгия Гапона мирно и правильно».



Рис. В.Г. Короленко. На Светлояре

В первые дни рабочая масса увлеклась заманчивыми перспективами отыскать истинную правду и решение своих наболевших вопросов в Зимнем дворце. Но когда от слов, от мечтаний подошли к делу, жестокая действительность бесчеловечно ответила на наивную доверчивость. Мы знаем, какой ценой заплатились рабочие за веру в царя и какая жестокая драма разыгралась на Дворцовой площади и в других местах столицы.

Но кровавые факты жизнь не остановят, напротив, она еще быстрее идет вперед, быстрее назревает потребность порвать рабочие цепи, и «преступная крамола» распространялась вширь и вглубь, захватывая все большее число людей.

Растерявшийся, но жестокий деспотизм в ответ пускает вход все средства для уловления неуловимого врага, забывши, что «идеи на штыки не улавливаются», как сказала на суде Софья Бардина еще в семидесятых годах XIX века. Забыли и то, что гонение – лучшее средство утвердить преследуемую идею, в борьбе за которую на место арестованного, повешенного становятся десятки, сотни новых бойцов.

Пред и после манифеста 17 октября 1905 года, чтобы запугать мечтателей о свободе, правители прибегли к «кровопусканиям» – погромам. К этому средству они прибегали и раньше, и вот теперь почти по всем русским городам пронеслась дикая волна погромов: «черносотенная армия», награжденная, подпоенная, грабила, убивала ни в чем не повинных жителей.

Приготовлялось это ужасное и в Полтаве. Не миновать бы и ее жителям этого испытания. Но вот один человек дерзнул противопоставить единолично свою силу против озверелой, темной толпы: один Владимир Галактионович Короленко своим смелым, благородным словом остановил толпу погромщиков, бегущих разносить магазины и дома беззащитных людей, так как полиция в этих случаях бездействовала по указке свыше. Конечно, многие из толпы не знали, кто осмелился им мешать, но сила спокойного, твердого слова остановила и заставила слушать. А в это время подоспели вооруженные железнодорожные рабочие и разогнали натравляемых темных людей. Не многим по плечу такие дела, какое совершил Короленко, спасая Полтаву от погрома.

Трудно решить, в чем особенно сказалось величие этого человека – как писателя или как общественного деятеля: это соединение творчества и борьбы за истину является особенностью В.Г. Короленко.

Последние два-три года пред смертью Короленко, Полтава, как и многие другие южные города, переживала тяжелые дни, переходя из рук в руки – от белых к зеленым, от зеленых к красным. Все они обвиняли растерявшихся обывателей в измене и других преступлениях, приговаривали к разным мерам наказания, вплоть до расстрела. Все были запуганы, все дрожали. А Владимир Галактионович ходил, просил, убеждал кого следует разобраться, подождать – не предавать казни. Матери, жены, дети просили у него совета, что делать, к кому обратиться, чтобы спасти заключенных в тюрьмах.

В это время постигло горе и семью Короленко: арестовали мужа его дочери – Ляховича, который, заболевши в тюрьме тифом, умирает. Смерть Ляховича, как молодого друга, помощника в делах уже больному старому писателю, подействовала роковым образом: от всего пережитого нервы не выдержали, с В.Г. Короленко сделался удар, после которого его здоровье быстро пошло к разрушению. В последние месяцы, когда он потерял голос, потерял слух, когда работала только его мысль, а люди всегда нуждались в нем, они писали свои вопросы и он отвечал им письменно, давал советы, утешения. И так до последнего дня, до 25 декабря 1921 года, когда его не стало.

Не стало направившего с молодых лет, «темным осенним вечером "свою лодку" по угрюмой в скалистых берегах Российской реке к яркому огоньку, мелькавшему под темными горами».

Молодому Короленко казалось, что «вот-вот два-три взмаха веслом и лодка подплывет к огонькам». Но это только казалось: всю жизнь он упорно налегал на весла, а «огонек» все стоял впереди переливаясь и маня.

Многие сложили свои головы на этом пути, а жизнь текла все в тех же суровых берегах.

Но вот настал 1905 год – «первая генеральная репетиция, без которой победа Октябрьской революции 1917 года была бы невозможна», говорит В.И. Ленин.

И мы видим, как бесстрашно выступает Владимир Галактионович против тьмы, направляемой деспотами на все живое, пробуждающееся. Мы видим, что и после репетиции, в годы темной реакции, Короленко стоит на славном посту, подтачивая самодержавные цепи и решетки, и защищая обездоленных, загнанных, оклеветанных, пока, радостно не подошел вплотную вместе с мускулистыми руками рабочего народа «к светлым огонькам».

Но истраченные в борьбе силы не выдержали и смерть взяла свое, оставив потомству отражение этого исключительного человека-гражданина в зеркале его произведений.

В день похорон Полтава остановила все свои дела. Улицы, по которым двигалась печальная процессия, были заполнены народом. Весь город знал его, особенно в годы бедствий, знал как он делился последним куском, а чтобы помочь бедноте – уже больной, немощный брался за старое ремесло – чинил обувь. Голодал одинаково с окружающими, отказываясь от предлагаемой ему пенсии.

Много народу съехало из окружающих деревень, хуторов – имя Короленко было всем дорого. Гроб несли друзья, прибывшие из разных городов, их сменяли рабочие.

За гробом шли учащиеся всех школ, шеренги рабочих, представители от войска и много-много других. Все двигалось в глубоком молчании под звуки печального марша. Так провожала Полтава, а с нею и вся Россия своего любимого писателя, благороднейшего человека и великого гражданина-гуманиста.

Речь на утре памяти Вл. Гал. Короленко

*(27.01.1929 в зале университета)**

В далекие молодые годы мне пришлось видеть необычайно торжественные похороны, торжественные они были не официальнойностью, когда обыкновенно говорят «неудобно не пойти». Нет, напротив, администрация с удовольствием бы разогнала всех. И даже декабрьский морозный день не помешал собраться огромному количеству народа. Казалось все население столицы – Петербурга – решило отдать последний долг певцу народного горя, народных страданий – хоронили Николая Алексеевича Некрасова. На кладбище произносилось много речей и большею частью «преступного» характера, с точки зрения администрации. Наверное представители власти крепко сжимали рукояти сабель и револьверов, но было так тесно, что негде было бы и размахнуться.

Вечером в разных собраниях, особенно в студенческих квартирах велись горячие речи, давались обещания вступить в ряды борцов с деспотизмом и угнетателями всякого вида. Много пелось некрасовских песен. А потом ... кому неизвестно, что в те годы под звуки некрасовских песен немало молодежи пошло по «Владимирке» за Урал.

Был на этих похоронах и Владимир Галактионович, но я его не знала.

Прошло 44 года, в небольшом городе Полтаве в конце же декабря (1921 года) тоже необычайно торжественно провожают другого писателя – борца за правду и справедливость Владимира Галактионовича Короленко. Этих похорон я не видела, но, судя по газетным известиям, в день его похорон Полтава остановила все свои дела: люди всех учреждений, учащиеся всех школ, рабочие и много-много народа в почтительном молчании, под звуки печального марша шли за гробом Короленко. Съехалось много людей с хуторов и близлежащих селений, значит и люди деревни, менее культурные, понимали, кого хоронят в лице этого писателя.

Говорить настоящему собранию, почему создалась такая популярность этого человека – не приходится: все мы знаем, что Владимир Галактионович с молодых лет и до самой смерти стоял на славном посту – на службе обездоленных, загнанных, оклеветанных, и никакие личные дела и соображения не могли бы задержать его, когда требовалось его слово защиты для находящихся в беде.

За время его жизни здесь, в Нижнем многие из присутствующих видели сами, как он горячо отзывался на всякое общественное, да и личное горе. Отдает месяцы на борьбу с голодом в Лукояновском уезде, где устраивает столовые для детей и взрослых, призывает общество принять активное участие в борьбе с этой народной бедой. Около этого времени в Вятской губернии происходит громкий процесс: по ложному оговору полиции судом приговорены семь человек крестьян-вотяков из села Мултаны, якобы принесших в жертву своим идолам живого человека, приговорены в каторжные работы на большие сроки.

Короленко тщательно следил за этим процессом, и как глубокий писатель-психолог понял, что тут произошла судебная ошибка. Он оставляет все свои дела, даже большую жену в это время и ребенка, который без него и умирает и едет на место происшествия, где окончательно убеждается, что обвиняемые невиновны. Больших трудов стоило добиться пересмотра суда, но конец увенчал все хлопоты: семь человек вотяков были освобождены, так как выяснилось, что человек был убит с целью грабежа и в этом убийстве замешана полиция.

* Сии воспоминания были ранее напечатаны. – Мое знакомство с В.Г. Короленко. Нижегородский сборник памяти Вл. Гал. Короленко. Н. Новгород, 1923.

Впоследствии Владимир Галактионович защищает еврея Бейлиса, обвиненного в том, что якобы он убил православного мальчика для ритуальных надобностей. И много таких примеров найдется в жизни Короленко.

В 1905 году, когда по воле деспотов, Россию охватила погромная война, Владимир Галактионович один, можно сказать, ограждает Полтаву от дикой расправы «черной сотни»: он один выбегает навстречу дикой озверелой толпы погромщиков и своим благородным словом овладевает их вниманием, останавливает их, чем выигрывает моменты. А в это время подросли вооруженные железнодорожные рабочие и разогнали подпоенных, подкупленных темных людей.

В голодные годы, когда бушующим народам было не до литературы, Владимир Галактионович, чтобы помочь умирающим с голода, берется за более выгодное дело – починает и шьет обувь. Сам больной, немощный, работает, чтобы помочь окружающим. А в последние месяцы, когда он потерял абсолютно слух, люди же всегда в нем нуждались, он принимал их с бумажкой и карандашом в руках, они спрашивают его письменно и он дает советы, утешения, и так до последнего дня (до 25.12.1921), где бы ни жил Короленко, его знали прежде всего бедняки.

В первый раз я встретила В.Г. Короленко в Сибири, в Томске, когда он возвращался из Якутской области. Там в улусе [Амга](#) он пробыл три года, а пред тем его мытарил по российским тюрьмам и диким местам севера. Возвращался Короленко по Иркутскому тракту. Великий железнодорожный путь еще не пролегал тогда на далекий восток, и все высылаемые партиями туда и возвращающиеся одиночки шли по Иркутскому тракту. Для тех и других Томск служил станцией: идущие на восток задерживались в Томской пересыльной тюрьме, а возвращающиеся, сравнительно свободные уже – отбывшие срок ссылки, останавливались у томских товарищей.

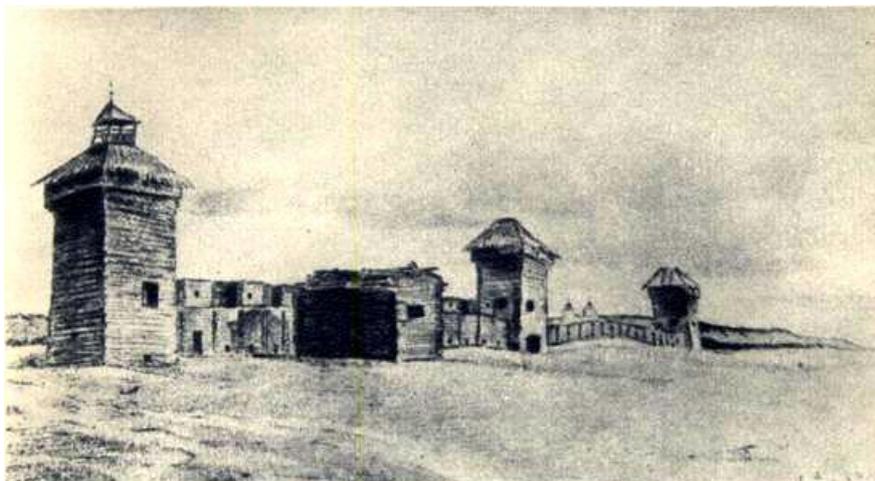


Рис. В.Г. Короленко. На пути из ссылки, остатки казацких укреплений

Надо сказать, что Томская колония политических ссыльных тогда была достаточно многочисленной, около 50-ти человек. Университет только еще строился и администрация терпела пока эту вольнодумную компанию. Томичи встретили Короленко с большим интересом, хотя он тогда (1884 г.) литературного имени не имел еще. Но «слухами земля полнится», и за ним уже установилась прочная репутация прекрасного и стойкого товарища и очень талантливого начинающего писателя. Помню, собрались в большой комнате в доме молоканки, что над Томью. Около стола наставили стулья, на столе для желающих появился самовар.

Скоро подошел и жданный гость – Короленко. Он был хорошего среднего роста, стройный, довольно плотной комплекции – человек, о котором можно сказать, что и складно скроен и крепко сшит. Гордо посаженная, красивая голова, обильно покрытая темными вьющимися волосами, и прекрасные, лучистые вдумчивые глаза – глаза, каких редко встретишь.

Усадили гостя в [середины](#) и посыпались вопросы. Прежде чисто внешнего характера – о впечатлениях дороги, о случайных встречах, и чем больше, тем дальше мысленно публика уходила на восток, в Якутскую область, в улус Амга, с которым недавно расстался. Короленко успевал отвечать на все вопросы, его речь вдумчивая, образная неволью порождала у слушателей картины того, о чем он говорил. Помню, какое сильное впечатление на меня произвело его описание северного сияния. Слышала я о нем на школьной скамье, сама читала, но представлялось чем-то неопределенным, неярким. Но под его описание воображение нарисовало до жути величественную картину, и вполне стало понятным, почему суеверные якуты и животные, особенно собаки, так нервно переживают это явление.

Ярко рисовался пред слушателями суровый климат Якутии с жестокими морозами, и неволью представлялось, как тяжело переносят его закинутые туда рукой самодержавия, как проводят долгую холодную ночь в юртах в полном одиночестве, часто без книг, без вестей с родины, с единственной надеждой, что может быть, там далеко на родине товарищи борцы пробьют своими головами стены самодержавия и освободят их.

Ясно представлялось, как бушует вокруг ветхой юрты непогода или трещат 50-тиградусные морозы. И теплится жизнь только в топящемся камельке, да чуть-чуть брезжит свет из окна-дыры, в котором вместо стекла вставлена льдинка. Рассказывалось все таким задушевым голосом, что слушатели притихли, испытывая всю тяжесть положения заброшенных в дикий, холодный край. С большим огорчением говорил Короленко о товарищах по ссылке, которые по слабости духа не могли вынести той жестокой жизни и постепенно тонули в тине якутской обывальщины.

Между прочим, картинно обрисовал жизнь одного политического ссыльного, бывшего блестящего гвардейского офицера Т. «До того объякутился, – говорил Владимир Галактионович, – что не нуждался ни в свободе, ни в иных условиях жизни: гарь и грязь юрты стали для него родной атмосферой. Женился на якутке и ревнует ее к каждому заходящему товарищу. А женщина такого звероподобного вида, что я не дерзнул бы остаться один на один с нею в юрте: точно чудище из старинной сказки. Да, гони природу в дверь – она войдет в окно», – закончил Короленко.

Говорил Короленко и о коротком якутском лете. «Хорошие это были промежутки. Мы пахали и копали землю. Сеяли и садили, что могло взрастить якутское лето, и, конечно, очень огорчались, когда неожиданно, совсем не вовремя нагрянет мороз и погубит наши труды».

Много рассказывал о якутах, о их полудикой жизни, о том, как заседатели и прочее русское начальство вместе с кулаками из бывших уголовных спаивают и обирают беззащитное туземное население. «Якutu немного надо водки, чтобы опьянеть, а в пьяном состоянии он буквально за понюх табаку отдает шкуру любого зверя».

Томичи уже много слышали о Короленко от проезжавших раньше товарищей. Знали, что он, как физически крепкий, оптимист по настроению, никогда не падал духом, напротив, был поддержкой для других. Он всегда был за работой. Часто приходилось ему подправлять старенькую юрту, которую ему отвели для жилья. Рубить дрова для ненасытного камелька. Починять и шить обувь, особенно, когда приезжали товарищи из других улусов в драных сапогах.

Еще будучи студентом в Петербурге он обучился сапожному мастерству на тот случай, если ему удастся пойти в народ для пропаганды социалистических идей, так сапожное мастерство в этом случае он находил самым подходящим. Затем, будучи в ссылке в Глазове в Вятской губернии он усовершенствовался в ремесле и вот на протяжении своей жизни в минуты трудные он и брался за него.

Обучал он и ребятишек грамоте. Много отдавал времени на беседы с товарищами. Приходили к нему и якуты. «Около Лактионыча хорошо, а что он скажет – надо делать, это верно», – говорили они. Знали томичи и о том, что в свободные от всех дел минуты, Владимир Галактионович, сидя пред топящимся камельком, создавал уже чудные скорбные образы в суровых рамках русской действительности – писал свои рассказы, которые только впоследствии увидели свет. Между прочим, он прочитал, тогда еще в рукописи «Сон Макара». Своей формой и содержанием рассказ этот вызвал много суждений.

Надо сказать, что среди нашей томской публики были люди большого образования и знания литературы, как князь Кропоткин Александр Алексеевич, старший брат анархиста Петра Алексеевича, Волховский Ф.В., писатель Станюкович и другие. С удивительной скромностью принимал автор замечания публики насчет своего рассказа.

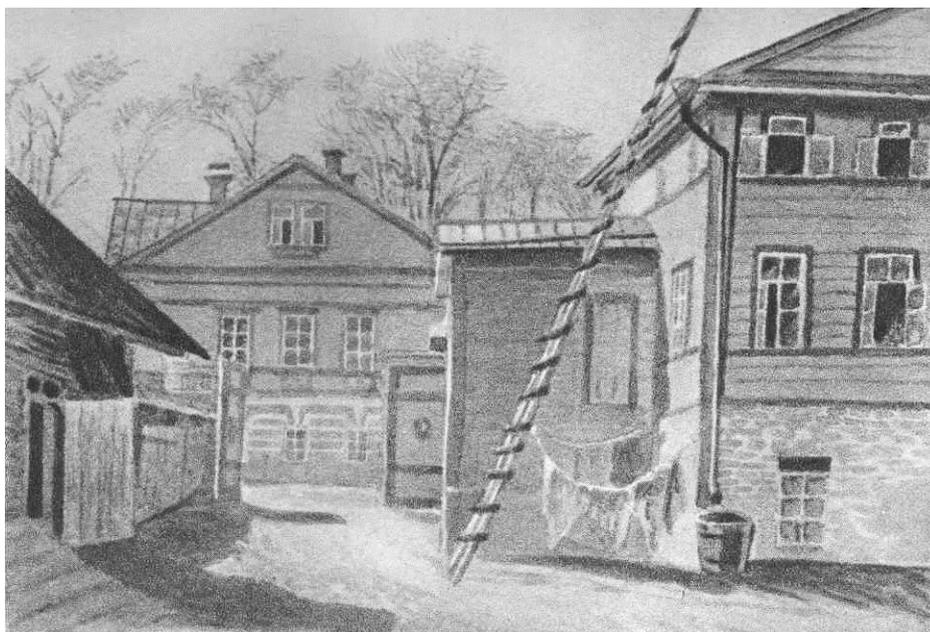
«Вы, Владимир Галактионович, возвращаетесь в Россию положительно Крезом! – говорит Феликс Владимирович Волховский, – очень интересно, в какой форме претворите вы все впечатления от Дальнего востока со всеми заброшенными туда рукой царизма? Цензура наша, черт бы ее побрал», – волнуется он.

«Насчет формы? Я не обладаю эзоповским языком. Вот если бы Михаил Евграфович, – говорит Короленко, и помолчавши с улыбкой продолжает, – вывезу из тайги могучую сосну, сделаю из нее музыкальный инструмент и будет тот инструмент рассказывать о Сибири, ссыльных, о Якутской области, о тайнах тайги с бегущими каторжанами и многое еще о чем. Впрочем там видно будет», – закончил Короленко.

От **всего** Короленко, ровного спокойного состояния его, веяло твердостью, определенностью. Казалось, он точно определил, как будет жить по возвращении из ссылки. После мы узнали, что эта определенность стоила ему многих мучительных бессонных ночей, когда он в одиночестве, под стоны бушующей непогоды, под треск огонька в камельке определял свое место в жизни, когда после мучительных дум со всею добросовестностью решил, что и по возвращении он будет вести борьбу с деспотизмом и с угнетателями всякого вида, но не с бомбой в руках, а с устным и печатным словом.

Всем нам известно, как прошел свой жизненный путь Владимир Галактионович Короленко.

После встречи в Томске прошло семь лет, в 1891 году мы, Ульяновы поселились в Нижнем Новгороде, где и прожили пять лет почти шабрами с Короленко. Короленко и его сестра Мария Галактионовна с семьями занимали дом Лемке на Канатной улице. За эти пять лет часто приходилось видеть Владимира Галактионовича и слышать его суждения на разные темы. Его дверь всегда и для всех была открыта. Он, как магнит, притягивал к себе людей разных направлений. Сам он был выше партийностей. В нем как-то все претворялось в правдивую красоту. Он не был организатором в прямом смысле этого слова, но безусловно соединял, сплачивал людей около того или иного общественного дела и невольно влиял на человека, развивал в нем чувства гражданина.



Дом на Больничной ул., где некоторое время жила семья Короленко, рис. писателя, 1885 г.

Много народу перебивало у него за эти годы: и местных и приезжающих. Его жене Евдокии Семеновне нередко приходилось охранять его время, чтобы дать ему возможность сосредоточиться, в уединение. С Короленко советовались по делам общественным и дельцы города и земцы. Особенно много [времени] брали у него рукописи начинающих писателей, так как Владимир Галактионович прочитывал их добросовестно, опасаясь пропустить и крупницу таланта.

Знаем мы, что и Максим Горький впервые услышал на Канатной о своих способностях и получил строгий наказ работать и работать. Шли к Короленко и люди Горьковского «дна». Придет какой-нибудь несчастенький пропойца и печалится, что вот де и работу получил, но нет пиджака, не в чем пойти на работу. А дня через 3-4 приходит просить ботинок или галош, но сам уже в одной рваной рубашке.

С одинаковым вниманием и участием выслушивал Короленко пришедшего к нему и тут же, если мог, принимал деятельное участие в судьбе его. Ригоризм и бескорыстие было отличительной чертой его характера. Он роскошествовал только помогая другим. В этом отношении его знали не только его друзья и почитатели его таланта, но и люди сторонние.

Был такой случай. Возвращался по Волге с кумыса больной офицер с женой и двоими детьми. Подъезжая к Нижнему, больному сделалось так плохо, что его с парохода сняли и поместили в номер гостиницы на Нижнем базаре. Больной пострадал день-два и умер. Молодая женщина очутилась одна с детьми в чужом городе без знакомых и без денег. Что делать? и мужа хоронить надо. Она решается отыскать добрых, богатых людей: идет по улице и определяет богатство по убранству окон. Входит в такую квартиру и видит, что в первой большой комнате «браный» стол с винами, цветами и обилием всяких яств. Подходит к ней прекрасно одетая хозяйка, выслушивает несчастную просительницу и говорит: «ничем я помочь вам не могу, хотя и мы военные люди. Все, что вы видите, сделано в долг для мужа именинника. Я могу только вам посоветовать пойти на Канатную улицу, там живет писатель Короленко, он наверное вам поможет». Убитая горем женщина пошла и, конечно, нашла помощь и дети ее – ласку. Хотя семья Короленко жила весьма скромно: ни нарядов, ни обстановки и ни жирных обедов.



Удивительным собеседником был Владимир Галактионович. Особенно оживленно рассказывал он после своих путешествий по Нижегородскому краю. Народная жизнь во всех ее проявлениях особенно интересовала его. Помню, как художественно беседуя обрисовал он всю местность, где разыгралась драма мултанского дела: слушая его, положительно чувствуешь шелест кустов, видишь жертву злодейства, выпотрошенную, распластанную на тропинке. Рисуются хитрые, закоренелые клеветники – оговорщики беззащитных вотяков. Можно представить себе, каким ярким огнем негодования горел он на повторном суде, защищая оклеветанных мултанцев. И за чтобы Короленко ни брался – он влагал в это дело всю свою душу.

Кто из нас не читал, не наслаждался его высокохудожественными рассказами, как например, «Лес шумит», где так ярко выступают образы из старого недоброго времени? Или «Старый звонарь», трудовая жизнь которого и весь его душевный мир проходят пред вами со всеми его переживаниями. А «Слепой музыкант», «Иом-Кипур», «Овод» и прочее? Кроме художественной красоты, эти рассказы дают темы и психологу и философу.



Рис. В.Г. Короленко. На Волге

Но Владимир Галактионович не может, удалившись в кабинет, творить только художественное: живая жизнь слишком привлекает его, как борца за истину и справедливость и он, присматриваясь к ней, изучая ее, выступает с обличительными статьями, пишет корреспонденции, отчего «помпадур» и «колупаевы» приходят в тревогу и обращаются, куда следует, чтобы оградить себя от этого «Овода». Но Владимир Галактионович иначе жить не мог, он стихийно сросся с жизнью обездоленных, любовно вникая в психологию.

Невольно вспоминается вынесенные им впечатления об американской жизни после его поездки на выставку в Сан-Франциско (в 1893 г.). Благодаря его искренности, при рассказывании помимо его воли проскальзывало, что та жизнь для него чужая. «А что если бы вас, Владимир Галактионович, наше правительство решило опять убрать со своих глаз, давши право выбора – вернуться в Якутскую область или отъехать в страну машин и долларов?, – спросила я. Он был поражен этим вопросом, но подумавши, с улыбкой ответил: «выбрал бы опять Якутскую область: в стране долларов и машин незаметно для себя пожалуй обратишься в винтик, кнопку и совсем утратишь свою самобытность», – говорил Владимир Галактионович. Описывая то или иное свое переживание, Короленко умел немногими словами вызвать в слушателе соответствующее настроение.

Однажды в беседе с Короленко коснулись о художественных произведениях вообще, и о том, что жизнь часто впрягает и художников слова в решение вопросов временного характера, вопросов чисто утилитарного свойства. «Оно так и должно быть, – говорил Владимир Галактионович, – часто простая корреспонденция, освещающая неправду жизни, ценнее, необходимее художественного произведения, и писатель погрешил бы против своего времени, отказавшись уделить на нее часть своего внимания. И меня упрекают за трату времени на корреспонденции. Но я больше корреспондент, чем писатель-художник», – продолжал он.

Скромность Владимира Галактионовича доходила до крайности. Он часто боялся, чтобы другие не заблуждались на его счет, не приписали бы ему лишнее.

О Владимире Галактионовиче можно говорить много, хотя все равно всего не скажешь. Между прочим, нижегородцами издан сборник памяти Короленко, где есть и мои о нем воспоминания.



Рис. В.Г. Короленко. Разлив Оки в Нижнем Новгороде

Мне хочется сказать еще несколько слов об отношении Короленко к детям. К нему с радостью бежали и дети, и если он не был захвачен какой-либо мыслью, делом – он мог возиться с ними, серьезно слушать их лепет. Заберется какой-нибудь пузырь к нему на колени и лепечет: «ты, дядя Володя, ничего не понимаешь. Слушай, что я тебе скажу». И дядя Володя слушает, наблюдает за ними, любит ими, как цветами жизни, входит в серьезные рассуждения, разрешает сомнения, раздоры.

В 1894 году мы жили на даче в Дальнем Растяпине. Две семьи из дома Лемке занимали дом крестьянина Королева, а я с детьми – в избушке у Любаши. Мои окна выходили к крыльцу их дачи. На этом крыльце в сумерках собиралась вся компания отдыхать от забот дня. Часто подходили и крестьяне. И какие только темы тут не беседовали! Жаль, что стены и воздух не **отобразят** их.

Однажды возвращаемся мы – женщины с Оки, с купания и о чем-то шумно беседуем. Особенно звонко раздается голос Марии Галактионовны, сестры Короленко. Подходим к дачам и видим: Владимир Галактионович смиренхонько сидит на камне около ворот и к чему-то прислушивается, и чем мы ближе подходим, тем энергичнее он машет нам рукой, чтобы мы затихли.

Оказывается в уголке двора компания ребяток со вниманием слушает 12-тилетнего «дедушку Колю», который рассказывает о хитростях лисы и о несчастном зайчике, фантазируя по Брему. Слушатели захвачены. Даже 3-хлетняя дочь Марии Галактионовны с широко открытыми глазами смотрит на фантазера. Но наш приход, к досаде Владимира Галактионовича, все-таки спугнул ребяток.

«Пойми ты, – говорил Владимир Галактионович сестре, – тут пред глазами живая книга с разными типами открывается, только мы не умеем подойти к ней, а ты смеешься. Вон твоя Надяша оплакивает бедного зайчика, а Вася над ней смеется», – говорил убедительно Владимир Галактионович.

Не подделываясь к детскому лепету, Короленко умел простым словом дать ребятам доступную, неприкрашенную правду, и, конечно, экспромтом красивые рассказы о животных, птицах, цветах.

Однажды детские споры о происхождении человека грозили перейти в драку. Девочка твердо знает, что человека создал Бог, а мальчик с гордостью заявляет, что «в толстых книгах у дяди сказано, что есть на свете большие насекомые и живут они на деревьях там, где солнце жарко греет, так вот они и родили человека». С одной стороны, обида за человека, слезы и сжатые кулаки, с другой – вид победителя, знающего свое дело, в результате вот-вот набросятся друг на друга.

Но на крыльце появляется большой друг и с ласковой улыбкой поглядывает на детей. «Зачем же вам драться? – спрашивает он, – если Васе больше нравится насекомина – пусть он с нею и остается. А мне вот нравится больше всего зеленая лужайка с цветочками», – продолжает Владимир Галактионович. И дети, забывши ссору, вспорхнули и рассыпались, как воробьи.

И в этой области найдется много примеров его находчивости, его разумного, любовного отношения к делу.

Вообще Владимир Галактионович из тех редких, исключительных людей, одно присутствие которых очищает атмосферу от злобы, лжи и обывательщины.

Его – стойкого борца с темными сторонами русской жизни – не смущали суровые берега, он только энергичнее налегал на весла, веря, что все-таки впереди огни.